

Л. М. Клейнборт

ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

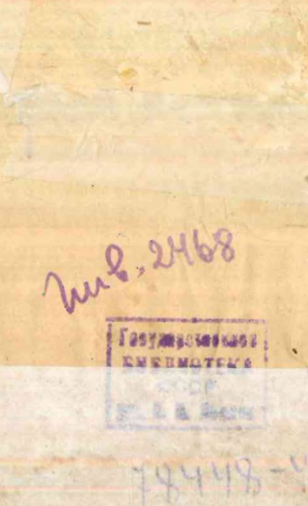
(1880—1923 г.г.).

Беллетристы.

Факты, наблюдения, характеристики.

ЛЕНИНГРАД.
1924.





От автора.

В разное время писались «Очерки».

Отсюда план; быть может, и неполнота. Об. Ив. Коновалове не пишу умышленно. В нашей памяти он не только писатель, но и... агент охраны. Кое-кого не касаюсь, с кем не удалось установить связь. Но таких немного.

Характер работы двоякий: 1) литературный и 2) бытовой.

Несколько слов о материале. В стремлениях рабочих и крестьян в литературу, упорных и страстных, есть и «элементы трагедии, глубокой и печальной». Указывая на них в 1917 году, В. Г. Короленко дал на страницах своего журнала рассказ, имеющий интерес такого трагического человеческого документа—рассказ самоучки-столяра Ив. Горячева о мечте такой неудавшейся жизни. Я рассказываю о других фактах, о фактах, связанных со страницей литературы.

«Очерки» должны начаться выражением благодарности писателям, доставлявшим мне материал. Ведь это весь цвет народной интеллигенции; труд их, вложенный, по преимуществу, в дневники и записки, и дал мне ту путевую нить, которой я держался. Правда, не все одинаково ярко выявили свое я. Иных смущала самая мысль такого выявления. Но какие рассуждения могут вскрыть то, что так жизненно-ярко вскрывает этот материал! Собранный вместе, он рассказал впервые о пути,—внешнем и внутреннем, — каким шел и идет человек физического труда в литературу.

Л. К.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА I.

Зачинатели.

С. Т. Семенов, В. Савихин, Н. Темный.

I.

Никитин и Решетников вступали в литературу в качестве разночинцев. Если их не считать, то первые беллетристы, рабочие и крестьяне, это С. Т. Семенов, В. И. Савихин, Н. Лазарев-Темный. Ни Кольцов, ни Шевченко, ни Суриков, ни Дрожжин не пробовали себя в прозе. Ранние альманахи писателей из народа — альманахи стихов; даже теперь поэты полей и предместий, захваченные идеей социальности, выступают шумно, в то время как беллетристы держатся в тени.

Это дыхание природы, заложенной где-то в народной песне. Поэтический хаос, дух соборности—как ни отлична рабочая поэзия от крестьянской, и здесь и там одна и та же традиция. Ведь город разбросал по фабрикам и заводам, по шахтам и мастерским полу-крестьян, полу-рабочих, и кто скажет, где кончается власть земли, где начинается власть города. Вот почему поэзия народа — это уже ряд этапов, каких тщетно было бы искать в рабочей и крестьянской прозе.

Почему сотни крестьян, рабочих, ремесленников так долго излагали свои думы о жизни лишь в стихах? Да потому хотя бы, что написать рассказ труднее, чем написать стихотворение. Конечно, всякое искусство требует знаний, художественной культуры. И искусство поэзии не исключение. Но все же беллетрист должен знать больше, чем поэт, который может уйти в сферу узких переживаний. Беллетрист должен уметь выбрать из хаоса

наблюдений то, что типично, что об'ективно; наметить черты характеров, смысл действий, все, чем переполнена жизнь человека. Чтобы слова были ярки, чтобы из них глядела жизнь, одного дарования еще мало. Лишенное интеллектуальных сил, оно бессильно подняться над материалом.

В 1911 году по поводу жалоб самоучек встал вопрос, все ли наличные силы мобилизованы в литературе, нет ли неиспользованных, оставшихся за флагом. Критики убеждали самоучек, что все силы и силенки на счету; все, мол, обнаружившее дарование, использовано; иное даже пользуется признанием лишь в силу бедности нашей. Действительно, еще со времен Белинского ведется борьба с бездарностями. Он изгонял незваных нещадно, выносил смертные приговоры, потому что жить в литературе бездарным нельзя... Все это верно; но не совсем верно это по отношению к писателям из народа. Беллетрист из народа оставался за флагом не потому, что был бездарен. Дарование у него было чаще, чем думаем, но не было уменья пользоваться пером, инструментом писателя, и это решало судьбу его. Никитин, как ни как, прослушал курс семинарии; Решетников и Горький с первых шагов попали в литературу, открывавшую им возможности. А что имели перед собой другие, многие другие, что отрывали время от сна, чтобы поведать миру свои думы и наблюдения жизни? Из записок самоучек я вижу, сколько крестьян и рабочих пытались изображать близкий им быть десятки лет тому назад, но, беспомощно отступая перед сложностью задачи, утверждались на стихах...

Лишь в конце восьмидесятых годов выступают С. Т. Семенов, трагически погибший в 1922 году, и В. И. Савихин; в середине девяностых — Н. А. Лазарев, известный под псевдонимом Темный. Не говорю о Горьком...

II.

Семенов органически связан с психологией и бытом деревни на протяжении всей своей жизни. Он уходил в город, но Лев Толстой после напечатания первого же рассказа убедил его вернуться. Савихин—человек завода, но строем своих чувств все же полу-крестьянин, полу-пролетарий. Наконец, Темный—пролетарий в индустриальном смысле слова. Вот три пути народного писательства.

Семенову дал ход Толстой, приняв его рассказ для «Посредника» и написав затем предисловие к «Крестьянским рассказам» его, вышедшим позднее, в начале девятисотых годов.

Предисловие открыло Семенову двери, и теперь он — автор собрания сочинений. «Крестьянские рассказы» его составляют 5 томов, из которых первый («Хорошее житье») выдержал три издания, второй—два, третий—тоже два. «Крестьянские рассказы», как и «Пьесы», издал «Посредник». Добавочный же том «В миру» и «Двадцать пять лет в деревне» выпустило издательство «Жизнь и Знание». После смерти Толстого Семенов выпустил «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом», а в годы революции—книгу из жизни городской бедноты («Внизу») и другие. Дешевые издания его рассказов выпускал «Посредник». Вот, например, «Немилая жена»—десятое издание, «Бабы»—пятое издание, «Супротивник»—третье издание и т. д.

Вывел на дорогу «Посредник» и Савихина. Первый рассказ его «Дед Софрон или суд людской—не божий» вышел одновременно с дебютом Семенова в 1886 году и вслед за тем выдержал ряд изданий. Не меньший успех имела «Кривая доля», выдержав десять изданий. Позднее вышли его «Два соседа», «Прошумела слава» и др.

Темный, писавший только о рабочих, дал всего девять-десять рассказов. Первый рассказ его, напечатанный в «Русском Богатстве», понравился В. Г. Короленко. Затем в дешевых изданиях вышли четыре его рассказа: «Наследство», «Юбилей блохи», «Сироткин» и «Докладная записка». Остальные до наших дней сохранялись в рукописях у И. А. Белоусова. Лишь 13 лет спустя после смерти писателя все его рассказы были изданы сначала государственным издательством, а затем и издательством «Кузница» одной книгой.

Итак, зачинатели оставили по себе следы, с которыми нельзя не считаться. Не надо знать жизни Семенова, чтобы почувствовать, что пишет крестьянин, как не надо знать жизни Лазарева-Темного, чтобы почувствовать, что пишет рабочий. Это—свои темы; и так ставятся, развертываются эти темы, как может ставить и развертывать их лишь крестьянин, лишь рабочий. Все, что характерно для позднейших беллетристов рабочей и крестьянской среды, здесь уже налицо.

Присмотримся же к каждому из них поближе.

III.

Сергей Семенов родом из деревни Андреевской, Московской губернии. Место глухое—от уездного города 25 верст, от железной дороги—60,—глухое и скудное. В деревне редко кто нараба-

тывал себе хлеба: земля, нарезанная крестьянам при отпуске их на волю, была плохого качества. А так как заработков не было на месте, то все сильное, здоровое бежало из деревни в Москву: кто на фабрику, кто в услужение, кто от себя дельце заводил— извоз, разносную торговлю и т. п.

И Сергей с нетерпением ждал того времени, когда подрастет настолько, что станет на что-нибудь пригоден в Москве, и покинет деревню, в которой так голодно.

Такая пора наступила для него, когда ему минул одиннадцатый год. Он уже научился читать и писать. Правда, школы в деревне не было. Самая близкая находилась в четырех верстах. Но мальчик выучился самоучкой. «Книжки,—писал он Н. А. Рубакину,—имели на меня большое влияние. Едва я только выучился читать, как страшно полюбил чтение, и всякую книгу, всякий лоскуток, попадавшийся мне в руки, я читал и перечитывал». В Москве определили его на фабрику резиновых лент, где он и прожил до покоса. На покос потребовали домой. По окончании же работ опять вернулся в Москву на ту же фабрику. В силу того, что он вынужден был зарабатывать хоть гроши и посылать их в деревню, он не мог поступить куда-нибудь в «ученье», куда берут без платы; не мог основаться на каком-либо месте, а устраивался, где придется: то на фабрику, то приемщиком в литографию, то в водопроводную мастерскую, то в будку, торговавшую минеральными водами. На 13-м году мальчика взял к себе дядя в Петербург и устроил к одному художнику-любителю; он учился рисовать, к чему проявлял склонность. Уезжая из Петербурга, художник увез его в Полтаву. Рисовать, однако, не научил.

Затем, живя у художника, Семенов прочел несколько книг, определивших впервые его понятия о мире. Через год, уехав из Полтавы и побывав в деревне, он опять поступил на фабрику, а после покоса—к одному слепому купцу читать ему книги и газеты.

Уже ему было 18 лет, когда встретил он разносчика с книгами, к которым он с детских лет питал слабость. Среди книжек его внимание обратили на себя две с красными рамками в обложке, с рисунками и с девизом: «Не в силе бог, а в правде». Он купил книжки. Одна из них называлась «Кавказский пленник», другая «Чем люди живы». Написал их Лев Толстой. «Кавказского пленника» Семенов прочел с удовольствием, но особого впечатления рассказ не произвел. Но «Чем люди живы» подействовали так, как ни одна книга еще не действовала.

«Эта книжка пробудила во мне очень многое,—писал Семенов.—Она заставила меня задуматься над самыми коренными вопросами жизни и установить к ним до сих пор несложившиеся как следует отношения. Между прочим, у меня изменилось отношение и к книгам беллетристического характера. До сих пор я относился к такого рода книге не совсем серьезно—она была для меня предметом развлечения. Таких читателей много. Таким читателем, может быть, остался бы и я, если бы мне в то время не попалась эта вещь. После прочтения «Чем люди живы» я к каждой попадавшейся мне книжке стал относиться более внимательно. Я искал в ней идеи, содержания, и это-то содержание стало заключать для меня в книге главный интерес» [1]). Более всех удовлетворяли этому требованию издания «Посредника», и Семенов с того дня стал следить за выходящими книжками этой серии.

Семенов читал сам, читал и другим, и все его слушатели разделяли его чувства; говорили, что эти книги «не побасенки, а вроде притч», и ценили их так же высоко, как и он. Навидавшись житейской бессмыслицы за свои скитания и перекочевки с места на место, он не мог не признать правды Толстого за истину, и у него стал складываться такой ход мыслей, который упрочивался все более и более выходящими книжками «Посредника». Наконец, наступил и «предел»: вышел «Иван-дурак». «Весь огромный смысл этой сказки,—писал Семенов,—открылся мне во всей полноте, и у меня явилось определенное желание бросить эту омертвляющую, механическую городскую жизнь среди людей, связанных одними материальными интересами, и пойти домой в деревню, осесть там и жить праведными трудами хлебопашца. Дальше—больше, желание разгоралось сильней, и деревенская жизнь стала мне представляться раем».

В то время привести свое намерение в исполнение ему не удалось. Но вместе с тем у Семенова явился зуд писателя. Читая стихи Кольцова, Шевченко, Никитина, он стал подражать им. Когда же к писательству потянуло серьезно, он написал рассказ, который прочитал рабочим своей фабрики. Те одобрили его, и Семенов решил издать его в той серии, в которой выходили так привлекавшие его книжечки. Его направили к Толстому. Разыскав дом писателя, он оставил рукопись для передачи ему и стал ожидать, что будет. «Вдруг через два или три дня,—пишет Семенов,—я получил открытку, извещающую меня, что Л. Н. Толстой желает переговорить со мной по поводу рукописи и просит зайти в такие-то часы, когда мне будет угодно. Никогда не забуду того волнения,

---

[1]) С. Т. Семенов. «Двадцать пять лет в деревне» (Петроград. 1915. Издание «Жизнь и Знание»), стр. 8.

в каком я подходил во второй раз к дому в Долгохамовническом переулке. Сколько усилий мне нужно было употребить, чтобы перешагнуть порог этого дома! И только я вошел в эту дверь, я сразу понял, что это не тот суровый библейский муж, так пугавший своим видом, образ которого я нарисовал, глядя на его портрет. Предо мной стоял совсем другой человек: живой, сердечный, внимательно глядевший; он не дождался моего поклона и приветливо сказал: «добро пожаловать, добро пожаловать!» Мне сейчас вспомнился глубокий евангелический дух этого человека, так пылавший со страниц «Чем люди живы», «Бог правду видит», «Где любовь», и это давало твердость прямо и свободно говорить, что тебя занимает и волнует. Лев Николаевич спросил, как я учился, что читал, как написал рассказ. И когда я рассказал, он об'яснил мне, что рассказ ему понравился,—он ближе к жизни, чем развивавший ту же тему рассказ Эртеля «Жадный мужик»; ему хочется его напечатать, но предварительно его нужно исправить. В нем есть повторения, потом о характерах только рассказывается, нужно так, чтобы характер обрисовывался поступком. Когда я стал прощаться, Лев Николаевич предложил заходить к нему. А когда я вышел от него и стал разбираться в своих ощущениях, то почувствовал, что после этой беседы я значительно возмужал, площадь жизни предо мной расширилась, и я видел, что у меня появилось множество задач, которые нужно будет разрешить» [1]).

Знакомство переходит в близость, определившую все будущее Семенова. Толстой не только духовно укрепил Семенова в его намерении оставить город и вернуться к земле. Напечатав его рассказы, он оказал ему тем самым и ту поддержку, которая необходима была для этого. Вместе с тем, тоненькие книжечки в 36 страниц в цветной обложке с двумя картинками, содержавшие уже произведения самого Семенова, дали толчок крестьянину, окрылив его надеждами. Переселившись в деревню, он обзавелся библиотечкой, занялся самообразованием. Летом, конечно, было некогда—нужно было полевые работы справлять. Зиму же он отдавал теперь чтению и литературной работе.

Однако, там хорошо, где нас нет; стоило Семенову возвратиться в деревню, чтобы почувствовать на себе власть тьмы еще острее, чем раньше. Нелюбовь к суевериям, легкое отношение к деревенским уставам создали ему недобрую славу. Прежде всего вмешалось духовенство. Священник раз'яснил его отцу, что он

---

[1]) С. Т. Семенов. «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» (Петербург. 1912 г.) стр. 7—8.

попал в сети Льва Толстого. Отсюда его сидения по вечерам с книгой и пером... Отец же так расстроился, что напился пьян... Стал косо смотреть на все, чем занимался сын. Дошло дело до того, что мужик, увидав жену Семенова, набросился на нее с грубой бранью, говоря, что ребятишек надо перебить, а его самого вон из деревни выгнать.

Чем дальше, тем больше открывалось Семенову темных сторон деревни. Он писал об этом Толстому. Толстой отвечал, что это—правда, но надо терпеть.

Конечно, и в деревне уже шла борьба нарождающегося с отжившим, нового со старым. Сильно было старое, но и новое крепло, набиралось сил и с каждым годом давало все больше и больше себя знать. «Я не знаю,—пишет Семенов,—выходили ли прежде из крестьян в такой степени безо всякой систематической подготовки образованные люди. В наше же время они явились. Из моих земляков многие могли быть названы интеллигентными в полном смысле этого слова». Это, конечно, облегчало жизнь Семенова. Но ведь тон задавали старики, неспособные понять душевных побуждений, руководивших передовой молодежью. И преследования не прекращались. Односельцы подвели даже Семенова под уголовный суд, кончившийся, к счастью, благополучно.

Как только повеяло 1905-м годом, Семенов первый был подвергнут обыску и надзору. Жандармам оказалась не по душе его книжка «Отчего Парашка не выучилась грамоте», предварительно напечатанная в «Журнале для всех». Земство выбрало его попечителем школы, училищный совет не утвердил. Жить в деревне при таком отношении стало еще хуже, и Семенов заколебался: не уйти ли опять? Но от этого намерения опять отговорил Толстой. Наконец, Чертков, живший за границей, пригласил его к себе, и Семенов уехал за границу.

Вернувшись из-за границы, он застал новое течение в деревне. Хотя вся местность придвинулась к культуре, благодаря новой железной дороге, все старались устроиться помимо земли: в Москве, Петербурге, других местах. Может быть, волнующий ход политической жизни захватил чем-нибудь родную деревню? Ведь это уже был 1905 год. Разумеется, передовые люди были. Но большинство говорило:

— Кто это говорит-то? С. Т-в? Он какие газеты читает? Они нарочно японцам на руку гнут.

Говорили про «антихристову веру», про «социалистов», которым все ни по чем. Когда находили прокламацию, то грозили:

— Вот я все в Москву да полиции представлю. Все хотят сладкой жизни да легкой работы, а ходу делам нет. Вот им нечего делать-то, они и давай народ мутить. Бывало, не было ученых-то, и лучше было. Нет, он за книжку, а ты ему розгу.

Миновал 1905 год, и Семенов перебрался в Москву для работы в газете «Правда божия», основанной священником Петровым, но был арестован в связи с арестом передовых крестьян в деревне. Под арестом его продержали два месяца, хотели выслать в Сибирь, но все же освободили и вернули в деревню. Однако, после того, как он отвез приговор в Государственную Думу, он был вновь арестован и отправлен в Московскую губернскую тюрьму. Опять продержали два месяца и постановили выслать в Олонецкую губернию. Лишь по особому ходатайству высылка была заменена выездом за границу. Два года Семенов прожил в разных городах Европы, приглядевшись, как живут и хозяйствуют земледельцы Швейцарии, Италии, Франции и Англии, и вернулся в деревню противником общины и сторонником хуторского хозяйства.

В 1923 г. Семенов варварски был убит крестьянами своей деревни.

IV.

Семенов рос под Москвою, так и не поглотившей его; Савихин же под Петроградом в бедной деревеньке Гдовского уезда, которая осталась у него в прошлом.

«Нашей семье,—рассказывал Савихин Н. А. Рубакину—при многолюдстве ее, при скудности земного плодородия, при мякинном хлебе не досыта, давно пришлось познакомиться с отхожими промыслами». Отец был сигарочник и больше жил в Петербурге, где работал на фабрике. Когда Савихин был мальчиком, ни один человек во всей деревне не умел ни читать, ни писать. Как-то самоучкою отец его выучился с грехом пополам грамоте. «Немного мне было лет от роду, вступил я в жизнь. Приехал летом из Петербурга отец, привез азбуку и стал меня учить грамоте. Ученье шло с боем. Бой продолжался почти беспрерывно. У меня билось сердце, волосы шевелились на голове при появлении отца в избе».

— Убьет он мальца, разбойник,—говорили бабы,—мужики, вы запретите ему животельничать.

Мужики сперва помалкивали, потом собрали сход. Хуже мне стало от этого, потому что я остался по прежнему, в руках отца; но мне хорошо было потому, что все бабы и даже мужики за меня

поднялись. Отец уехал в город, а через неделю я оправился от боя, коноводил всей деревенской братией и ходил из избы в избу с азбукой, читая старухам молитвы и заповеди. В то время в нашей деревеньке из тридцати дворов было уже два грамотея, не считая отца; один умел по печатному и по писанному, а другой только по печатному. Однако, вышло так, что я за шестинедельное ученье так навострился по азбуке, что читал, как дьячок, без запинки. На другое лето и рукописное дело было закончено с тем же смертным битьем. После этого деревенские грамотеи остались совсем за печкою. В нашу избу приходили и бабы, и мужики, кто с читаньями, кто с писаньями. С той поры прозвали меня мужики «земским». Затем стали бабы просить меня, чтобы я их ребят поучил грамоте. Человек восемь собралось. Я ловко вел свое дело».

Так прожил Савихин в деревне, не видя других книг, кроме азбуки да «Бовы» и «Еруслана».

Но вот ему минуло двенадцать лет, и отец его увез в Петербург, устроив на папиросной фабрике, на которой работал сам.

«Фабрика,—писал Савихин,—показалась мне большим гумном. Больше ста человек помещалось в одной комнате. Во всех углах копошились люди. Нестерпимый табачный дух висел в воздухе. Я закашлялся, расчихался. Надо мной рассмеялись. Мне стало стыдно, и я едва удержался, чтобы не разреветься.

— Эх, — думал я, — поглядели бы на меня из деревни, на какое место усадили меня.

Жизнь моя круто изменилась, пошла от звонка до звонка. После работы мы шли к себе в угол, который отец нанимал за полтора рубля в месяц. Поужинав, отец усаживался за чтение духовных книг. Читали сменами, то отец, то я. Мало понимал в чтении. А отец нередко велел мне повторять прослушанное. И горе было, если я не мог: начиналось битье».

Так шло городское житье мальчика. То же отцовское битье да в придачу изнурительный труд. Перед Турецкой войной отец ушел на Афон, в монастырь, и Савихин с табачной фабрики перешел на казенный завод; устроился прочно.

Заработная плата уже была выше, да и работа сравнительно легка. Наконец, свободного времени было больше, и стал он почитывать книги, попадавшие ему в руки. «Читал книги, не переводя дух, жег за свечкою свечку, и времени у меня мало стало». Прошло еще года три-четыре, и прочел Савихин «Горе от ума» Грибоедова. Прочел книгу в один присест, с увлечением; прочел, и ему вдруг самому захотелось писать. Взялся за перо — ничего не вышло. Другой раз стал писать. Вышло несколько

лучше, но все же плохо. Не раз пробовал он вывести наружу то, что дремало в нем, что так неожиданно заговорило, но убеждался в своей неумелости. Наконец, Савихин понял, что одного влечения к литературе мало, что прежде, чем писать, надо развить себя, подготовить к ней. И он так и сделал. Окружил себя книгами, которые доставал всеми средствами, и учился. Учился, конечно, без учителей,—учителя не под силу пролетарию,—и было ему не легко. Не потому только, что не откуда было черпать указания, но и потому, что поздно взялся за работу. Ведь Семенов с пятнадцати лет уже читал книги, а Савихин до двадцати двух лет их не видал, кроме тех, которые читал отцу, не понимая их сам.

Немало времени спустя, Савихин взялся снова за перо, к которому его так влекло. Взявшись на этот раз, он написал рассказ «Дед Софрон или суд людской—не божий», которым и прославился. Удача окрылила его, и, работая на заводе, он пописывал рассказ за рассказом, которые издавал «Посредник».

V.

О Лазареве-Темном рассказал И. А. Белоусов в 1918 году [1]).

В деревне провел детство, где обучился грамоте; подростком привезен был в Москву, отдан в ученье в слесарную мастерскую. Миновало «ученье», и он поступил слесарем в мастерские Смоленской железной дороги. Жажда знания у Темного проявилась рано. Научившись читать и писать, он сам принялся за свое образование. Ему повезло. Он познакомился с Н. Н. Златовратским, принявшим в нем участие. Лазарев ходил к Златовратским часто, пользовался указаниями их—оба сына Николая Николаевича занимались с ним.

В семье Златовратских Лазарев встречал писателей, слушал разговоры их, и это навело его на мысль попробовать и самому свои силы в литературе. Первый рассказ его Златовратский отослал Короленко. Он же придумал и псевдоним Лазареву—Темный.

— Есть у нас Максим Горький, а ты будешь Н. Темный,—советовал ему народник.

Короленко одобрил его рассказ. Он указывал лишь на неэкономность автора. Другой, обладая таким новым по содержанию

[1]) «Рабочий Мир». Орган центрального московского рабочего кооператива. № 10—1918 г.—Ив. Белоусов. «Писатель из рабочих».

материалом, мог построить на нем целую повесть, а Темный втиснул его в небольшой рассказ. Это было началом: появиться в «Русском Богатстве» с первым же рассказом значило быть замеченным. Однако, Темный писал мало. Так уже сложилась жизнь этого писателя-рабочего.

Когда умерла мать, он остался одиноким и поселился в квартире статистика И. П. Боголепова, человека «неблагонадежного», которого часто обыскивала охранка. Уже этим Темный обратил внимание Зубатова на свою особу. Но сюда присоединилась «неблагонадежность» самого Темного. Он служил в железно-дорожных мастерских в то время, когда памятный Зубатов заигрывал с рабочими, рассылая при этом в мастерские своих агентов. Агенты появились, конечно, и в мастерских Смоленской железной дороги. Раскусив новых рабочих, старавшихся втереться в доверие к старым, Темный стал предостерегать последних от сношений с ними. Именно благодаря Темному, зубатовщина в смоленских мастерских потерпела неудачу. Однако, от агентов Зубатова роль Темного не осталась тайной. Он был обыскан, арестован и, просидев несколько месяцев в тюрьме, выслан в Воронеж, хотя материала для «дела» не нашлось.

В Воронеже Темный сблизился с В. И. Дмитриевой. Лишь через два года дело было прекращено, и он вернулся в Москву; поступил на городскую службу, на насосную станцию. Но, изучив электрическое дело, перешел в ремонтные мастерские московского трамвая. Труд требовал напряжения. Однако, Темный не бросал литературы.

Наряду с литературой, его тянуло к изобретениям. Еще в юности Лазарев изобрел веретено, по образцу английского. «Надо было его испробовать—пишет И. Белоусов.—Два веретена были посланы на две известные прядильные фабрики, и мне сам Лазарев показывал отзывы фабричных инженеров и механиков, где они удостоверяли, что веретена сделаны так, что ничем не отличаются от английских. Явились предприниматели с предложением открыть заводы для выработки веретен в России, но на все эти предложения Лазарев ответил так: «Пусть даст субсидию государство, и я устрою завод, но на таких началах, чтобы каждый рабочий был равноправным членом предприятия... А на службу я ни к кому не пойду и никому не желаю увеличивать капиталов». Так ничего и не вышло, и забылись эти веретена.

Изобрел Темный и песочницу для посыпки рельс песком на железнодорожных путях. Были песочницы разных форм, но ни одна не отвечала в такой степени нуждам дорог, как эта.

Однако, и это изобретение ничего не дало Темному. Чертежник, представлявший изобретение на получение патента, пред‘явил права на него, и Темный предоставил гор. Москве пользоваться им для нужд Московского трамвая. И ныне во всех вагонах трамвая вы видите пепельницу Лазарева. Изобрел он и несколько типов насосов. Но на изобретения самоучки не обращали внимания, и сам Темный не возлагал на них надежд.

Так жил он от праздника до праздника; а в праздник уезжал в Апрелевку, в 40 верстах от Москвы, к Н. Н. Златовратскому. По целым дням вел беседы с писателем, бродил по лесу, удил рыбу.

Симпатичными чертами рисует И. А. Белоусов нравственный облик писателя-рабочего. «Видно, что у этого человека, грубоватого на вид, была мягкая и нежная душа. Иногда приходила осень, наступали холода, а у него не было теплой одежды.

— Где же у вас пальто?—спросишь его бывало.

— Не знаю,—все висело на вешалке; должно быть, такой-то (назовет кого-нибудь из своих временных постояльцев) взял; он пришел ко мне в одной рубашке.—И ни обиды, ни сожаления не слышится в этом ответе».

В 1909 г. Темный заболел. Врачи посоветовали поехать на Кавказ. Он взял отпуск и уехал. Однако, Кавказ не возстановил его сил; и в следующем году в больнице он умер 47 лет от роду.

В посмертных бумагах Златовратского нашлось неотосланное письмо, в котором он дает характеристику личности Лазарева-Темного, «которого всегда вспоминал с чувством искреннего уважения и изумления перед той удивительной энергией, с какой он стремился в тяжелых условиях (особенно в первую половину жизни) к свету знания и возможности тем или иным путем дать исход своим недюжинным дарованиям и всегда кипевшему в нем живому стремлению к духовной защите людей труда и трудовой правде». «Я не могу без умиления вспомнить,—писал Златовратский,—как он, бывало, лет 20 тому назад, после 16 часового труда в мастерской, чуть не ежедневно прибегал ко мне вечером, чтобы кое-что узнать по арифметике, а там и по литературе, прочесть наскоро набросанные свои стишки, заметки, отвести душу в общей беседе, просиживая нередко до глубокой ночи, когда ему надо было вставать по гудку уже в пять часов утра. Да это ли только вспоминается мне, когда образы подобных энергичных тружеников с их стремлениями к свету и правде встают предо мною? Придет время, и память об этих пионерах трудовой народной массы будет восстановлена во всей ее полноте».

Речь шла о присутствии на открытии памятника Темному.

VI.

Это—люди десятилетия, пришедшего на смену «активному народничеству», активному разночинству. Семенов и Савихин пришли в середине его. Темный позднее. Но хотя Семенов (отчасти и Савихин) подпали под влияние Толстого, Темный— Н. Н. Златовратского, все же это—дети своего десятилетия. И оценивать их, как писателей, рассматривать их произведения (как со стороны содержания, так и со стороны формы) приходится в связи с тем, что наложило печать на всю литературу того времени.

Впервые к марксизму потянулась кучка интеллигенции: в этом черта, бросавшая отсвет на грядущее движение пролетариата. Но марксизм еще был абстрактной идеей. Рабочая интеллигенция, дитя рабочего движения, была впереди. И еще хуже обстояло с мужиком. Неудачи народовольцев ставили крест не только над конституцией, но и над верой в мужика. Красота ржаного поля оказалась слепой, стихийной. Ей не нужна наука, культура, политика; ей нужен «рубль», а кредитная бумажка тянет в город, к «легкому труду», к «злу деревенской жизни», раз‘ездающему психику крестьянина.

И вот—ничего увлекающего широким замыслом, смелостью мысли, того, что было в дни Решетникова. Вера в мужика потерпела крах, марксизм практического смысла не имел и не мог иметь, и вот: «наше время, не время широких задач». Выступила на сцену «теория малых дел» и «реабилитации действительности», и начались нападки на прошлое, и Салтыков писал свои «Забытые слова».

Решетников получил крещение в «Современнике» и его кружке. Сам Некрасов принял участие в его судьбе. Однако, активный дух разночинства—героический дух того времени—не отразился в произведениях Решетникова, как и Никитина. Тем меньше могли дать Семенову, Савихину и Темному восьмидесятые годы. И вот—общая черта их: нет мотивов, из которых могла бы слагаться мощь... Нет импульсов к поднятию духа, нет пафоса...

Так влияла не только жизнь, но и беллетристика того времени. «Выберите себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков»,—советовал один из героев «Чехова».— «Чем серее и монотоннее тон, тем лучше». Вот совет, которому следовали беллетристы. Тяготение к широкому отошло в прошлое. Собственно жизнь—капиталистический под‘ем России, делавший тогда такие шаги вперед—давала материал для больших полотен, но беллетристы облюбовали себе уголки,-

рассказы с двумя-тремя персонажами—и дальше их не заглядывали. Узость, индиферентизм к горизонтам глядели из них... Правда, они подкупали своей жизненностью; нередко и печатью мастерства, выходящего из ряда вон. Но типичная черта их: ни любви, ни ненависти. Это была действительность, в которой нам суждено жить, действительность узкого кругозора и—только.

Этой узости не избежали ни Семенов, ни Савихин. Темный—шире в позднейших своих рассказах. В них отразился 1905 год. Однако, и Темный—писатель своего времени.

Беллетристов восьмидесятых годов называли художниками-виртуозами, их произведения—милыми пустяками. Художником-виртуозом не назовешь ни Семенова, ни Савихина, ни Темного. Не назовешь и рассказ их—милым пустяком. И в то же время ни Толстой, ни Златовратский не смогли сообщить авторам размаха. Сюжеты их узки, основные проблемы без ответа. Нет и мастерства «художников-виртуозов».

VII.

Лев Толстой так характеризовал достоинства Семенова. «Семенов описывает самую простую историю,—писал он—и она всегда меня умиляет». Не только в силу того, что искренность—главное достоинство Семенова, но и в силу того, что у него содержание всегда значительно: «значительно потому, что оно касается самого значительного сословия в России — крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенской тягловой жизнью». И содержанию соответствует и форма. «Она сериозна, проста, подробности всегда верны: нет фальшивых нот. В особенности же хорош часто совершенно новый, но всегда безыскусственный и поразительно сильный и образный язык, которым говорят лица рассказов».

Да, в этом сила Семенова,—в органической связи между ним и мужиком. Возьмете ли слог Семенова, манеру писать, его образы, взгляды—везде мужик, везде влияние его жизни, интересов и характера, которые писатель так знает. Мужичья жизнь—вот, что делает целым его очерки, рассказы и повести. Важно то, что важно для деревни. Даже в рассказах, в драмах его из городской жизни он всем существом в полях... Отсюда эта простота, сериозность, эти детали, всегда верные, этот язык, которым говорит только подлинный мужик.

Это достоинства не одного Семенова. Правда, не в равной степени, но присущи они и Савихину, и Темному. Савихин,

изображавший полу-крестьянина, полу-рабочего, знал не менее Семенова быт трудовых масс. И у него свой язык, свои особенные звуки, так гармонирующие с содержанием. И так же прост он, как и Семенов.

И так же прост Н. Темный, хотя и на иной, конечно, лад. В поисках человека, который бы мог направить заложенные в нем силы, Темный попал к народнику, идеалисту «земли», который оказал на него влияние. Но это влияние не могло стереть особенностей рабочего-писателя. Ведь питались они—особенности письма его—содержанием, отличным от материала деревенской жизни. И в основном он тот же знаток быта, который еще так нов. Он зарисовывает нам пролетария девяностых годов, его печали, которых так много, его радости, которых так мало. И его язык это язык рабочего.

Но отмечая достоинства Семенова в своем предисловии к его рассказам, Толстой умолчал об их основном дефекте, умолчал, без сомнения, с умыслом. «Значительно еще содержание его рассказов потому,—писал он,—что во всех главный интерес их не во внешних событиях, не в особенностях быта, а в приближении или отдалении людей от идеала христианской истины, который твердо и ясно стоит в душе автора и служит ему верным мерилом и оценкой достоинства и значительности людских поступков». Сам Семенов, всегда изобличающий какой-либо человеческий недостаток, этот свой подход излагал так: «в книжке должна быть проведена какая-либо хорошая мысль, имеющая связь с теми нравственными недостатками, которые всего более требуют искоренения. Первый недостаток есть отчуждение народа от учения Христа. Второй недостаток—излишнее пристрастие к богатству и довольству, а также незаконное стремление к пользованию чужими трудами. Другие недостатки—пьянство, распутство и разные ложные понятия, которые мешают человеку жить по правде и причиняют ему множество несчастий. Вот против этого-то всего и должны писаться книги». И так же, как Семенов, смотрел на свои писания Савихин,—«строго и серьезно». Он сочинял «хорошие» рассказы, «учил» людей любви и правде. Толстой-художник, конечно, понимал опасность таких заданий в деле мастерства. Но Толстой-моралист,—автор народных рассказов,—сам склонялся к ним.

Однако, здесь основной дефект их творчества. Мысль «хорошая», выраженная не художественно,—вот, что представляет их рассказ. Нет движений душевных. Темный свободен от предвзятости. Но и его художественный рисунок слаб.

*

VIII.

Раскроем произведения беллетриста-мужика:

Склонен к поучению Семенов, но не склонен к приукрашиванию жизни деревни. Жизнь, зарисованная им, жестока, груба. Давит людей невылазный труд, одурманивающий водкой; слепит очи, путает мысли обида от людей. И переполнены горечью сердца одиночек, у которых «глаза по другому глядят, уши по особому слышат», вот как у дяди Фирсая, надумавшего вступить в борьбу с этой тьмой, поработать на пользу родной деревни.

«Есть такие мужики,—говорит он,—что если бы их на место господ поставить, так они бы, истинный бог, лютее всяких бар стали, по семи бы шкур драли. Они, даром, что сами из мужиков, а случись к разговору, сейчас скажут: «зачем мужикам волю дают». И мирское стадо им под стать.

«Наша хата с краю»,—только и есть ответа» [1]).

Дед Максим, «человек тверезый, работящий», которому с молодых годов вставлял палки в колеса свой же брат мужик, спасение видит лишь в выделе на свой участок.

«Мир хорош, когда в нем связка есть, когда друг дружке помогают, а коли стало, как теперь—и в миру радости мало. Что мы за последнее время сделали миром хорошего? Сосед соседу стал столько нужен, чтобы под горячую руку сердце сорвать. Кто нынче летом вику да капусту у нас стравил? А безрогой корове кто бок ободрал?» Он посадил яблони—им не дали выросги, обломали («Новоселы»).

Озорство ради озорства столь нередко в дикой, некультурной жизни крестьян, и невеселые картинки дает Семенов. Вот одна из них, так трогательно набросанная. Жил в своей подслеповатой избушке Степан Мягков. Одиночка, он не получал ни откуда ни гроша со стороны; все доходы его были от земли. Увидел он у мужика сад, хорошо разделанный, и засела у него мысль: самому посадить сад. В самом деле, после немалых трудов и усилий в три ряда росли у него кудрявые, веселые яблони, и были они любимицами в хозяйственном обиходе Степана. Ни хлеб, ни огород не тянули его так. Здесь были его чувства. Вскоре яблоки созрели; вышли такие сочные и вкусные, как—казалось—он не едал всю жизнь. Каждое казалось ему дороже десяти покупных. Но «дьявол-разрушитель» протянул свои лапы к его детищу, и сада нет...

[1]) С. Т. Семенов. «В миру» (Издательство «Жизнь и Знание». 1917).

Дело было, конечно, ночью, в отсутствии Степана. Торопливо вошел Степан в ворота и пытливо окинул взглядом сад. Яблони были не только пусты, но у многих были поломаны сучья; первое от сарая дерево было разодрано пополам. Степан очнулся и шагнул дальше и увидел еще искалеченную яблоню и еще. Жгучее чувство безумной злобы поднялось в нем со дна души и горькими слезами захлестнуло ему горло. Если бы кто-нибудь из людей заглянул в эту минуту ему в лицо, он, наверное, не узнал бы мужика: до того он изменился в эту минуту. Очнувшись, Степан безмолвно несколько раз обошел сад, осмотрел каждое дерево и медленно, опустив голову, направился к себе в избу. Степан редко когда пил, но теперь решил выпить; думал выпивкой облегчить свое горе. Но только выпил стакан, как горе его стало еще чувствительней. Точно он растворил в водке свою обиду, и она разлилась по всем жилам. Полез под лавку за топором и уже хотел итти с ним вон из избы.

— Пойду, срублю все, чтобы никому не доставались!

Но его остановили («Степановы яблоки»).

Это не случай. «Немилая жена», «Бабы», «Супротивник» да и все крестьянские рассказы...—не та же ли это «власть тьмы»? Семенов—предшественник Под'ячева и Чапыгина...

И тем не менее какая любовь к земле, к земельному труду!

«Огромна неописуемая прелесть труда» и уничтожает все горести. Прелесть состоит в том, что человек всегда находится в нутре природы. Он видит, как природа пробуждается, и это пробуждение интересует его каждым моментом. Для него все тут близко, все прекрасно, все связано с бороньбой, с посевом, всем оборотом хозяйственной жизни. «Полный радости, идешь в поле, уставляешь плуг на первую борозду, трогаешь лошадь, вонзаешь заржавевший лемеш в сыроватую землю, и каждый отворачиваемый тобой пласт бывает не менее приятен и интересен, как переворачиваемый лист талантливой книги, хотя книга говорит разуму и чувству, а пласт земли одному только чувству» [1]).

Вот почему, несмотря на дикость, так радостны тона: «в селе вдруг радостно звякнули колокола, и от этого стало еще веселее»; «все так было живо, весело, что сердце приятно замирало и дышалось легко, легко»... Даже осень не ослабляет жизнечувствия. «Все умирало кругом, а между тем было так весело. Какое-то нежное чувство просыпалось в душе» и т. д. Мало сказать, что так настраивает Семенова лишь сам по себе земельный труд.

[1]) «Двадцать пять лет в деревне», стр. 56.

Нет, сквозь грубость мужика писатель отыскивает и родники человеческого чувства, которые смоют эту грубость, утвердят образ человеческий. Отсюда религиозность Семенова, склонность к текстам Евангелия...

Семенов уверен: как ни темна власть земли,—спасение все-же лишь на ней. Гибнет мужик в городе. Как ни вертятся там люди, все же они в проигрыше. И лучшие люди Семенова—мужики, попавшие в город,—только и думают о том, как бы вернуться на землю. У Семенова нет той ненависти к городу, к городской культуре, которая так характерна для выходцев из деревни, вроде П. Карпова. Напротив, его интеллигент из крестьян либо бывший конторщик с какой-то фабрики, либо бывший мастеровой, вернувшийся в деревню... Однако, отрицает он город бесповоротно; только за сохой постигаешь истину. «Как хорошо думается, когда идешь за сохой и бороной... Чувство делается сложнее, сердце влечет в одну и другую сторону, является ряд вопросов... Особенно ясно мне чувствовалось, как земледельческая жизнь и жизнь на миру связывает с людьми. Невольно в каждом видишь какое-нибудь достоинство».

IX.

Как ни значителен бытовой опыт Савихина, настоящий нерв народной жизни не нащупан и им. И потому, что ему не хватает широты, впадает он в рассудительность, портящую описательную сторону. В этом сходство его с Семеновым. Есть, конечно, и различие. Найдя «мужика»—после скитаний по городам,—Семенов утвердился на нем: в быте его весь смысл произведений Семенова. От идеализации спасла его мужицкая природа. Но в растрепанной, пьяной деревне он все же «свой». Не то Савихин.

Город,—трактирная цивилизация в его глазах, фабрика калек, которым уже возврата в деревню нет. Но он уже не влюблен и в красоту ржаного поля. Фабрика уродует мужика помимо его воли. Но и деревня не счастье; не выход для человека, котораго обошел город. Герой «Кривой доли»—не то городской, не то деревенский человек, не то мещанин, не то крестьянин, проще говоря, забулдыга Мокей—несомненно говорит от лица автора.

Это человек с испитым, по добрым и ласковом лицом, которого автор встречает на дороге. Из разговора Мокей узнает, что его спутник—не здешний, а городской,—из Петербурга.

— Ах ты, милый человек, свой брат! Ведь и я на заводах в прежнее время живал,—два горба нажил. Свой брат... а?

За что ни возьмется—дело «хвост подожмет». Такого «профессора», как он, за стекло бы посадить, чтобы не запылился. Только подиж ты... вместо того по дорогам валяется. «Кривую долю» эту обрел он на фабрике; тоже в прежнее время на заводах жил. Сперва поступил к механику за Нарвской заставой, а уж после и на завод...

— Ты порядки заводские знаешь?

— Ну, так вот... Житье чудесное: товарищество, все прочее... Кругом артель день и ночь. Заводский народ—покладистый.

Зато пить начнут и—ворота отпирай. У них такие ребята были: в одиночку по четвертной отхватывали.

— И что же ты думаешь? Ведь больше десяти годов; запомни, братец,—больше десяти держался я, как свеча перед богом. То в церковь сходишь, то послушаешь, как умный человек газету читает, али отдохнешь маленько, чайку там попьешь, али что... Домой в деревню приеду—отец только бороду гладит. В Питере живу—зависть берет людей, а потом... как стало винтить, как начало крутить... Ясное дело, мамзели, водка, и пошло под гору. Спился, и в душе одна накипь осталась.

Приехал домой, в деревню,—покойник-батюшка давай учить. И в зубы-то двинет, и в шею-то двинет, и в бок запустит жильцов пятнадцать—по всячески. А потом и мир принялся за него, — выбивать дурь из спины.

Но что же? Еще хуже вышло. Такая уж доля... кривая... А все город и фабрика и водка... Стал прощаться с случайным знакомцем автор.

— Не торопись. В омут всегда поспеешь,—убеждает Мокей.

— В какой омут?

— А в городской. Вот меня город-то и самого с'ел. Может и не таким бы вышел, кабы не загубил там себя [1]).

А что здесь, в деревне? Старики, побои и порка...

X.

Если Семенов предшествует Под'ячеву и Ивану Вольному, то Лазарев-Темный предтеча Бибика и Ляшко.

В то время, как Семенов и Савихин бродят около больших проблем деревни, рабочий-писатель ближе к основному нерву фабрики. Он скорее девятидесятник; к тому времени Темный перешагнул уже за третий десяток лет.

---

[1]) «Кривая доля». (Издание «Посредника». Москва, 1911 г. Десятое издание).

Дух девятидесятников, насыщенный предчувствиями, бьет в первых его рассказах, и так и отражен в них пролетарский дух, вопреки близости к Златовратскому.

Темный рисует рабочего; он переполнен им. Его Кубасов, потомственный мастеровой — герой «Наследства»,—«ненавидел и презирал» рабочих-крестьян, которым завод нужен только для того, чтобы пережить зиму; ненавидел за то, что они чужды и безучастны к интересам заводских рабочих. Этого Кубасов не мог ни понять, ни простить, ибо «сам был проникнут этими интересами до последних уголков изболевшей души. Тут были и его мечты, и его разочарования». В такой точно степени проникнут заводом и сам автор. Мастерская, процесс труда, все ощущения и мысли, связанные с ним,—все это рассказано им конкретно, кусками живого, из рабочего быта выхваченного материала,—так, как это может рассказать «потомственный мастеровой». Разве до него кто-либудь описывал так мастерскую; «юбилей» «Блохи», старого работника механического завода, свидетеля его развития из кустарной мастерской в капиталистическое предприятие с тысячью рабочих, с инженерами, с учеными коммерсантами; обыск рабочих при выходе из фабричных ворот?

Метко схватив все особенности рабочей жизни, природу рабочих будней, он тянется к общему. В Темном уже источник рабочей коллективности, и его задача не в том лишь, чтобы дать жизнь в ее повседневности. Нет, он тянется выше—к «правде»,—не к той, которая светит Семенову с его ржаного поля, а к той, которую олицетворяет машина. Но сила коллектива ему еще не ясна, и он видит лишь палки, брошенные под его колеса.

«Железный раб», «люди, полные неясных ожиданий и наивного терпения», «огромный, наполненный смрадом завод»,—вот выражения, которыми пестрят рассказы. Такова рабочая жизнь Темного. Вверху паук, расставивший свои сети, — в виду отечественной индустрии, — внизу мухи, запутавшиеся в них; им даже и мысль не приходит в голову, что может быть иначе. Лошадиный труд да пошлость мещанина—вот их удел.

Типичен уже первый рассказ—«Наследство» [1]). Кубасов ненавидел немца, хозяина мастерской, в которой работал. Когда принесли щи рабочим, и в мастерской запахло, он не в состоянии был сдержать себя. Хозяина!—крикнул он. Тот с озабоченным видом подошел.

---

[1]) «Собачья доля».—Рассказы. (Издательство писателей «Кузница». Москва. 1923).

— Ешь!—сказал Кубасов, приближаясь к немцу.

Тот, отрицательно качая головой, сказал, что сыт по горло.

— Нет, ешь!—настаивал Кубасов и ткнул в губы хозяина гнилым мясом...

Что же рабочие? Пожалели хозяина... Один «засветил» Кубасову по уху. Другие, как клещами, сжали руки его и повели в часть. «А ты, брат, видно, и впрямь храпнул»,—говорили они укоризненно.

Где Кубасов ни работал, были те же хозяева, те же рабочие. «И они, его товарищи, оглушенные водкой, одураченные семнадцатичасовым трудом, казались ему мухами, попавшими в паутину, жалобно жужжавшими и бившимися в сетях... А мелкие хозяева мастерских представлялись пауками, жадно следившими за своими жертвами».

Являлись у Кубасова надежды: вот откроются большие заводы, потребуют десятки тысяч рук. Цены на труд поднимутся... Мечта сулила ему «теплый угол, где он, старый, говорит своим внукам: смотрите, внуки, этот дом, этот хлеб я заработал честным трудом. Будьте честны, бережливы и не бойтесь труда»... Отчасти его ожидания оправдались. Над городом, выше церквей, поднялись трубы и коптили небо. Орали свистки, призывая на работу. Но вместе к тем бог весть откуда явились десятки тысяч рук. «И опять была та же сеть и те же мухи». Кубасов «терял смысл жизни». Его охватывала какая-то тревога, когда он прислушивался, приглядывался ко всему, что происходило в фабричном городе. Прежний хозяин его — владелец мастерской — перешел в большой корпус, в котором пыхтела паровая машина, ухал паровой молот, гремели токарные и сверлильные станки. Несколько способных рабочих блюли его интересы и погоняли товарищей не хуже самого немца...

Теперь Кубасову «чудилось во всех этих храмах труда» присутствие какой-то злой силы, которая направляет и руководит всем строем жизни». «Дерутся, плачут и пьют кабацкую отраву, чтобы забыть хоть на одну минуту ужасающую действительность. Это—царство железа и пара, где тысячи людей переплетаются в непонятном хаосе; где слезы, мольбы и проклятия заглушаются треском машин и сливаются в деятельный гул отечественной промышленности. Неумолимая будущность сияла перед ним во всем ужасе лохмотьев и нищеты. Он понял, что промышленность не так груба, но и не так наивна, как крепостное право,—от нее не убежишь и не спасешься... Неб'яснимый страх наполнил все существо

его, темные мысли завладели им; он падал духом и вешал голову»...

А старость серебрила волосы... А дочь, любимая дочь, стала девицей бульвара... Низкие цены на работу, загубленные трудом силы понизили его благосостояние до нищенства, и горечь кипела в сердце старого рабочего, и он искал причину своих страданий и... нашел ее. Для него стало ясно: враги его на лицо. Это были товарищи по заводу — крестьяне. Когда к началу зимы тянулись они из деревень в город, фабричные предвидели сбавку цен на работы, как по прилетевшим скворцам узнают весну.

— Глядите,—желчно кричал Кубасов,—вот «собственники» прикатили на липовой машине с березовым кондуктором!

Он показывал на палки и лапти загорелых крестьян. «Деревенские же обломы» не оставались в долгу.

— Что больно раскудахтался? Гляди, какой хозяин! Чужедомник!..

И сторонились, когда на фабрике было «тревожно»...

Кубасова рассчитали за дерзость... Пересчитал получку, последнюю получку. Не выходило по полтине на год «благородного труда», того труда, который лишил его человеческого образа, вывернул руки, согнул спину и, накинув рваную кацавейку, пустил доживать дни бездомной нищеты...

Такова самая живая рабочая индивидуальность, какую мы находим в рассказах Темного. Для него завод это хаос, от которого не убежишь и не спасешься. Необ'яснимый страх и темные мысли владели Кубасовым, несмотря на то, что сердцем он уже в рабочем коллективе... И Темный хорошо сделал, что написал Кубасова... Это правда: таков и был рабочий тех лет, лишь инстинктом чуявший «свою» правду.

Так думал и чувствовал Кубасов. Но многим ли выше сам Темный? В отношении развития их и сравнивать нельзя. Об этом говорит биография писателя. Но едва ли ошибусь, если скажу, что подход к заводу у них общий. Недаром и псевдоним себе выбрал Лазарев «Темный».

Он дает рабочих, замученных жизнью: о психологии борьбы говорить нечего. Рабочие еще забиты... Темный дожил до рассвета движения, ярко вскрывшего психологию пролетариата. Казалось, он мог бы дать и новый тип пролетария. Однако, он остался в прошлом, в мире «маленьких людей».

У него нет перспектив. А где нет перспектив, нет и широты...

XI.

Элемент новизны Семенова, Савихина, Темного ясен. В их лице рабочий, крестьянин, полурабочий, полукрестьянин впервые ищут себе место в литературе. Но злой рок роднит их со всей пишущей братией тех лет. Ни один из них не видел того, что вдувает «душу живу», дает силы и смысл жизни. Когда иссякают пути к общему, перспективы мельчают. Все видится в урезанном виде.

Быть может, в рассказах Семенова, Савихина, Темного это давало себя знать не совсем так, как у беллетристов верхов. Для этого они слишком люди масс, массовики до мозга костей. Но все же точки, которая была найдена потом, еще не было. И Семенов не шел дальше пользы грамоты, Савихин — борьбы с пьянством, Темный—слепого страха перед силами капитализма.

Ныне писатель-рабочий или крестьянин «знает», что делать. Наши же зачинатели этого не знали и, если этого знания не давала жизнь, то тем менее могли дать им его Лев Толстой и Н. Н. Златовратский. Однако, книги их, написанные просто и правдиво, займут свое место в народной литературе.

ГЛАВА II.

Бедность несмелая.

П. Травин, М. Тихоплесец, Ф. Шкулев, Гр. Завражный, Вас. Карпов.

I.

В 1909—12 г.г. в Москве выходила газета «Доля Бедняка». Основанная столяром П. А. Травиным, она меняла названия, но та же оставалась цель: «освещать жизнь бедняков, отражать их желания».

«Доля Бедняка» выдвинула своих беллетристов. Таковы: Михаил Захаров, П. Снетков, Семен Попов, И. Косоротов, Е. Нагибин, Дм. Ветров, П. Филиппов, Михей Тихий, Ив. Коробов, Василий Стариков, Гр. Машеров, Ив. Киселев, Дрынка, Е. Платонов, А. Горбач, Д. Попов, С. Саковнин, П. Стрелков и т. д. Уже по темам можно составить себе понятие о том, чьи интересы привлекали их внимание: «Записки бедняка», «Записки оффицианта», «Записки мужика», «В кузнице», «Горемычные»... Полукрестьяне, полу-рабочие, профессиональный облик коих так пестр, творили эти произведения; они же в них изображены.

Но большинства хватало на один-два, много три рассказа; не ими держалось издание, а теми, кто писал из номера в номер. Таковы были: П. Травин, М. Логинов (Тихоплесец), П. Карпов, Ф. Шкулев; таков же и Гр. Попов (Завражный), стоявший особняком, но близкий им по духу и характеру письма.

Получили свое крещение они не в «Доле Бедняка». Травин выпустил свою книжку под названием «Думы» в 1901 году. В предисловии говорилось, что автор «простой необразованный мастеровой», и она встретила добрый прием в «Русском Слове» и некоторых других изданиях. В 1902 году он выпустил вторую книгу («Думы и жизнь») и третью («Рассказы и стихотворения»). Шкулев выпустил первую книгу рассказов и стихотворений в 1901 г., вторую—в 1903 г.; Григорий Завражный в 1903 году—«Жизнь». Словом, первые шаги их уходят в девяностые годы. «Доля Бедняка» (как и прочие издания этого типа) дала им, однако, возможность печататься регулярно, дала и средства на издательский почин, и вот перед нами книги, значительные по об'ему. Завражный выпускает том в 250 страниц «В народе», Травин—«Крестный путь», Василий Карпов—«Деревню», рассказы из крестьянской жизни, Тихоплесец—«Звенья». В «Доле Бедняка» (1910 г. № 34) появилось даже такое об'явление: «открыта подписка на сочинения П. А. Травина». Первая книга и вышла в свет; вышли также повесть «По другой дороге», небольшая книжечка «У колодца» и др.

Итак, перед нами ряд произведений, собранных в сборники и книги. Это дает возможность восстановить и общий облик, и облик каждого в отдельности. «Доля же Бедняка» живой комментарий к этим книгам. Ведь «Доля Бедняка» не название только; это строй взглядов и чувств.

II.

Что такое полу-крестьянин, полу-пролетарий? Все мы знаем его, этого «бедняка», «в поте лица добывающего хлеб», знаем и долю его: «терпи, беднята, пока терпится».

Одной ногой в деревне, в ремесле, другой—в городе на фабрике... С окончанием полевых работ, беднота, которой на земле не просуществовать, снимается с насиженного места, затопляет город. Голодные, трепещущие, они жаждут работы, работы какой угодно. Встречает их подрядчик, буфетчик, извозопромышленник, скупает за бесценок, закабаливает «столом» и «квартирой». Иные—с наступлением весны и полевых работ—возвращаются обратно, других кабала затягивает на годы, и связь с деревней—лишь семья.

Это—резерв, сбивающий цены на рабочую силу, из которого хозяйчик может черпать полной рукой. На тот же путь вступило ремесло. Фабрика, фабричное производство сводили на нет мелкое предприятие, и ремесленник надрывался, от зари до зари работая, чтобы свести концы с концами, чтобы дать отпор машине, но машина его предала, и в резерв вливался и полу-пролетарий, сегодня работающий на хозяйчика, завтра на капиталиста.

Если вы видите чернорабочего, как муравей, карабкающегося с утра до ночи по воздвигаемой постройке или мостящего мостовую, или роющегося в земле в разных нечистотах, знайте: это — полукрестьянин, которому дохнуть, закурить папироску некогда, тем более сосредоточить мысль на чем-либо. Если вы видите портного, сапожника, столяра, у которого и праздника не хватает, чтобы выспаться, ибо работа идет и по праздникам, знайте: это полупролетарий; перебивается с хлеба на квас, терпя холод и голод, рожая хилых, болезненных детей...

Полу-крестьянин неудачу свою видит в том, что он выгнан из деревни, «где все на волю просится». Полу-пролетарий клянет машину, самотkацкие станки. «Машины, самоткацкие станки, облегчающие труд человека, помогли облегчить карманы тружеников-

ткачей», пишет он [1]). Но хуже всего не то, что их труд—лошадиный труд, оплачивающийся грошами; что они живут в грязи и тесноте; что их зависимость горше всякой другой. Хуже всего их беспомощность: положением своим они обречены на это.

Из этой-то среды вышли авторы: эта среда отражена в их книгах. Но прежде чем анализировать их книги, дадим представление об авторах по их запискам и письмам.

III.

Начнем с плодовитейшего П. Травина; еще больше, чем беллетрист, он интересен, как организатор альманахов, газет и журналов, обслуживаемых писателями из народа.

«Моя жизнь — пишет Травин, — жизнь обыкновенного мастерового». Родился в Москве. Отец был хозяином небольшого столярного заведения, которое сын принял от отца. До девяти лет был предоставлен самому себе, делал, что хотел. Любимым занятием были кулачные бои, летом — купанье в Яузе. От природы склонный к самоуглублению, мальчик все искал вокруг себя чудесного. Девяти лет начал ходить в городское начальное училище. Но, привыкнув к безделью, он тяготился ученьем, прогуливал учебные часы; бродя по Москве, разглядывал выставленные в витринах книги, прочитывал все, что было на их обложках, и фантазия уносила его куда-то в девственные леса с горой таких книг. Страсть к книге уже жила в нем и тогда. Он жил той жизнью, о которой рассказывает книга... Но время летело быстро. Несмотря на лень, учился он успешно и кончил школу одним из первых. А затем опять то же. Зимой—кулачные бои, летом—скитанье за городом.

Тринадцати лет отец поставил его за верстак. Работать не хотелось, но нужда была страшная,—дела отца пошатнулись, — и мальчик кое-что ковырял, совсем не интересуясь работой. Голодный 1892 год был еще тяжелее для семьи. Заказов не было, черный хлеб дошел до четырех копеек, а они вырабатывали в день не больше двугривенного. Жили в тесном сыром подвале, вблизи Крестовской заставы. Отцу приходилось делать то шкатулки, то аршины, и мальчик нес продавать изделия в Толкучий рынок.

Книг доставать было трудно, но страсть к чтению превратилась в болезнь. Травин забивался в сарай и плакал,—горько плакал в необ'ятной тоске по книге. Тогда же впервые и стал писать.

Толчек дал ему отец. Как и большинство рабочих, отец пил, в опьянении наводя ужас на окружающих. Но он имел чудесный

[1]) «Доля Бедняка», 1910 г. № 43.

баритон и, когда пел, под мощные звуки рождались песни в душе сына, создавались образы, возникали мысли. И он писал для того, «чтоб читать хоть самого себя». Он подражал писателям-фантазерам — Жюль-Верну, Майн-Риду, Буссенару, — и «романы» его были «коротки, наивны, глупы», но автор был доволен. Где попало, собирал всевозможную бумагу, резал на листки, складывал вдвое, писал сверху «Газета № такой-то», писал фельетон, начинавшийся с искания приключений. В отделе «Дневник» заносил все, происходившее на его глазах, а завершал газеты стихами, переписанными из старого журнала. За неимением же оригинала, записывал песни, какие знал. Позднее, узнав первую любовь, он стал писать стихи и самостоятельно.

В пятнадцать лет он заменял уже отца: ходил по заказчикам, покупал материал, выделывал готовые вещи, чинил и обивал мебель на месте. Потом у отца отнялись ноги, сын женился. «Теперь сам-шестой волочусь в заколдованном кругу мастерового,—пишет он,—о котором принято говорить, что у него руки золотые». «Все горе в том и состоит, что за труды этих золотых рук платят не золотом, а медью. Страх за будущее гнетет меня. Стоит захворать мне, и вся семья пойдет по миру, так как я — единственный работник в ней».

Первые стихотворения П. Травина появились в 1895 году в журнале «Развлечение», — ему не было 18 лет еще; в этом году он с тесным кружком товарищей издавал рукописный журнал «Свободное Слово». В 1902 г., совместно с Шкулевым, организовал товарищеский кружок писателей из народа. На вечере в память Некрасова, устроенном кружком, возник раскол, в силу которого Травин сложил с себя звание председателя, а на его место был избран Максим Леонов. Но затем и Леонову пришлось уйти из кружка и организовать новый литературно-музыкальный Суриковский кружок. В 1904 году Травин, — все с тем же Шкулевым,— организовал издательство, выпускавшее писателей из народа. Они выпустили сборник «Луч» и книжку Кузьмичева «Большой подряд». В 1905 году наш столяр организовал «Народный кружок», выпустил 4 сборника: «Утро», «Волны», «Прибой» и «Огни».

Между тем дела Травина шли на нет. В 1905 году, вследствие отсутствия заказов, он вынужден был отказаться от своего мастерства и искать себе другого заработка. Переехав с семьей на время к сестре-портнихе, он бедствовал несколько месяцев, живя буквально впроголодь. Он искал хотя места дворника, но и того не находилось. Наконец, в 1906 году священник Петров предложил ему работу в газете «Правда божия». Травин был

отправлен редакцией в поездку по России. Но он успел лишь проехать от Твери до Саратова, так как газета неожиданно для него прекратилась.

Опять безработица и связанная с ней нужда. Пробовал поработать в «Народной газете» и «Народной Правде», но заработок был ничтожен. Пробовал открыть газетно-книжную торговлю. Но и это было горе-торговля. Вот тут-то Травин становится на путь народного журналиста. Он организует ряд оригинальных изданий, в которых пишут лишь писатели из народа. Таковы газеты «Соха-кормилица», «Летопись». Но они окончились крахом. Очутившись без дела, Травин совместно с И. А. Белоусовым и М. Леоновым организует «Простое Слово», которое, в свою очередь, принесло один убыток. Не отчаявшись и этой неудачей, он в 1907 году создает журнал «Молодая Воля», закрытый на основании чрезвычайной охраны, затем газеты «Новая Пашня», «Мужицкая Правда», »Новая Воля», «Свободная Воля», которые, в свою очередь, последовательно закрывались. В 1908 г. он принимает участие в журналах «Гроза», «Ясный Сокол», «Крестьянская Правда», которые прекратились за отсутствием оборотных средств.

Травин делается журналистом своеобразным, но все же журналистом. Разумеется, заработок его был очень мал; он пробивался кое как. Но вот — с закрытием этих изданий — опять безденежье. Приходится писать романы и рассказы на Никольский рынок по 3 р. 50 коп. за печатный лист.

Только в 1909 г. ему удалось наладить «Долю Бедняка», продержавшуюся три года. Здесь ему приходилось быть и редактором, и сотрудником, и рассыльным. С помощью друзей газета держалась до тех пор, пока Травин не был приговорен к крепости. В это же время типограф, у которого печаталось издание, создал Травину такое положение, что ему пришлось прекратить платежи. Этот удар доканал издательство, и тщетно Травин бросился выкидывать «юмористические» листки, заботясь о том, «чтобы не пропал этот источник средств для существования семьи».

Положение его было безвыходным. «Нахожусь в самом отчаянном материальном положении, — писал он мне накануне 1917-го года. — Обращался кое к кому с просьбой дать какое-либо дело, но ответа не дождался. В довершение всех бед я связан отсутствием документов. Еще в начале 1914 года я привлекался по 129 статье. Чтобы не оставить семью на произвол судьбы, мне волей неволей пришлось сделаться нелегальным. Все эти передряги создали для меня положение, о котором можно сказать: свет клином сошелся».

Травин опустился и литературно, и морально. Но он не преувеличивал, говоря о том, что создал предприятия для писателей-самоучек.

IV.

М. Логинов, известный под псевдонимом Тихоплесец,—представитель народной богемы: недаром и погиб он так грустно от злого туберкулеза. Как нельзя лучше, шел ему псевдоним его: «есть такие светлые, широкие и вместе с тем кроткие души,— писал о нем «Бюллетень Литературы и Жизни» — напоминающие собой тихие плеса великой русской реки».

Родился он на Волге, в семье мужика, любил великую реку, как мать. Нет в мире края лучше Волги, и, когда плыл по ней, то он даже не пил водки, которая была для него такой же отравой,

— Это было бы кощунством, — говорил он А. Панкратову, зарисовавшему нам ряд черт его.

Еще зимой он держался на одном месте. Но только прилетали грачи, и начинало греть солнце, Тихоплесец не противился его свету и теплу.

— Надо собираться на Волгу.

Начинал мечтать, становился беспокойнее. Семья полуголодала, ютясь где-то в подвале. Но он все-таки уезжал. В молодости, когда судьба выкинула его из родной деревни, он босячил, мыл посуду в трактире, работал в аптеке и т. д. Позднее выдумал средство для склейки посуды, назвав его «фарфорином». Как только начиналась навигация, в душу Тихоплесца закрадывались зовы, он занимал где-нибудь пять рублей и покупал на них фарфоровые соединения и билет до Рыбинска. Себе на жительство оставлял гривенник.

В Рыбинске на берегу варил «фарфорин» и нес торговцам. К вечеру у него были деньги, которые и отсылал жене. Шел ночевать на пароходную конторку и там, примостившись на краю стола, в холоде и дыму махорки, писал рассказ. Волжские газеты его печатали, но платили копейку-две за строку, и он никогда не протестовал. Так он плыл по Волге, варил «фарфорин» и писал рассказы. Пробовали оставить его где-нибудь в Казани или Самаре. Но Тихоплесец отказывался:

— Не могу. Мне надо вниз...[1])

---

[1]) См. некролог А. Панкратова в «Русском Слове».

Зачем? Его тянуло вперед... С Волги он сворачивал на Каму. Разумеется, кормиться таким образом было мудрено. Но изменить это было не в его силах. Вот отрывки из его писем к поэту из народа Ник. Иванову (Николе Грусть), относящихся к 1904 году. «Когда человек жаждет чего-либо свежего, давно не виданного, дорогого (как мне: ширь, раздолье, степь), и вдруг перед ним действительность мечты — о, как хорошо! — пишет он с Камы.— Но если действительность выше, необ'ятнее мечты, тогда он сам перед нею совсем стушевывается. Далекий путь. Много вижу.— Гигант-пароход «Волга» уволок меня к самой Сибири. Хороша Кама, Коля, так хороша, что, если бы я был одинокий, то прошелся бы с удовольствием пешком, с котомочкой и с посохом по сказочным берегам ее. На тысячеверстном расстоянии оба берега покрыты изумрудными лугами, стройными елями и пихтами. В тихую погоду Кама, Коля, как дорогое шлифованное зеркало, оправленное в бирюзовую раму, отражает опрокинутые берега. Еще красивее она утром, подернутая серым туманом, или вечером при солнечном закате, когда пурпур неба, как божья риза, коснувшись краем земли, отразится на воде. Тогда от чар приходишь в какое-то исступление, в сон, золотые прекрасные мечты слетают на своих крыльях, и, очарованный, не можешь двинуться с места; душа своими ушами слушает чудную мелодию звуков невидимой гармонии природы. А пароход острым носом разрезает сонную воду; а редкие свистки долгим эхом отдаются в бору и тают там, тают... Все похоже на сон, несмотря на то, что дела ни чорта не стоят».

Вот и они, дела Тихоплесца. «Плохо нынче. А около Сарапуля так и просто несчастье случилось. Стал я снимать с левой ноги сапог, а он, чорт бы его загрыз, возьми да и оборвись (в том месте, где пришиты «новые» головки). Хорошо, что я во Владимире еще купил перочинный нож. Ну, и пришлось отрезать и ту, и другую голенищу. И остался я литератор-путешественник в опорках, а купить новые сапоги и в Перми не пришлось, потому что сантимов только на билет. Волей-неволей от таких дел рукой махнешь, да и отдашься в область мечтаний,—все легче на душе. Но еще грустнее станет, когда спустишься в четвертый класс. Ох, какая там голь и нищета! Дятичи, говорящие нараспев, татары, мордва и др. там ютятся на грязных нарах, с голодными детишками; около коек подвешены зыбки. Писк, плач детей, вонища от сырьевых кож, грубое отношение матросов,—все это меня возмущает, волнует»...

Лишь раз изменил он Волге. Как-то от дяди достался ему «мыловаренный завод». Продал его за 400 рублей и оторопел, увидя в своих руках такую большую сумму денег. Решил уехать с ними в Париж, с целью поступить там в дворники. Почему именно в дворники, он сам не знал. Приехал,—ни ласки, ни привета в чужом городе. Никуда из номера не выходил. Играл все время на гармонике, сидя на окне. Ведь он и языка не знал. Когда дошел до нищенства, то был препровожден консулом в Россию.

Но, что бы ни случилось с ним,—денег нет, не ел,—взгляд всегда ясный, речь живая:

— Весной на Волгу... Хорошо, любовно! Там и поправлюсь...

В тоску без просвета ввергала его лишь водка, с которой бороться было свыше его сил. «Итак, Коля,—читаем мы (25 окт. 1906 г.),—я не пил проклятого зелья тринадцать дней и тринадцать ночей и, наконец... возжаждал. Я тринадцать дней чувствовал себя,—как не чувствовал целый год,—хорошо. Мысли были свежи, воздух другой, картины природы живее, страдания людей касались самой души, и я был человеком. Нас, людей, по силе нашей же злобы и неправды, окружают угнетающие явления, от которых мы стараемся отстраниться. Но, странно, мы как-то на пьянство смотрим точно через туманное стекло. Но ведь это гадко, непростительно. Да, Коля, стыдно мне за эти два года, которые я пропил. Конечно, дух злобы шепчет в уши: «но за то ты в эти годы столько написал.» Но разве я так бы написал, если бы не пил; ведь я рукописи относил, сам не разбирая. Довольно! К чорту пьянство! Пора быть самим собой».

Как писатель, Тихоплесец выступил в 1903 году с книжкой стихов и рассказов под названием «Пробные аккорды». И стихи, и рассказы были полны технических недостатков, совсем не осмысленных фраз. Но, попав в товарищеский кружок, он быстро усвоил технику и стал печататься в ряде провинциальных и московских изданий. Вот письмо, характеризующее его настроения тех дней (1904 г.). «Коля, есть у нас с тобой заветные мечты: они для нас соль жизни нашей,—пишет он,—мы рвемся к свету, чтобы самим воспринять свет и светить другим. Но что делать? Пока нужно сознаться, что мы еще «светильники под спудом». Но, дорогой, кажется, уже близко то время, и мы, кажется, сбросим скоро этот покров и очутимся лицом к лицу солнца. Вот, мой друг, я чего тебе желаю в день твоего нового года: я желаю чтобы именно с этого дня началось то желанное время. Теперь, Коля, я тебе желаю больше, чем когда-либо, выступить скорее на поприще литературы. Это вот почему. Выступив на этом поприще, я думал, что на нем встречу друзей, таких же чистых, как ты... Не знаю,

что будет дальше, но пока разочарован. На-днях мы были у П. П. Г.: я, Зайцев, Лузнин и Завражный. Здорово напились. Вот почему я теперь больше, чем когда-либо желаю открытия сих дверей для тебя. Скорее, скорее, мой друг, выступай на это поприще,—я не буду чувствовать себя одиноким. Я знаю, что ты человек светлой души. А писатель... писатель это—апостол правды. Это зеркало, судья, законодатель, сын своего отечества! От писателя требует отчет история, а потому он должен быть, как гром, как пламя и, главное, как человек. Это я в предчувствии, что ты уже подошел к дверям. Да будут тебе мои слова звездой путеводной».

Тихоплесец, как и Травин, стал на путь журналиста. Издания, которые он вел, носили, конечно, тот же характер. Таковы «Звезда утренняя», «Народные Думы» и т. д. А. Панкратов видел его как-то в роли «редактора-издателя». Тихоплесец сидел на совершенно сломанном стуле и, балансируя на двух ножках, читал стихи.

— Можно поместить такие?—спрашивал он,—в каждой строке «Эшафот» и «палач».

— Штрафа не миновать.

— Нам платить нечем...

Журнал был еженедельный. Редактор получал 20 рублей. «Народные Думы» на девятом номере остановились. Собирали по копейкам между собой, чтобы поддержать издание, но ничего не вышло. Недолго просуществовала и «Звезда Утренняя», и Тихоплесец голодал. На другой день после закрытия «Народных Дум» Панкратов встретил редактора-издателя. Он нес по Никольской какие-то ящички. «Что это у вас?»—Резиновые мячи. «Зачем»?—Торгую. Надо свой полтинник заработать в день. Скоро опять будем издавать газету...

И засиял. Ему предлагали быть подставным редактором «для сидки». Жалованья 45 руб.; а во время отсидки 60. Но он не согласился.

— Чтобы я, народный писатель, подписывал газету, в которой может пройти статья против народа. Никогда!

А между тем сапоги его просили каши... Восковой цвет лица, удушливый кашель, голос—один хрип. Кашляет и прижимает к сердцу желтенькую книжку:

— Свеженькая... Мое новое сочинение. «Звенья» называется.—И, как ребенка, ласкает книжечку, бережно, с любовью завертывая в газетную бумагу.

И тот же, конечно, в письмах. «Я сейчас был в редакции «Приказчика» и мне предложили в нем работать,—пишет он.—Но, Коля, я не знаю, найду ли в себе «силы», чтобы не быть сотрудником сего органа, потому что там предлагают заработок хороший, а я голодный. Приходит праздник, а у меня и сапоги худые, и жрать нечего. «Приказчик»—это буржуазный орган, хотя он именует себя «кадетским». Я узнал это тогда, когда прочитал № 2 журнала, а ведь меня Р. А. Менделевич (редактор) уверял, что орган будет прогрессивный.—Что делать? Куда итти? Что жрать? Вот вопросы. Ведь ты и... знают, что я пьяница, но никогда не продавал своего чувства. Откажусь от сего органа. Ну их к чорту! Коля, милый, а пишу в пивной и пьяный. Как хочется высказаться душой и принять твоего совета. Но как и когда? Ведь мы как сойдемся, так и напьемся».

Судьба незаслуженно-горько отнеслась к Тихоплесцу. Умер писатель, едва достигнув сорока лет, в стенах больницы. В окно смотрела ненастная ветренная осень.

V.

Гр. Попов (Завражный) родился в Старо-Казачьей слободе Тульской губернии, в серой крестьянской семье; в ней не было ни одного человека грамотного.

Когда мальчик стал подрастать, семья разделилась, впав в нужду. С девяти лет он, как и все дети, уже помогал отцу в работе дома, а с 12-ти пошел работником по богатым мужикам, неся всю тяжесть земледельческого труда и унижений со стороны хозяев. Учился в школе только две зимы. В этой школе из всех наук он лучше всего усвоил технику кулачного боя; этот предмет преподавался лучше других, и ему уделялось главное внимание.

По выходе из школы Завражный забыл грамоту—не было ни книг, ни времени для чтения,—и к семнадцати годам еле-еле умел разбирать по печатному. Семнадцати лет он пришел в Москву в лаптях и здесь прошел ряд мытарств и испытаний, пока не приноровился к жизни в городе.

Сначала поступил конюхом к барышнику на Конной площади, затем служил в трактире, доливая куб с четырех часов утра до двенадцати ночи, был легковым и ломовым извозчиком, крючником на Мытном дворе, служил дворником, исполняя одновременно и обязанности кучера, и все время весь свой заработок отсылал семье в деревню.

Его труд был тяжелый, обстановка грязная, удручающая, окружающие люди грубы, и нравы их дики. Душа рвалась на части при виде этих картин, но деваться было некуда.

«Деревня со своим раздольем мне в то время казалась раем,— пишет Завражный.—Но дома было так бедно, что вернуться туда жить не представлялось никакой возможности. Надо было жить на стороне и всеми силами стараться поддерживать дом». Выход постепенно находился. Избегая грубых сожителей, Завражный стал в свободные минуты уединяться и читать дешевые лубочные книжечки, покупая их на рынке. Ему стал открываться другой мир. Воображение уносилось в область сказочного, мало-по-малу расширялся умственный кругозор, и тянуло учиться. По мере увлечения книгами, он все более загорался желанием учиться, и скоро под его изголовьем на нарах появились тетрадки и учебники, и—без руководителей, без какой-либо системы—он принялся за зубрежку, насколько это было возможно в той несносной обстановке, в которой он жил.

Когда Завражный поступил дворником, его заметил молодой человек, живший в том доме, окончивший практическую академию коммерческих наук. Он охотно занялся с дворником, и при его помощи Завражный заручился такими знаниями, что мог потом поступить конторщиком на Нижегородскую железную дорогу. На железной дороге он сошелся с кружком сознательных рабочих, в котором занимались самообразованием.

В это время Завражный стал писать стихи. Страсть к писательству пробудилась в нем стихийно. Он ночи просиживал за тетрадками, но стихи выходили плохие. Познакомился с маленьким литератором, который научил его технике стихосложения и пристроил его в один московский журнал. Литератор пророчил Завражному писательское будущее; обстоятельства, однако, сложились так, что ему на много лет пришлось оставить мечту о литературе. В 1888 году он был взят в солдаты. Военное начальство не терпело сочинителей из нижних чинов. Но образование он пополнял и тогда. По выходе из военной службы Завражный поступил на Московско-Брестскую железную дорогу, где прошел все степени станционной службы. Но железнорожная служба требовала всего человека целиком и не оставляла времени для духовной жизни, и Завражный, прослужив семь лет, бросил ее и сделал попытку заняться «своим делом».

В это же время, по просьбе односельчан, он принял участие в делах родного сельского общества, ведя, в качестве уполномоченного, борьбу с администрацией, разорившей их область.

Но ряд обстоятельств расстроили дела Завражного и, ликвидировав их, он пошел служить в контору. В среду писателей из народа он попал в 1902 г. Самый факт писателя из народа произвел на него такое впечатление, что он с жаром принялся за работу. Стихи, которые так ему не давались, были забыты, и в короткое время была написана книга рассказов, которую он и напечатал прямо с рукописи. В кружке Завражный, увлекавшийся сценическим искусством, не без успеха выступавший на подмостках, в особенности в качестве певца, старался внести оживление исполнением народных песен. Им импровизировался хор на вечеринках, в котором каждый из членов принимал участие. Он был одним из учредителей «Товарищеского» кружка. В 1904 году был членом правления, председателем которого был Лузин. Состоял и членом Совета Суриковского кружка.

В 1905 году, когда явился спрос на издания для народа, когда писатели, знающие жизнь народа, были кладом в редакциях, Завражный занялся журналистикой и работал в них в качестве публициста, корреспондента, но, главным образом, беллетриста.

В 1906 году он работал в «Народной Газете» П. П. Рябушинского. После закрытия последней, выходила «Народная Правда» под редакцией Завражного. Но и она закрылась. В 1907 году Завражный редактировал газету «Сеятель», позднее—журнал «Народная семья»,—издания, отличавшиеся от тех, которые создавали Травин и Тихоплесец. Он вкладывал в свое детище то, что отличало его самого от ему подобных. Но, в общем, это была та же печать для народа, обслуживаемая силами из народа же, с той же шаткой материальной основой. Заработок был скуден, и если Завражный стал работником печати, существовавшим профессионально, то не в качестве писателя, а служащего экспедиции большой газеты.

Когда умер Златовратский, Завражный произнес речь над могилой народника, в которой он причислял себя к мужикам. «Литература семидесятников, представителем которой был покойный,— говорил он—была близка нам по духу, доступна по понятию. Пускай та эпоха сменилась годами унывия и хмурых людей; пускай народничество вырождалось в марксизм, а место мужика занял босяк, брошенные семена на ниву народную не пропали даром: они медленно, но верно несли свои плоды. Пускай ты свалился, старый, могучий дуб! От твоих корней пошли молодые побеги, на знамени которых опять начертано: «народные интересы». Опять дегтеньком потянуло, ибо серый мужик сам двинулся в литературу. Те мужики, о которых ты всю жизнь печалился, теперь сами продолжают твое дело».

VI.

Ни Травин, ни Тихоплесец, ни Завражный дальше ремесла и тех профессий, которые предоставляет город полу-пролетарию, не шли. Шкулев и Василий Карпов, в отличие от них, были «фабричные», один временно, другой—всю жизнь.

В. С. Карпов (Мясников) родился в Московском уезде в деревне Анишеве, и до 15 лет прожил в ней при хозяйстве отца. В сельской школе учился две зимы, за три версты от своей деревни; должен был прекратить науку, так как у него не было ни обуви, ни теплого платья. 15-ти лет был увезен в Москву и отдан в типографию. Оторванный от деревни, он мысленно просился туда, где провел свое детство, и грустное чувство охватывало его при мысли, что его затянет город. Теперь, ему казалось, нет доли, более завидной, чем хозяйство мужика, и он не раз бросал полную шума и сутолоки жизнь и уезжал в деревню. Любя простор и природу, он принимался за соху, борону и косу, принимался за огороды, и не как-нибудь, а «желая показать пример правильного извлечения пользы из земли своим односельчанам». Однако, основаться в деревне была ему не судьба. Попытки эти кончились неудачно. Каждый раз на пути встречались препятствия, и Карпов возвращался в Москву, в свою типографию, пока не бросил своих попыток навсегда.

Одной из причин его неудач была его литература. «Рисуя с натуры своих героев,—говорит Тихоплесец, сопроводивший своим предисловием «Деревню» Карпова,—автор сам не один раз убегал в Москву от кулачной расправы, когда те узнавали себя в его рассказах». Первое произведение его появилось в сборнике «Народные досуги», выпущенном «Московским товарищеским кружком писателей из народа» в 1904 году. Вообще, печатался он лишь в журналах и газетах писателей из народа: в «Народной Газете», «Народном Пути», «Трудовой жизни», «Летописи», «Простой Жизни», «Простом Слове», «Мужицкой Правде», «Молодой Воле», «Ясном Соколе» и т. п. Главным же образом, в «Доле Бедняка».

На фотографии, присланной мне Карповым, он изображен с Тихоплесцем; оба — с нумерами «Народных Дум, их детища, увидевшего свет.

Ф. С. Шкулев, родившийся в семье бедного крестьянина (в 1868 г.), еще ребенком был отдан на фабрику. Отец умер за три месяца до его рождения. Мать ходила на полевые работы к соседям, чтоб прокормить своих малышей. Но на жизнь не хватало.

Тогда она занялась стиркой. От такой работы она в тридцать лет уже была старухой. Когда мальчик подрос, в селе открылась школа, куда он и поступил учиться. Учиться грамоте ему хотелось: учитель был хороший, добрый, молодой. Он полюбил мальчика и после учения всякий раз оставлял его у себя, поил чаем, читал книги.

Но проучился Шкулев недолго: вышло ему место на фабрике, находившейся верстах в двух от деревни. Фабрика с первого раза показалась ему адом. Приходил с работы он в девять, десять часов вечера, а вставал, чтобы итти, в три часа утра. Жалко бывало матери будить его, но голос нищеты заставлял это делать, и бежит, бывало, вместе с выгоняемой скотиной, не умытый, не чесаный, со слипающимися глазами, а мать со страдающим сердцем смотрит вслед.

Рабочие двигались вокруг, — среди шума, дыма, грохота; дым и пар кружили голову. «В чем же у них сила, что они так долго могут работать?—думалось мальчику.—Привыкли,—отвечал он себе.—Привыкну и я».

Через неделю был такой же, как и они. Щеки пожелтели, глаза стали мутными, но зато он все видел в дыму и паре, и уши слышали и разбирали все, что говорилось вокруг. Только к рабочему дню он не мог привыкнуть. Ведь тогда ограничений детского труда не существовало... Вдруг среди хаоса раздается душу раздирающий крик, и бьется безпомощное тело, колотясь о колеса, корчась от предсмертной боли... Это «несчастный случай» с кем-либо. Ну что ж! Остановят машину, снесут увечного в больницу... Ведь тогда не то, что теперь... Изувеченным не платили... А на их места становились свежие силы, которые только этого и ждали. День-другой пройдет, опять случай: обжогся кто или ногу сломал или руку оторвало...

Наступила очередь Шкулева. Он попал рукой в машину. Вот как описывает он свое увечье (в рассказе «Кто виноват», имеющем автобиографический характер).

Пришел мастер и сказал:

— «Ну, если хотите раньше кончить, работайте живее, а я прибавлю ход машины.

Мы согласились. Быстрее заходили проводы, веселее застучали шестерки, чаще закружились медные барабаны и завертелись ролики; руки наши еле успевали расплавлять крутящиеся кромки белой ткани. Помню, перед глазами моими из-под рук нырнула закрутившаяся большая кромка... Я бросился за ней, вскочил на подножку и сунул руки между вертящимися роликами и барабаном. Руку мою что-то дернуло сильно, пальцы хрустнули,

потом хрустнула и кисть... а что было дальше, я не помню. Когда же я очнулся, я лежал в больнице, и страшная жгучая боль терзала мою руку. На другой или на третий день ко мне пришла мать, но с первого взгляда я не узнал ее. Предо мною стояла какая-то сгорбленная, с худым, желтым лицом старуха, с впалыми, полными слез глазами».

Отлежался Шкулев в больнице, а когда вышел, нищета, как страшное пугало, встала перед ним. В голову закрались недобрые мысли. Наконец,—несмотря на то, что потерял руку, т. е. стал инвалидом,—попал в Москву, в овощную лавку, в роли помощника приказчика, где служил в течение многих лет.

Влияние учителя между тем не пропало даром. Он с детских лет тяготел к чтению. Попав же в Москву, он читал все, что ни попадалось под руку. К несчастью, он долго читал «Московский листок», который выписывал его суровый хозяин. Но и встречи с товарищами сделали свое дело. Он начал писать стихи, появившиеся уже в 1890 году в сборнике Лютова «Наша Хата», а затем и рассказы.

С 1890 года он печатался в «Развлечении», «Народном Благе», «Юной России», «Детском Чтении», но, главным образом, в «Доле Бедняка» и в изданиях и альманахах этого типа. В 1907 году редактировал в Москве газету писателей из народа «Новая Пашня», которая была администрацией закрыта.

В возникшем «Кружке самоучек» Шкулев был одним из главных организаторов. Он горячо брался за общее дело и доводил его до конца.

Кончил Шкулев так же, как и Травин. «Уехал в Архангельск,—писал мне о нем писатель, тесно связанный с этой группой, но выбившийся из нее—и стал издавать там сатирический листок вроде Травинского. Вот вам доказательство несерьезности писательства иных самоучек. Посмотрел я у Травина на листок Шкулева и плюнул. А Травин успокоил меня: «Выгодное дельце».

VII.

В книги включена лишь малая часть того, что написано авторами. Плодовиты были не только Травин, Шкулев, Тихоплесец, перепробовавшие все роды оружия, но и Завражный, наиболее опытный, и Василий Карпов, которому искусство литератора, в силу слабой подготовки давалось труднее. Даже не все лучшее попало в их книги. Однако, читателю доступны лишь книги, и я пользуюсь ими.

Что это за литература? Поэт-самоучка, когда-то связанный с этим кружком, но впоследствии отошедший от него, так характеризовал ее мне: «Художественных ценностей в этой литературе нет. На протяжении пятнадцати лет из рядов писателей из народа, группировавшихся около Травина, не вышло ни одного выше посредственности, например, Ф. Шкулев, Тихоплесец, сам Травин. Все это грубо. Кроме воспевания бедности и нищеты—ничего. Как будто бы все остальное преднамеренно не существует. Вот почему их сборники и газеты не пустили корни в жизнь. Они быстро умирали и превращались в макулатуру. Авторы, находившие себе приют в этих органах, делались «кустарями», «маргариновыми писателями», как сами вы выразились. Научиться здесь нечему. Требовалось только писать о доле бедняка. А сам Травин в этих кормивших его «Долях Бедняка» увяз, как в болоте. Идейного работника из него не получилось, как не получилось и народного писателя. Вот почему я теперь так ценю беспощадную требовательность Максима Горького, который когда-то написал Травину письмо построже, чем мне».

К своему взгляду автор этих слов пришел не сразу. Он рассказывал мне про М. Добролюбова, сына ломового извозчика, который, сойдясь с группой Травина и разочаровавшись в ней, иными путями пробился в литературу. Он был эстет; эстетизм и перестроил на новый лад его стремления. Другие после 1905 г. отходили от старых друзей, захваченные духом времени, и в числе их был и наш поэт. Однако, в оценке его, без сомнения, исторической перспективы нет.

Ведь наши беллетристы задолго до 1905 года наметили свои темы, свои приемы письма... Можно ли пред‘являть к ним ту требовательность, которую, скажем, пред‘являет теперь Горький? Едва ли. Художественное творчество складывается тогда, когда социальный строй, из которого пришел художник, оформился извнутри.

Даже ныне рабочий поражает нас бедностью интуиции. Марксистская идеология завоевывает его, дисциплинирует его логику, но там, где все решает не ум, а чувство, в сфере непосредственных переживаний, видим мы другое. Чтобы уметь изображать их, надо, чтобы идея, воспринятая умом, сливалась с чувством в одно. Художник творит не умом, а интуицией; несознанное умом постигается эмоционально. Если интуиция перестает служить, остается засилье интеллекта. Чтобы рабочий-художник окреп в классовый тип в эстетике, освободился от художественных традиций прошлого, нужно новое восприятие. Ведь рабочий-художник

и в идейном, и в психическом, бытовом отношении есть продукт новых образований. Образы, чувства накапливаются в коллективе и лишь затем находят свое выражение и завершение. Но сейчас еще нет в наличии той психики, тех напластований, каких требует художник-рабочий в индустриальном смысле слова. И потому таковых—строго говоря—два—три.

Если же такого синтеза не дал нам еще индустриальный пролетариат, то могли ли перерости самих себя наши полу-пролетарии, шедшие от Никитина и Решетникова, мечтавшие еще о своей избе, о своем верстаке?

Ценность их внелитературна. Но ведь и Решетников, как художник, ничтожен. Действительность бралась Решетниковым, как она есть, без отбора важного от неважного. Однако, «Подлиновцы» до сих пор читаются с захватывающим интересом: значителен материал рассказа. Вот этим-то жизненным материалом интересны и наши беллетристы.

Для ценителя формы и выполнения здесь нет ничего, — язык неуклюж, изложение утомительно, но каждый из них служит «правде», как бытописатель. Это делает чтение не малым трудом. Авторы спешат, все спешат куда-то; им нет времени поработать над собой. Но если рассказчик заботится об изложении, приходит на помощь и четкий образ, и меткий эпитет.

VIII.

Воспевание бедности и нищеты... Однако, никто до них не чувствовал так доли бедняка. Это—дети «бедноты» в полном значении этого слова, и быт—полукрестьянский, ремесленно-мещанский — владеет ими с головы до пяток; и им не надо было быть артистами, чтобы выразить данное им бытие.

Без красоты... Но что ни слово, то жизнеощущение полу-крестьянина, полу-пролетария. Только люди, вынесшие на своих плечах тяготы этого ярма, этого лошадиного труда, могли вскрыть нутро этой социальной группы, отличной от других, и они сделали то, чего не сделал бы человек иной среды. Сколько образов фальшивы лишь потому, что не связаны с источником тех явлений, которые за ними стоят! Наши же беллетристы всем складом своих чувств у самого источника.

Воспевание бедности... Но разве Решетников не воспевал «бедность»? Ни одного явления, на котором можно бы отдохнуть от узкой мечты о личной сытости. Вместо сложного процесса жизни, перед ним стон надорванного человека. Вопрос о «бедности», нищете, темной силе мещанства стоял перед ним, и он отражал его, как мог. И то же у наших беллетристов, оплакавших «бедных людей».

Конечно, и бурные мотивы позднейших лет оставили свой след. Авторы выдвигают «социальность», «социальный протест», но наш беллетрист не живет, а мается. Поле наблюдения его не рабочий центр, а мещанство, ремесло, заработки крестьян, застрявших в городе. Он не связан еще с коллективом, переживает в одиночку свою «долю», и город оборачивается к нему лишь спиной.

На фабрике, на заводе уже строится новое. Здесь же нет ничего, кроме физического и морального заушения. Борьба за кусок хлеба сушит. Человек подходит к противоречиям города, но не может осветить их. Бегство из деревни в чужие люди, тоска по деревне, крушение ремесла, мещанских отношений,—все это давит мысль и чувство... Что же делать? Терпеть.

И вот основная тема — доля бедняка, та, которую воспел Никитин, за ним Суриков в известной песне «Доля бедняка».

Ведь это те силы, что задушили Кольцова, Никитина, Решетникова, Сурикова и теперь душат наших беллетристов. Отсюда эта слезливость, нищенский тон полумещанина-бедняка. Помните у Никитина:

> Пали на долю мне песни унылые,
> Песни печальные, песни постылые.
> Рад бы не петь их, да грудь надрывается.
> Слышу я, слышу, чей плач разливается:
> Бедность голодная, грязью покрытая,
> Бедность несмелая, бедность забитая,
> Кто здесь узнает кручину свою?
> Эту я песню про бедность пою.

Нет веры, поднимающей дух. Но таково положение писателя, таков материал, преломленный сквозь призму его сознания.

Едва ли мы ошибемся, если скажем, что значительнейшие массы состоят из таких «бедняков», и исповедь такой души— как ни примитивна она сама по себе — уже поучительна: перед нами быт бедняков, проституток, парикмахеров, ломовых, ремесленников, описанных ими самими.

Иллюстрируем же все это.

IX.

Завражный и Карпов—еще крестьяне. Тихоплесец потерял связь с землей,—это горемыка города. Травин весь в ремесле, в мещанстве. У Шкулева уже звучат первые мотивы пролетария той глухой поры.

Завражный несравнимо опытнее Карпова. Он подходит к быту мужика, связанный с его психологией. Нет тонкости, сложности душевных переживаний; рассказ подчас смахивает на газетную статью. Но быт многогранный, живой красочный диалог говорят о беллетристе сложившемся... Сходство Завражного и Карпова не сходство приемов письма, это сходство умонастроений,

У того и другого «в ушах ясно звучит напев полной тоски и жалобы песни: эх, ты, доля, моя доля, доля бедняка» [1]). «Бедность у нас была так велика, что родители не чаяли дождаться, чтобы распихать детей долой с хлеба»; «скоро и легко я научился чинить грубую обувь наших бедняков», «один в нем и был порок, что беден»; «трудись по совести, трудовая копеечка спора»,—вот, что склоняется по падежам на протяжении рассказов.

Печать мещанства особенно лежит на первой книге Завражного «Жизнь». В самом большом по об'ему рассказе («Федор Степняков») фигурирует крестьянин, приехавший в Москву и устроившийся на конюшне, при лошадях. Мысль его работает над тем, как выйти из этого положения, «чтобы не возиться с навозом, а сходиться с хорошими людьми, с приказчиками, например, или с лавочниками, хорошим речам научиться у них». И Федор поднимается все выше по лестнице положений и, наконец, оказывается фабрикантом, а так как он запасся при этом не только деловыми навыками, но и идеями народников, — то и благодетелем рабочих. Все это в тонах мещанина... В деревне Завражному по душе «выносливость, терпение, умение безропотно мириться с невзгодами»; не по душе — пьянство, озорство, неуважение к чужой собственности.

«В народе» (1913 г.)—заметный шаг вперед. Книга обвеяна тюрьмой, освободительным движением. Но за революцией скрыта все та же сущность, обвеянная вздохами и стонами бескрылой бедноты. Мы узнаем, как «дружная и самоотверженная порой до нелепости наивная борьба с отживающим режимом» выбила автора из обычной жизненной колеи; на прежнем месте не мог пристроиться, другого дела не знал. Его убеждали, что не все потеряно, но движение теряло в его глазах смысл. «Я заглядывал в свою совесть,—пишет он,—проверял себя и, к стыду своему, замечал, что определенных убеждений у меня вовсе нет».

Сходство Завражного и Карпова, главным образом, в подходе к городу, к деревне: это центр их интересов. Разумеется, город не для них; в городе им «душно».

[1]) Г. Завражный. «Отстранить». («В народе». Рассказы. Москва. 1911 г. стр. 210).

«Я ведь с детства увезен в душный город». «В Москву наплыло со всех концов России—только что хоть отбавляй, за хлеб работать просятся, девать некуда». «Долго ли будем мучиться без земли? Хоть бы дали нам, мужикам, ее, кормилицу, тогда нас в Москву горячим калачем не заманили бы»,—так ноют герои Карпова [1]). Не добрее выглядит город у Завражного. Вот городок,— около него прошла железная дорога.

Казалось бы, «нам эта чугунка—одна благодать». Но то показная сторона, а вот оборотная. Изгадилась баба рассказчика; куда и смиренство девалось... В трактире разливанное море, так и бросаются в разные стороны, деньгой сыплют. Мужики все поспились с ними, а бабы молодые да девки... («В народе».—Очерк «Прогресс»).

Естественна после этого тяга назад, в деревню. Вот рассказ «Вернулся». Василий Иванович в деревне не живет уже 18 лет, с тех пор, как уехал в Москву и поступил на железную дорогу смазчиком вагонов. Жалованье уже недурное. Но приехав в деревню, он сравнивает «сухую, механическую работу с разнообразной занятной работой крестьянина, которого интересует каждый злак, каждая былинка, каждый вбитый им на усадьбе кол, каждый положенный камень, повергает в восторг или горе перемена погоды», и остается в деревне.

Симпатии как будто ясны... Но цельности уже нет у наших полу-крестьян. Слишком связаны они с деревней и ее укладом, слишком знают, по собственному опыту знают жизнь деревни, чтобы ограничиться одной привычкой. Стоит им вплотную подойти к ней, чтобы им ясно стало, что и деревня для них уже не выход. Тьма, невежество, кабала, водка... Трепещет мужик перед погодой, которая обречет его на голод, перед начальством, которое окружило его кольцом мироедов, старост, урядников. Для личности нет места, и вот жестокий, поистине жестокий быт, которым связан по рукам и по ногам каждый.

В рассказе »Женили» Евдоким сватает своего Семку, не считая даже нужным предупредить его об этом. Михей—мужик «кредитный»; а все остальное имело уже значение третьестепенное. Когда парень перед свадебным поездом заупрямился, так как невеста ему не нравилась,—Евдокимов тут же избил его до потери сознания.

В рассказе «Сухари» десятский Сергей Головкин ведет парня в город к исправнику только за то, что, будучи крестьянином, он «приобрел дерзкую привычку читать».

[1]) В. Карпов. «Деревня» (Москва 1909 г.).

Не хватает углубленности Завражному, почему он больше уделяет внимания администраторам деревни, чем ей самой со всей разносторонностью ее интересов. Поскольку облик крестьянина выступает в его рассказах, в нем мало хорошего. Правда, намечается новый, смелый, сознательный тип крестьянина. Таков в рассказе «Сила в земле» пастух Матвей, иронизирующий над мужиками, которые устраивают крестный ход с молебном и водосвятием по случаю засухи.

— Ишь какую благодать бог посылает боярам-то,—думают мужики,—у, кого голод, а он с хлебушком; должно, богу молится.

— Барин-то наш?—замечает Матвей.—Чему он молится? Он по другому действует. Закатит на десятину пудов двести навозу,—так у него без богомолья родит.

Таков и Коврижкин («Сходка»), и Кузьма («Выборы»). Но это—капли в море, не более... И то все это люди, пожившие в городе. У Карпова всегда две стороны: старики, мироеды, которые черны и жадны, и молодые, настроенные прогрессивно. Разумеется, и в психологическом, и в бытовом отношении—это схема. Но кто, например, мутит в рассказе «На новый лад»? «Преимущественно молодые ремесленники, фабричные», приехавшие из разных городов. А в рассказе «Фабричный в деревне»? Жил в городе, на фабрике, но фабрика приостановилась, и он остался в деревне—занялся крестьянским хозяйством. То же в рассказе «Свадьба» и т. д. «Долой старину, давайте жить по новому»,—говорят фабричные. Правда, дальше путаница какая-то: город надо стереть с лица земли, и все же из города идет новая правда... Однако, эта путаница отражает двойственность наших авторов. В городе им кажется: свет из деревни; в деревне, наоборот: свет из города.

X.

Тихоплесец о деревне и не мечтает. Иван Назаров,—герой рассказа того же названия,—любил деревню, но когда не втерпеж стало ему в городе, то он мог лишь убедиться, что в деревне было «пусто»; «ишь, а издали все казалось по иному». [1]) А кроме того дико. После долгих трудов и трат Микитычу удалось осуществить мечту, которая не давала ему покоя—посадить сад. Но «ревнители зелья»,—«выпивохи»—возненавидели его за это... Потому Микытич в достатке! И вскоре вместе с поломанным плетнем Микитыч увидел большие сучья яблонь, валявшиеся по саду. И заплакал, как по покойнику («Сад Микитыча»).

[1]) Сборник «Звенья». (Изд. Литерат. товарищеского кружка «Родник». Москва 1912 г.).

Во всей книге Тихоплесца лишь два рассказа из жизни деревни. Главный герой его—бобыль, выгнанный из деревни, которому в городе уготована доля горькая. Даже во сне видит он ее, эту долю.

Вот Трифон, из рассказа «Две копейки», идущий в город искать работы, дремлет в дороге, в кабаке, и в его кисете разговаривают две копейки, весь капитал его. «Как только выпустили меня из монетного двора,—говорит одна,—я не успела опомниться, как попала в руки бедняков и стала переходить из грязного кисета в грязный кошелек. А уж сколько горя я видела у этих бедняков—не перечесть... Была я на родинах у бедного многодетного мастерового. Была и на крестинах у городского мусорщика. Однажды потеряли меня дети сапожника» и т. д.—«Ну, а я видела другую жизнь,—говорила вторая копейка.—А уж насмешек, обиды сколько вынесла! Я перешла к богатому купцу и угодила случайно в его мошну вместе с золотым монетами».

Все это наивно, как самое письмо Тихоплесца, технически беспомощное. Но все же какой-то поэзией овеяны эти рассказы о горемыках и скитальцах земли русской.

Уже сюжеты говорят о том, что перед нами невыявившийся поэт. Вот «дедушка-библиотека» в рассказе того же названия,—старичек, таскающий клеенчатую сумку из трактира в трактир. Стоит с ним разговориться о хороших книгах, и он начнет говорить так ласково, «как говорят родные после разлуки». Никто не знает, кто и откуда дедушка Яким. Редкий знает его имя, зовут «дедушкой-библиотекой». Один только половой уверяет, что Яким был бурлаком на Волге, а потом кожевником в мастерской, где и научился читать самоучкой. Потом приехал в город и стал торговать книгами. Торгуя книгами, Яким много их перечитал, и хороших, и плохих, и научился различать их. Он понял: книги—что еда. Есть хлеб и мясо, есть семячки... Прочитав заметочку о каком-то человеке, «ходячей библиотеке», он и сам затеял такое дело. И вот ходит по трактирам. В кабацкую затхаль свежее слово, чистую мысль кидает. В книжечке все это накоплено: нюхните лишь хорошенько... Сначала шло туго. Половые требовали песенников, сонников и сказок. Но через полгода дедушка уже с улыбкой подходил к синим вывескам трактиров. А потом стал, как родной...

Вот в рассказе «Слепые» слепой Василий Гусляр и высокий монах о. Исидор. Как только к пристани приставал пароход, гусляр садился на пол, поджав под себя ноги «калачем», и начинал

тощими, но длинными пальцами перебирать тонкие струны. Струны плакали, стонали, смеялись, сливаясь с шумом пенных волн широкой Волги, и в шапку поводыря бросали монеты. Хорошо пел Гусляр, пел о темноте, о пахаре, уничтоженном и обиженном, о долюшке бабьей, бесталанной и беззащитной. И о. Исидор грозил Василию гневом божиим.

— Пой о терпении, о покаянии и граде Иерусалиме, а то ты своими песнями только беса тешишь. Слышишь, слепой?

Но Гусляр не мог петь иного, ибо всюду слышал горе людское. Вот он сидит на закате. Волны широкой Волги тихо плещутся, шепчут осенние сказки тем, кто понимает их шопот. Василий-гусляр один, без поводыря. Ему хочется видеть закат, противоположный, одетый туманом берег, за которым стоит город с шумной жизнью, в котором люди, как муравьи, копошатся, перебивая друг у друга хлеб... Вот зажгутся в темном небе звезды...

Таковы сюжеты. «Дешевый человек»,—вот герой Тихоплесца (так назван и один из рассказов его)—«дешевый», граничащий с ночлежкой. Крестьяне «поголовно пошли по городам и пристаням на заработки», «рабочий труд совсем упал в цене», «сотни людей стали проситься из-за хлеба», «маемся мы всю свою жизнь, маемся, а все без толку. Словно воду в ступе толчем»: квалифицированный труд недоступен. Начинают и понимать, что «жизнь человеческая поставлена ложно». Клянут и людей, и жизнь, и, конечно, город, где бедняки, такие же, как они, создают богачам богатства. Но куда уйдешь из города? Разве в лес,—недалекий от окраины,—который с таким чувством описывает Тихоплесец («В бору»). Но ведь это на день... И вот запах сивухи... Лишь бы забыться от дум, которые ничего не прибавят к тому, что есть...

Тихоплесец хочет подняться; как поэт, он всем существом чувствует жизнь, но эта жизнь ни одного луча не пропускает в его угол, и на протяжении всей книги он—уныние и тоска.

XI.

Не в состоянии охватить сложный процесс жизни и Травин, беллетрист города в чистом виде. Он знает улицы, мастерские. Природа лишь раздражает его: он не понимает, как может она сиять, когда люди так несчастны.

Поистине никто до него так не чувствовал кошмар ремесленного быта, подрываемого капиталом. В его рассказах судьба мытаря-ремесленника рассказана вся—от младенчества до седых волос. Книга первая (названная «Крестный путь», по первому очерку, состоящему из трех набросков) рисует жизнь ремесленников-учеников. Прочтите их, особенно второй. Ведь это все с натуры. Вот «бедная» приводит свое дитя в «модную» мастерскую. Хозяйка заявляет, что у нее все ученицы за плату.

— Ну, ладно,—уступает она,—жалко мне тебя стало, сделаю милость господа для...

Лицо девочки темнеет при этих словах. На глазах ее навертываются слезы. Но мать набожно поднимает глаза к иконе.

— Бог вас вознаградит. Не тревожиться уж мне о Груняшке-то. Она у вас до дела дойдет.

И начинается «выучка». Бьет хозяйка, бьет мастер, бьет заказчик-самодур, — все, кому не лень, а придет на кухню,—полухолодные щи получит.

В «Башмачниках» мальчики уже выходят в мастера. Вот осень на дворе, когда подмастерьям легче мириться с своей участью.

Безглазая ночь смотрит в освещенные окна башмачной. Все и везде давно спят. Но здесь идет работа. Васька свертывает папироску из газетной бумаги, думает о том, как он проведет завтрашний день, воскресенье. Вместе с Алексеем, с Яковом отправится в трактир пить чай. Потом «пол-бутылки», потом «бутылку». Вечером в биллиардную... напьются до положения риз. И так изо дня в день, из года в год...

А вот умирают эти люди, работающие на водку! Умирает Прасковья, жена и собутыльница сапожника. Сапожник с своим мастером и другом решают, что «помянуть» покойницу надо бы... О похоронах завтра похлопочут... Но нет денег. Где возьмешь-то? («Покойница»).

Хуже всего это безработица, подстерегающая ремесленника. Недружелюбно встречает тогда и ветер на улице. Окружит своим свистом и хохотом, рвет и так рваную одеженку.

— Куда ты, дескать, дурачек, бежишь от меня и от дома? Людскую ли доброту хочешь испытать? Так брось, не пытай.

Нет заказов, и верстак стоит чисто прибранный, как на праздник («Без работы»).

Где же выход? Травин, как и его герои, лишь чувствуют, что почва колеблется,—ремеслом жить нельзя,—но всем строем дум и чувств они в этом тупике. Отсюда та исповедь, которая так откровенна в «Записках бедняка».

Каждый день, только протрешь глаза, — читаете вы,— в голове уже хозяйничает забота. Надо хлеба, картофелю, капусты, чаю... Это первое и самое главное. Когда выдается счастливый день, забота не унимается. Сапоги худые. Пальто, видавшее дни

свободы, громче паровоза своими заплатами и прорехами кричит на всю улицу: «Вот идет бедняк! Вот самый последний гость на жизненном пиру». Нет времени наблюдать за своей чистотой. Он вечно работает, суетится, просит, и все у него ничего нет. А в груди, в сердце поет мысль: хоть бы месяц, другой пожить спокойно, не пугаясь будущего. «Я имею семью. У меня дети маленькие. Они не хуже дворянских, поповских и купеческих. Почему же их ждет другая доля? Я украл у себя время и стал писать записки. Для чего, кому они нужны? Они нужны мне, только мне. Они отнимают кусок хлеба у моих детей. Я это сознаю... и я люблю своих детей... и я все же решился писать. Иначе я пойду в кабак. Я не камень; я не медная копейка, а живая, из костей и плоти, из того же материала, из которого созданы князья и патриархи. И я хочу говорить...» Каким волшебным, чарующим кажется это слово—дети... для бездетных богачей, и каким ужасом отдается в сердце бедняка, имеющего их несколько штук. Именно штук. И каждая такая штука требует хлеба и мучений. Сколько лишних напрасных пинков и колотушек терпят они! Из-за чего? Вы думаете, бедняки-родители не любят своих детей! Неправда! Хорошо петь о мягкости нравов тем, которых не терзают на каждом шагу, каждую минуту невзгоды... Кажется, что же может быть законней и справедливей семейной жизни человека? Так это кажется; на самом деле, бедняку вступить в семейную жизнь значит наверное нищих плодить. Редко кто понимает всю уродливость и подлость такого взгляда. А из этого вытекает, что бедняк должен удовлетворять естественное чувство неестественным путем. Любить? Как красиво звучит это слово в богатых хоромах и какой мучительной, щемящей тоской сжимает сердце бедняка! Там любовь—счастье, а здесь она—новая тяжесть, новая петля на шее, забвение на некоторое время и страшное мучение на всю жизнь. Жалкие гроши, добываемые бедняками, разбивают их счастье. Душа заглохнет... сердце очерствеет... Не только думать, но и чувствовать тяжело... Забвения, одного только забвения... Но жизнь, полная мелочных дрязг, не дает забвения. Его надо опять-таки неестественным путем добыть: опьянением, отравой. Брань и драки сделаются обыкновенным явлением, чем-то неизбежным. Кто же во всем этом виноват? Уже не бог ли? Нет! Бога человек подменил своей злой волей. Бог не может быть источником ее. Это жизнь человеческая не хороша» [1]).

[1]) Сборник «У колодца».—«Записки бедняка».

XII.

В рассказах Ф. Шкулева отразилось положение рабочего восьмидесятых годов. Уже стихи его пестрят темами: «Пролетарий», «Рудокопы», «Каменьщик» и т. д. Рассказы же в большинстве повествуют о фабрике. Однако, ошибся бы тот, кто подумал бы, что тем самым Шкулев выступает из группы.

Нет, от писателя-пролетария, сумевшего показать созидательную сторону завода, он далек. К нему завод обернулся лишь черной своей стороной. Настроение активного коллектива еще ему чуждо. И уже это сближает его с Травиным. Но и весь пессимизм его—это пессимизм «Доли бедняка». И в каждом рассказе вы чувствуете привкус терпеливой покорности.

Вот служащий писцом Степанов, потерявший на фабрике руку. Законов об увечных еще не было, и когда он пришел к хозяину просить вспомоществования, Карл Карлович сказал только:

— А, а! помню, помню... Ты што ж, малшык, опять будешь баловаться? Мой такой малшык шалун не лупит...

В протоколе было сказано: «за примирением сторон дело прекращается», и дело с концом. «С тех пор прошло двадцать лет, но мне кажется, что это было так недавно», говорит герой рассказа. И, в самом деле, Шкулев живо передает и обстановку, и те ощущения, которые пережил Степанов. Но рассказывает он почему-то все это своему начальнику. Достаточно двух-трех вежливых слов со стороны последнего, чтобы Степанов растрогался.

— Спасибо вам, добрый начальник [1]).

Так же прочувствован рассказ «Около завода». Работа на «газу»—тяжелая, жара невыносимая. Кокусник обязан привезти и отвезти в день для зарядки печей более четырех сот пудов кокса, а возят его в тачках, в которых помещается до 20 пудов, не считая тачки, в которой тоже пудов пять. Без навыка везти эту тачку невозможно. Когда брали с рынка поденщиков, они не могли выполнить лошадиную работу и уходили с завода. Но и положение ретортщиков не лучше. При зарядке печей им приходилось поднимать втроем железный совок с семью пудами угля, кроме совка. От жары они страдали глазами, а от воды и снега все кашляли. Ослабевших же завод не принимал.

— И так, бедные, всю жизнь свою кладут на заводе, а под старость разбитые, расслабленные, больные, отдавшие все для

[1]) «Кто виноват»? (Рассказы и песни.—Книга вторая. Москва, 1902 г.).

него—и лучшие годы, и здоровье,—бродят, как мухи, без приюта и хлеба, разутые, раздетые, ютясь, где попало. Вот он, поглядите на него,—указал рассказчик на рваного старика, сидевшего на ящике.—Такой ли он был пять лет тому назад? Сильный, здоровый... плечи—во! Грудь—гора. Настоящий богатырь. А теперь что? Слепой, больной, еле дышит от кашля.

Народ все серый... Деться некуда... И лезут.

Все это согласно с натурой, но опять та же странность. Защитником рабочих и врагом капитала изображен лавочник, который в контрах с заводом.

Лучший рассказ, душевно тонкий,—это «Все кончено». Она летом торговала подсолнухами, зимой варежками и чулками. Он летом работал на огороде, зимой выгружал дрова из вагонов. Она его звала Проклом, а он ее «воблой» или «щепкой». Она его любила и уважала, и, когда он приходил пьяный, давала ему пить и есть, укладывала спать, а к утру покупала для похмелья ему водки. А он ее часто выгонял вон, отнимал деньги и пропивал их. И она за это на него не сердилась. Была поздняя осень. Прокл, весь мокрый, уныло брел дорогой в свою конуру. Он был без работы. Шел он, не разбирая, по лужам и грязи. Ничего не думал, так как был уверен, что «вобла» приготовит ему все, как и всегда. Чем ближе подходил он к дому, тем чаще рисовалась ему картина: теплый угол, водка. Войдя в теплый коридор, он был удивлен: в каморке было темно. Он подумал, что «вобла» спит. Ошарил постель, но на ней никого не было.—Марья!—позвал он «воблу» именем. Но ответа не было. Сердце его дрогнуло от предчувствия, и вдруг он понял, как Марья для него дорога. Припомнил ее лицо, ласковую речь, и мучительно стало жаль Марью за то, что так часто и напрасно обижал ее. Все десять лет, как один день, прошли в его голове... Если б она сейчас пришла, он поклялся бы ей, что никогда не будет вновь этого делать. Утром проснулся рано, и первой заботой было итти искать Марью. Побывал тут и там, но ничего узнать не удалось. Он, как дитя, сделался тих. Прежней грубости как не бывало. Но вот городовой рассказал ему, что Марья сшиблена лошадью и отправлена в больницу. Прокл на выпрошенный у хозяйки полтинник купил восьмушку чаю, фунт сахару, лимон и белый хлеб. Он чувствовал, что Марья будет рада его приходу, и ему хотелось больше и больше сделать хорошего для Марьи. Он теперь думал, что жить, как он жил до этого, он не будет. Выздоровеет Марья—пусть живет на квартире и ничего не делает, а он будет ее кормить. И ему снова мучительно жаль

стало Марью, и желание видеть ее наполняло его душу, пока он шел в больницу. Пришел в больничную контору.

— А-а! Это задавленная-то? В часовню ее давеча вынесли.

В глазах сделалось темно, по щекам струились слезы, узел с гостинцами выпал из рук. Когда его привели в часовню, он еле узнал Марью. Лицо бледное, спокойное... Ничто теперь не беспокоило ее—ни бедность, ни грубость Прокла. И опять он ясно представил себе, как была дорога ему Марья в жизни.

Марью похоронили. А на другой день покончил свои счеты с жизнью и сам Прокл.

XIII.

Итак, художественная ценность ничтожна. Но все же это этап в народном писательстве. Полу-пролетарии, полу-мещане поведали миру свои думы и чувства. Пусть тускло и убого, но все же подлинным светом мерцают их огоньки.

Хорошо, что голоса их раздались до писателей-пролетариев. Ведь и это целый мир переживаний. Когда раньше слышали мы их?

Не нам бояться наплыва Травиных в литературу. Но в стране, где царила такая тьма, полу-пролетарий был одинок более, чем кто бы то ни было. И становится легче при одной мысли, что в дни, когда народ представлялся такой неведомой стихией, уже где-то о себе, о своей доле говорил он сам.

Жизнь духовно ломает, уродует его (Травин, Шкулев). Но прощаешь их недостатки, как их горькую судьбу...

ГЛАВА III.

Сивачевщина.

Мих. Сивачев, Пимен Карпов, Надежда Санжарь.

I.

Троим посчастливилось стать об'ектом шумных толков: безработному пролетарию М. Сивачеву, «крестьянину-хлеборобу» Пимену Карпову и «дочери народа» Надежде Санжарь.

Сивачев в 1911 году рассказал историю пролетария, стремящегося в ряды интеллигенции. «Прокрустово ложе»—это ложе писателя, вышедшего из низин и пытающегося устроиться в буржуазном мире. Пимен Карпов—двумя годами позднее—дал картину «жизни и веры хлеборобов», как сказано в подзаголовке его романа. «Кровь», «пламень крови» всюду и везде, и назывался его роман «Пламень». Еще до «Прокрустова ложа»—в 1909 году—вышли его страницы о народе и интеллигенции («Говор зорь»). Появились в 1910 году и «Записки Анны» Санжарь. Это был материал, «прописанный на боках» женщины, прошедшей все мытарства труда—от горничной с мытьем полов до модной мастерской.

Эти книги и вызвали неспокойный обмен мнений.

Прочтя «Прокрустово ложе», Л. Толстой говорил своему секретарю Булгакову: «Очень интересная книга, я бы вам посоветовал посмотреть». Карпову Толстой писал: «Книга ваша мне понравилась своей смелостью мысли и ее выражения. Для того, чтобы высказать горькие истины «образованным», нужно в наше время гораздо больше смелости, чем для того, чтобы высказывать их правительству» [1]). И редкий критик, редкий публицист не отозвался на эту тему: и Ал. Блок, и Иванов-Разумник, и Антон Крайний, и Измайлов, и Белоруссов, и Чуковский, и т. д. Точно что-то ударило всех по больному месту.

В чем же нерв этих книг, точно по уговору заговоривших об одном и том же? Каждая из них закатывает «пощечину» культуре. Да, Сивачевы стучатся в двери культуры,—уже проснулась в них жажда духовной жизни; они хотят творить, мыслить, жить человеческой жизнью... Но вместо хлеба культура дает им камень. И вот культура кажется им «маленькой, черненькой, востренькой, как смертный грех».

---

[1]) «Письма Л. Н. Толстого». Т. II. (Собрание П. А. Сергеенко), стр. 265.

Ведь несет кто-то ответственность за самый характер культуры? Эта-то ответственность мозолить им глаза. И вот их ненависть. Люто, непреоборимо ненавидят они тех, кто несет на себе эту ответственность за культуру...

Но ответственна «интеллигенция». Значит, это она ожесточила Сивачевых, бросила умирать их при дороге...

II.

Это не произведения в обычном смысле слова: в них также много правды, как мало «выдумки». Это бесхитростный рассказ...

«Прокрустово ложе»—рассказ о том, как истекало кровью сердце рабочего, потерявшего трудоспособность, инстинктивно тянувшегося вверх, в мир литературы. Автобиографический характер «Записок Анны» устанавливает их издатель. «Пламень» написан в виде романа, но сам автор комментировал свое произведение так: «Все, что здесь от русского сердца, я пережил лично». Таким образом, перед нами—документы в их чистом и характерном виде. Но в этом-то и сила их.

Ницше сказал где-то, что произведение тем ценнее, чем более написано кровью. Но писать кровью значит писать о том, что на всю жизнь оставило кровавый след в душе. Ведь ни один психолог не может заглянуть в чужую душу так, как это в состоянии сделать она сама. В душе каждого есть нечто, что превышает чужое понимание. Мы сами проникаем в него ощупью. «Человеческий документ» и срывает эту завесу. Рассказывая о себе самое важное и дорогое, автор доходит до сердца, и едва ли кому придет в голову разбирать такое произведение по правилам мастерства. Хорошо, разумеется, ежели рассказчик одарен талантом; но талант в литературе документов не главное. Можно не быть талантом, но обладать содержанием значительным, трагичным. Ежели таковое на лицо, мы простим ему все недочеты; ведь смысл документа в его подлинности.

Вопрос лишь в том, правдив ли он. Нет ничего вреднее лжи в таких записках, лжи перед собой, когда человек щадит себя, но не щадит других.

Делать признание нелегко. Ведь лишь после ряда переживаний человек начинает разбираться не только в окружающих, но и в самом себе. Говорить правду себе о себе, о своем жизненном опыте—свойство реже встречающееся, чем мы думаем. Но в том-то и сила наших авторов, что искренность их не подле-

жит сомнению. То, что рассказано ими, правда, правда их страшной, жестокой жизни, в тисках которой они пробивались к свету.

И «Прокрустово ложе», и «Пламень», и «Записки Анны»— крик сердца, типичный для тех дней. Таких уже тогда были тысячи. До искусства ли им? Тут сам голод, физический и духовный, сама исстрадавшаяся душа стонет, изнемогает, проклинает своими горькими устами. Вот, чем оправданы эти книги: не верностью художественного обобщения, но правдой вложенного в них человеческого страдания.

В этой истории исканий житейских и литературных,—об'ективно говоря,—мало «истории», но много преувеличений. Но так отразилась культура в душе полураздавленного самоучки,—вот, что заставляет с собой считаться.

III.

Нельзя не вспомнить отличительной черты момента.

Это был момент «Вех», о котором «Народная Семья»—орган московских писателей из народа—писала: «Теперь, когда мы, дети народа, начинаем создавать исторические явления, прикладывать ко всему свой критерий, роль интеллигенции выясняется с довольно-таки нелестной стороны. «Федька великодушный, прости меня» — взывали когда-то Темкины, но Федька не понимал этого. Теперь Федька понял, взвесил и потянулся к интеллигенции. Но интеллигенция отвечает: мы, мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры».

Уход интеллигенции с боевых позиций—вот черта момента. Когда-то каялся дворянин,—создался даже термин: «кающиеся дворяне». Теперь каялся интеллигент, и литература отражала его, с общественным подвигом не впереди, а позади, желающего пожить не во имя народа, а для личной жизни, «честности особой». Этот сдвиг отразили В. Ропшин в своем «Коне бледном», Р. Григорьев в романе «На ущербе» и многие другие. Но в то время, когда в интеллигенции многое отходило в прошлое безвозвратно с тем, чтобы не воскреснуть вновь,—в это время нарождался тот мыслящий пролетарий, к которому так долго и так тщетно взывал интеллигент. Отсюда рознь интеллигенции и низов.

Теперь били в глаза исторические условия, сделавшие интеллигенцию *эмоционально* другой, чем людей физического труда.

И вы видите эту рознь и в среде партийной, революционной общественности. Пока речь идет об идеях, о принципах, социальные грани почти не дают себя знать. Интеллигент остается близким. Но как только выступает эмоциональная, волевая жизнь, лежащая где-то ниже партийного сознания, тотчас вырастает стена, глухая стена непонимания. Это хорошо схвачено в романе Григорьева. Идет спор о политике, и слова никого не задевают. Но вот в спор вплетается мелочь, и *разночувствие* рабочего и интеллигента, рознь подсознательных влечений на лицо.

Психологическая рознь дала себя знать впервые в годы пятилетия, наступившего после 1905 года. Рабочие, крестьяне хотели не только политического, но и психологического равенства, не понимая, что интеллигенция не может быть иной, чем она есть. И росло интеллигентоедство. «Много вы притворяетесь, когда к нам приходите»,—говорили теперь Федьки, а вместе с ними три книги, обнаженно, без соблюдения каких-либо приличий, направленные против интеллигентов.

IV.

Шум, поднятый около авторов, был шум отрицания. Лишь Белоруссов, В. Фриче и Е. Синегуб сумели отвлечься от тех чувств, которые их обвинения вызывали в интеллигенции, войти в чувства и мысли тех, по которым прокатилось суровое колесо жизни. Остальные, сознавая зловещий смысл этих обличений, ответили отчуждением.

— Для меня удивительно,—писал К. Чуковский,—как господа Сивачевы еще ни разу из нас никого не прибили «за подлость». Ненавидят они нас до боли. «Эгоизм, цинизм, авантюра, афера и груда всевозможных гнусных и преступных замыслов преобладает в вашей среде», — пишет мне один мастеровой. — И Чуковский «торопится» прибавить, что... «он прав совершенно». Вообще, «Сивачевы во множестве, Сивачевы, как масса — превосходны, лучшие люди в России». Однако, «сам по себе Сивачев—скверная и злая душонка» [1]). Измайлов не хотел «бить» Сивачева: автор «Прокрустова ложа» — «лежачий, воистину несчастный человек, больной, истерзанный хроническим ревматизмом, чуть не лишенный владения руками». Однако, книгу Сивачева он назвал «книгой злой и темной неблагодарности». «Отвратительные злые слова срывались у него по адресу тех, кто имел неосторожность всего

---

[1]) «Речь», 1911 г., № 279.

более пригреть его. А нет ничего чернее неблагодарности» [1]). Зинаида Гиппиус писала о Сивачеве: «Мы, читатели, не только не обязаны, но определенно не хотели ни «потрясаться», ни «содрогаться» от плохих книг, хотя бы эти книги были о жизни»; скверная книга, претендующая одновременно и на действительность, и на художественное творчество, да еще кричащая о нашей ненормальности,—«такая книга по справедливости может только возмутить» [2]).

Не меньше досталось П. Карпову. «Все сильнее и сильнее охватывает желание, — писал А. Ожигов — бросить куда - нибудь дальше эту кощунственную книгу» [3]), «швырнуть в угол» (Д. Философов). «Она показывает, до какого бреда способен дойти выходец из народа, прививая к своей подлинной святой ненависти яд городской, полу-литературной культуры модернизма» [4]). Таланты из народа, — по словам Иванова-Разумника— всегда пробивали себе дорогу в литературе, «а эти полударовитые, полу-бездарные труженики терпят крушение за крушением и безмерно озлобляются на всех и вся. Сколько ушатов грязи вылил Михаил Сивачев на ненавистную ему «интеллигенцию», которая не умела его оценить? И г. Пимен Карпов тоже начал свою деятельность с книжки «Говор зорь», в которой следовал по тропинке, протоптанной «Вехами», и ставил крест над всей интеллигенцией. Через год-другой никто не будет помнить о «Пламени», как никто не помнит теперь о «Записках» г. Михаила Сивачева.» [5]).

О Надежде Санжарь З. Гиппиус писала: «Среди представителей народа», идущих ныне в «проклятый город», в «проклятую интеллигенцию» и, в частности, в литературу, есть и женщины. Такова Надежда Санжарь. Она очень напоминает Сивачева. Сивачевщина, ведь, не индивидуальна, а типична. В конце концов она не одну интеллигенцию проклинает. Не признак ли это дикости, ненормального состояния... отнюдь не интеллигенции, а всей России, не симптом ли это коренного какого-то культурного извращения?»

Очевидно, попали «документы» не в бровь, а в глаз. И был дан отпор... Однако обратимся к самим авторам. Кто они такие?

---

1) «Русское Слово», 1911 г.
2) «Русская мысль», 1911 г., № 6.
3) «Современное Слово», 1913 г., № 2084.
4) «Речь» 1913 г., 281.
5). «Заветы», 1913 г. № 11.

V.

М. Сивачев.

«Когда-то по просьбе Григория Петрова—писал мне Сивачев— я дал ему,—он намеревался писать книгу.—свои записки размером до семи листов. Теперь я уже не могу подробно писать о себе; я человек надломленый. Не скрою от вас, мне кажется, я уже вступил в период, когда человек чувствует, что это начало его конца. Прежде у меня хватало сил хоть и голодать, но писать, писать во что бы то ни стало; теперь я уже не имею силы писать на тощий желудок и стараюсь заработать кусок хлеба каким-нибудь местом вроде «ответственого» редактора при каком-нибудь журнале. Конечно, не для того я шел в литературу, чтобы иметь кусок хлеба. Если бы последний был для меня единственной задачей, тогда бы я в литературу не пошел. Я знал, что она кормит плохо. Но мне дан суровый урок, что люди необеспеченные не должны иметь высоких стремлений, ибо высокие стремления ценятся на словах. И когда я думаю о литературном пути, мне этот путь представляется во сто крат худшим, чем каторга. Там человеку, совершившему даже преступление, дают и кормят хлебом, здесь же в литературе человеку, единственная вина которого в том, что он потянулся к более одухотворенной жизни, чем жизнь масс, ни крова, ни хлеба. Вот одна из жестоких гримас лицемерной культуры, а тем паче искусства. В этом грехе повинны литераторы. Это они давят в нас все светлое, давая возможность торжествовать тому, что таким махровым цветком распустилось в литературе. Я голодал на пути литературы все десять лет, я травился, не имел крова, ночевал под открытым небом. За всё это литераторы дали мне агонию, в которой я теперь пребываю. Именно агонию... Что же мне отвечать вам, что я раздавлен, что последние мои годы—годы бессилия и угасания, что даже всякая мысль о литературе для меня источник тяжелых, горьких и, главное, недейственных раздумий? Поэтому не посетуйте за краткость...

«Девяти лет я лишился отца, одиннадцати—матери; остался с малолетними сестрами. А так как бедность была крайняя, то с детских лет старался что-либо заработать. Работал на бойнях, помогая мясникам, за что мне давали мяса; работал на постройке мостов, получая 20 коп. в день, по котельному делу (лез в котел, чтобы поддерживать заклепки—работа, изображенная Гаршиным в

«Глухаре»). При отце я учился в начальной школе; при матери был уже во втором классе училища, но со смертью ее дальнейшее учение оборвал. Некому было попросить за меня, и 14-ти лет я попросился в ученье на завод сам. Срок ученья—5 лет, первые годы—бесплатно, на всем своем, на 3-й год—10 коп. в день, на 4-й—20 коп., на 5-й—30 коп. Проучившись год, я ушел в другой завод уже не как ученик, а как мастер. Зарабатывал там не меньше, чем ученики, пробывшие на выучке все 5 лет. Работал я токарем по металлу. Казалось,—первые месяцы я зарабатывал до 50 рублей,—что мой искус жизненый кончен. Но... познакомился с Марксом и прочими экономистами и стал сознательным рабочим, на языке заводской администрации «красным» и, конечно, из завода вылетел. Начал колесить по всей России, где только есть промышленные центры. Менял я места часто. Где сам бросал, где меня выкидывали за неблагонадежность; так молодость, горячность, желание послужить пролетариату носили меня из города в город. К 20 годам меня уже знал департамент полиции, и я жил под надзором, иногда без права заниматься своим трудом. В такие периоды помогали мне рабочие, а вне этих периодов я безработным никогда не был. Подчеркиваю: я никогда не голодал и не был без крова, в бытность рабочим, а в бытность литератором хватил того и другого через край. Но с 20 лет я начал страдать ревматизмом, и эта болезнь в 24 года выбросила меня из сферы труда вон навсегда. Нелепа была моя юность. Не легко было работать с ревматизмом. Но вот что отмечу. Припоминая все это, я теперь вижу, что нелегкая жизнь переносилась, в общем, легко, ибо была вера, что это не важно; что погибаю я, единица, но существует где-то на верхах,—в науке, литературе,—правда и справедливость, существует начало, стоящее нелицемерно на страже прав человека.

«Естественно, что, когда сфера труда выкинула меня вон, я потянулся к этому началу. На какие шипы я наткнулся с первых же шагов, вы знаете из моих двух книг «Прокрустово ложе». Есть у меня и третий том «Цветы земли и неба». После «Прокрустова ложа» я прочитал о себе не мало. Меня поносили в газетах, в журналах и в Москве, и в Петрограде, и в Киеве. Корней Чуковский в «Речи» назвал меня «злой отвратительной душенкой»; в том же духе аттестовали меня Измайлов, Зинаида Гиппиус и другие. Меня это не задевало, в это время я был далек от мысли, что меня сломят, сотрут, задавят... Без злобы и сейчас вспоминаю черные рецензии, и жаль мне этих критиков: так мало у них чуткости к делу, которому они служат. Но в то время погибли жена и ребенок, которых я очень любил. Утрата

их меня раздавила, главным образом. Останься в живых жена, я над всеми своими мытарствами только хорошо бы посмеялся. Но жены нет, без нее у меня нет и поддержки. На дворе светит солнце, и мне больно вспомнить все прошлое, хотя—правду говоря—только это и делаю. Знаете, как старики: выйдут на солнышко и думают о чем-то тихо, как будто мирно—не видать, что у них в мыслях и на душе. Вот я становлюсь вроде этих стариков. Как увижу солнце, так и иду под него додумывать много раз уже передуманное... Однако, я отклонился в сторону.

«Чистосердечно говорю вам: злобы в моей книге нет, есть невозможность хорошенько осмыслить то, что я писал. Книги вышли резки не потому, что я не додумал своих выпадов. Нет, если бы у меня была возможность писать эти книги в лучших условиях, они были бы более убедительными в своей резкости. Но всем, поносившим меня, не приходило в голову узнать, что когда автору книг представился случай издать их, то — предварительно до этого задерганный, загнанный, страшно изголодавшийся—он ухватился за этот случай, как утопающий за соломинку и написал обе книги в два месяца. Работая над ними, я доходил до изнеможения, падал в обморок от усталости, а когда обморок проходил, вновь садился за писание, да к тому же еще за корректуру этих книг. Писал при голодовках, видя недочеты своей работы. А вот как писались «Цветы неба и земли». Я голодаю; издатель говорит: «Дайте рассказов мне на книгу, а я вам аванс дам в сто рублей». И я сажусь и пишу два больших рассказа и мучаюсь, что я гублю хороший материал.

«Литераторы указывали, что вот-де, мол, Сивачева издает солидная фирма (Крандиевский из «Бюллетеней Литературы и Жизни»). Сами же мне, как автору «Прокрустова Ложа», мстили и мстят таким образом. В «Заветах» у меня еще раньше взяли рассказ. Потом же, ничем не мотивируя, рассказ вернули... Через месяц в этих же «Заветах» Иванов-Разумник отзывался обо мне в высшей степени отрицательно. Этот пассаж придавил меня, как камень; когда стали сказываться результаты, все плачевные, я понял, что куда не сунусь, будет отказ,—та же история с «Заветами» или еще хуже. Тот же рассказ послал я в «Современный Мир». Рассказ не приняли. Рассказ у Миролюбова принят был давно. Я написал ему, что, если не желает печатать, пусть вернет назад...

«Многое мог бы я вам сообщить еще из того, что постепенно подтачивало и убивало мои силы, довело до того состояния, что одна мысль взять перо в руки мне мучительна. Но я обры-

ваю свое повествование. За что, за что я подвергся такому заушению? За то, что осмелился сказать громко, что литераторы наши разлагаются. Мне остается труд, до идиотизма механический, с ничтожной оплатой; как лицу, не имеющему образовательного ценза, мне не дадут иного места. И я работал вот уже два месяца конторщиком при одном из земских учреждений. Однако, учреждение расчитало меня якобы за ненадобностью, а на самом деле на мое место посажен какой-то писарь. Этому учреждению не нужны люди, одаренные мыслью, — им нужны лишь почерки писарей. Я не могу, разумеется, быть в претензии. Остальное же, вся моральняя сторона положения остается на совести нашей культуры».

Так писал о себе М. Сивачев в 1916 году. Но с начала войны его имя стало мелькать в журналах. Его уже печатали не только «Нива», «Солнце России», «Биржевые Ведомости», но и «Национальные проблемы», «Русские Ведомости». В 1917 году в «Вестнике Европы» появились его очерки «Из деревенских впечатлений», в 1924 г.—«Желтый дьявол».

VI.

Пимен Карпов.

Жизнеописание Пимена Карпова я расширяю «Исповедью самоучки», напечатанною им в «Журнале Журналов». Как и в своем романе, Карпов и в этих записках обрывист, загадочен, сбиваясь с бытовой канвы на бред, не поддающийся переводу на язык житейский.

«Есть что-то зазорное в писании жизнеописаний, особенно самоучек, у которых почти ничего нет в жизни, кроме нищеты и унижений,—писал Карпов.—Я поэтому в могилу унесу с собой пытки моего бытия. Буду говорить о редком и мимолетном, о радостном и светлом, что было в моей жизни. Первое, что запечатлел я в раннем детстве, что поразило меня и привело в священный ужас, это — солнце. В семь лет, наслышавшись рассказов о святых, я возжаждал быть святым, да не простым святым, а чудотворцем, по одному слову которого исцелились бы все до одного в мире больные и страждущие, и исчезли бы с лица земли все беды, несчастья и неправды. Я не требовал бы ни молитв, ни поклонений, — я просто исцелял бы всех, кто нуждается в исцелении. Но сделаться святым мне помешало то, что я до безумия влюбился в соседнюю девчонку. А влюбившись я

слагал песни, которые распевались на деревне... Мне тогда было уже девять лет. Возлюбленная моя изменила мне, и я проклял ее. Пошел плутать по деревням.

После уже, когда я сам влюблялся столько раз, сколько встречал молодых женщин и девушек, я простил первую мою любовь, что изменила мне; ибо и изменила-то она мне, чтобы узнать, взаправду ли я люблю ее. Ей было тогда тринадцать лет. Уже совсем взрослым я пошел пешком в Москву. Жить в степи с солнцем и цветами, пасти стада, копать коренья, собирать щавель — какая это радость! Но дернула меня нелегкая бросить поля родные и уйти, очертя голову, в город из-за какой-то там любви — из-за девушки с светлыли глазами. И да будет трижды проклято это «сердце России», заплывшее жиром, как у откормленной свиньи! Москва встретила меня враждебно, и я, отряхнув ее прах с ног своих, ушел в Петербург, — благо у меня был с собой целый коробок песен и сказок. Их я мог рассказывать и петь по городским стогнам, а то и печатать в газетах. Не беда, что записать сам не умею; другие запишут, да и я подучусь. С голоду—во всяком разе—не подохну. В Питере, в надежде встретить светлоглазку, иду на набережную Невы. Умиляюсь шири и мощи реки: Спрашиваю робко какого-то прохожего:

— Не видали вы тут близ Невы девушку с светлыми глазами?

— Какая же это Нева, это Обводный, — презрительно щурит он глаза. — Необразованность!

Ладно,—утешаю я себя,—и иду в храм искусства, в музей. Оказывается, он тут же. Картины видать через окна с улицы. Но, боже, зачем здесь крики и звон бутылок, и табачный дым? Неужели же и здесь нет девушки с светлыми глазами? Музей? переспрашивает меня кто-то из-за столика.—Трактир это, брат, а не музей. Пойми это, деревенщина! Ну, а девушку тебе надо,— так на тротуаре. Которая с папироской.

Голод заставил меня петь на городских стогнах любимые мои песни, но вот горе: за первую же мою песню отвели меня в участок и чуть было не выслали.

Но я уже знал, что на улице делиться песнями да сказками невыгодно: никто ничего не дает. А пойти в редакцию—грамоты не знаю, своих же песен списывать не умею; два только года назад впервые увидел в степи у какого-то мальченки букварь, кое-что раскумекал сам собой, но и только. И вот, что творит со мной любовь к девушке с светлыми глазами. Я день деньской хожу, задрав голову, по городу, выучиваю по вывескам грамоту. Да, по вывескам. И как успешно! Через месяц я уже читаю, как заправ-

ский пономарь, а через другой—и пишу без ошибок. Конечно, пока печатными буквами пишу. Но это оттого, что некогда. За поденную плату я подметаю те самые стогнища, что так недружелюбно приняли меня с моими песнями.

Не то, что в степи, где я до двенадцати лет болтался, не зная ни аза... А светлоглазка! Она открыла мне тайну письма, тайну слова, и я—видит бог, что я не рисуюсь—без всяких грамматик, без посторонней помощи постиг настолько науку слова, что уже печатал фельетоны и стихи в «Русской Жизни», газете Дучинского, которую редактировал В. В. Брусянин. И это через месяцы ученья по вывескам, а впоследствии по листкам газеты. А пел я в стихах и рассказах все о ней, о девушке с светлыми глазами.

О, незабвенный девятьсот седьмой год, когда законодательствовала, а не подхалимствовала Дума! Или Думы? Не помню сколько их в том году было. Прихлопнули, понятно, «Русскую Жизнь».

И, благословясь, направляю стопы своя в «Речь», к редактору Иосифу Владимировичу Гессену. Говорю ему:

«Я самоучка, крестьянин... Земли нет... и хаты нет... мать побирается, отец болен... Я работал в «Русской Жизни», а теперь ее закрыли. Вы, товарищ Гессен,—такое тогда было модное слово «товарищ», и так я еще был глуп—вы, товарищ Гессен, понимаете, что самородки на свете редки. В России только они водятся, а за границей их уже нет. Так вот поддержите меня, товарищ Гессен. Дайте работы. Три дня не ел. Не спал—негде. Правда? Вы поможете?»

Но вместо ответа товарищ Гессен нажимает кнопку. Кричит вошедшему служителю:

— Без доклада ко мне никого не впускать, болван!

Помню, меня тогда больше всего поразил не отказ, не страх голодной смерти. А то, что Иосиф Владимирович назвал сторожа болваном вместо того, чтобы назвать его товарищем.

Куда ни заводила меня девушка с светлыми глазами! Как-то пошел я искать ее в религиозно-философском обществе. И вот Д. С. Мережковский—прежде, чем принять в лоно неохристианской церкви—подвергает меня допросу. Допрос ведется с пристрастием.

— Кто вы? Како веруете?

— Крестьянин. Взыскую Грядущего Града.

— Где учились?

— Нигде. Самородок. По букварю в степи начал, по вывескам в городе кончил, святым духом.

Мережковский ехидно улыбается.

В Петербурге я печатал стихи, статьи и рассказы в периодических изданиях. Книги мои «Говор Зорь» (1909 г.), «Знойная лилия» (1910 г.), «Пламень» (1914 г.) изданы также здесь. Характерно, что ни об одной из них московская пресса не обмолвилась ни одним словом в то время, как в петербургских газетах и журналах были статьи и заметки обо мне. Мне сейчас 27-ой год. Хотя доктора определили мне жизни не больше пяти лет, но—думаю я—их достаточно, чтобы отомстить моим врагам—не злом, а добром: это-то и есть месть настоящая».

Так писал о себе Карпов в 1915 г. Позже, кроме сборников стихов, вышли его рассказы «Трубный голос».

VII.

Н. Санжарь.

Надежда Санжарь рассказала о себе в двух «Книгах о человеке»—это книги о самой себе.

Санжарь—дочь крестьянина г. Харькова и донской казачки. «Я знала одну малограмотную девушку-прислугу, которая с огромным пылом и жаром—пишет она о самой себе—высказывала идеи и мысли, легшие в основу философии таких различных людей, как Толстой и Ницше, намекала на то, о чем теперь проповедует Анри Бергсон. А когда говорили: это у вас Толстовское, а это сказал Ницше,—то моя простушка с негодованием до слез кричала: убирайтесь к чорту, никакого Толстого и Ницше я не знаю! И она тогда их действительно не знала. Эта маленькая девушка, с самым простым непривилегированным паспортом и большими кипучими мыслями в голове, была—я сама».

Эта «девушка с мыслями Толстого и Ницше» начала свою карьеру с горничной. Затем перешла в булочную, испробовав все мытарства подневольной жизни. В Петербурге появилась без всяких средств, но с надеждой на приискание занятий. Это уже было в 1901 году. Последнее же ей долго не давалось. Наконец, после скитаний по модным мастерским, загнанная в общежитие женского взаимоблаготворительного общества, она занялась отделкой кукол. Здесь же впервые познакомилась она с грамматикой, после чего начала подниматься «с уличных низов до верхних ступеней интеллигенции»,—как говорит издатель «Записок Анны».

*

Автобиографичны и «Записки», как видно из предисловия. Воспользуемся же и ими для иллюстрации отдельных моментов.

Вот что рассказывает о себе Анна, т. е. Санжарь. У нее не было детства. Отец за нехорошие дела сидел в тюрьме, а мать... затравленная и пьяная, конечно, была и проститутка. Было Санжарь 13 лет, когда она устроилась продавщицей в булочной. Три года прослужила и «отлично научилась продавать булки». Но не в одном этом была там сила. «Хозяин, нанимая девушек красивых, платил гроши, но при магазине имелся зал, где можно было выпить молока, шоколаду и поухаживать за продавщицей. И надо сказать правду: развращали, калечили девушек господа посетители немилосердно».

Но вот и для Санжарь пришла очередь. Дома нищета, ужас, заливаемый водкой, а тут со всех сторон сулят «теплоту отношений», и все это одним путем—путем разврата. Вот она в Петербурге. Чуть не с бою раздобыла заработок, но не надолго; зарабатывала отделкой кукол, но заработок был случайный. После продолжительного голодания вдруг прочла в газете: «требуется хорошо сложенная женщина для позирования». «Чуть не расцеловала газету,—мне казалось, что от об'явления идет аромат обеда. Боже-мой, ведь я так давно не обедала по настоящему! Понеслась по об'явлению, а в голове одна мысль о щах со сметаной и гречневой кашей, горячей-прегорячей с маслом. Подумать только, что может сделать из человека голод! Но и тут не вышло».

Второй обморок; устала, обмалокровилась... Пережила отвратительный кошмар, побывала в больнице и в один промозглый петербургский день сказала себе:

— Ну, Анна, на этот раз глухую стену тебе не прошибить— не ломись напрасно. Из твоего положения есть только два выхода: проституция или «тот свет».

Однако, сама же себе отвечала: «Только позволь, и «они», под видом покровителей, друзей, любовников, замучают тебя, изнасилуют твою душу, истреплют тело, убьют в тебе все, что может напоминать человека... Разве у тебя нет способных, не боявшихся труда рук?» Через доктора, лечившего в больнице, получила вдруг место чтицы к больной старушке. Это оказалось тем, что ей надо было в те дни.

Вот она—под влиянием тягостного чувства—написала как-то сказку и отправила в редакцию большого журнала. Отправила «скорей со злости», смотря на это, как на одну из своих непонятных, диких выходок. И вдруг ответ: «С особым удовольствием поместим вашу сказку-утопию в ближайшем номере журнала».

Написала другую, послала в другой журнал. Слишком уже фантастично, неожиданно все это... А в ожидании ответа писала сказку за сказкой—пришлась по душе эта форма.

«Факт несомненный,—читаем далее—у меня оказался своеобразный литературный талант. Это признали, за него мне хорошо платят. Начинаю приходить в себя, осваиваюсь с переменой моей жизни».

Раз так, надо ехать в Ясную Поляну. Санжарь чувствовала, что идет к Толстому «с какой-то огромной жизненной правдой», «какая-то подлинная Америка крепко зажата» была в ее руках. Она принесла Л. Н. Толстому «тетрадку с довольно оригинальным содержанием», при ней письмо. Лев Николаевич был занят.

Он явно был недоволен.

— Вы мне принесли вот это? Не могу же я читать все, что мне приносят, присылают. Потом я могу не похвалить вашу литературу — вы будете питать ко мне недоброе.

Я говорю ему:

— Это не литература. Если вы мне не верите, дайте прочесть кому-либо из ваших. От них узнаете.

«Он взял пакет, говоря:

— Мой вам совет — не пишите, не надо, в писаниях — две трети лжи.

Его явная неприязненность начинает портить мне самочувствие. Я говорю:

— А как же вы дали письмо к «Гардениным», горячо советуете читать этот роман. Роман, значит, две трети...

Лев Николаевич покраснел и негодующе ответил:

— Но это Эртель!

Я с удовольствием смотрю на него.

— А что если я тоже Эртель в своем роде?

Я вижу, он меня совсем не слушает, опять упрямо сует мне тетрадку.

— Ах, какое у вас самомнение, какое самомнение!

Лев Николаевич не слушает меня и говорит много, возмущенно. И чего он кричит? За что он меня так не взлюбил, не взлюбил, совершенно не зная меня и даже не желая знать?

Я молчу, не зная, как это прекратить и уйти. Он тоже замолчал и вдруг посмотрел на меня и смиренно весь опустился. Злой судья, гордый граф исчез, и Лев Николаевич смущенно забормотал:

— Что же это у нас такое? Мы ссоримся. Вы ко мне пришли, мы должны жить в мире. Вы моя сестра.

Так это было неожиданно, так показалось мне неумно и лицемерно. Я не могла больше так разговаривать, повернулась и быстро пошла от него. Такого глупого, нелепого разговора, какой произошел с Л. Н. Толстым, у меня сроду не было. И в то же время я никогда в его сочинениях не видела, не понимала так его подлинной сути, как поняла во время этого разговора».

Кроме «Записок Анны», выдержавших два издания, Санжарь выпустила две «Книги о человеке, «Заколдованную» и «По своему.

VIII.

Итак, Сивачев — пролетарий, Пимен Карпов — крестьянин, Санжарь — дочь лумпенпролетариата. Но что-то сближает их одним настроением. Чтобы писать, надо учиться. Чтобы учиться, нужен заработок, дающий досуг. Досуга нет, нет возможности учиться — вот порочный круг. Что же представляют они собой, как литераторы?

Критики признали их бездарными. О Сивачеве («Прокрустово Ложе») Измайлов писал: «Великому множеству непризнанных богом людей, алчущих славы, он поучительно расскажет, какое великое несчастие стремиться к писательству без явного дара!» Он цитировал слова адвоката, который говорил Сивачеву: «Безграмотность у вас страшная. Читая ваши рассказы, я хохотал. Понимаете, до коликов хохотал над тем, как у вас расставлены знаки препинания».

«По «Запискам» видно, что г. Сивачев не обладает ни литературным дарованием, ни просто литературными способностями», писал и Антон Крайний. Иванов-Разумник о Сивачеве и Пимене Карпове писал: «Это — выходцы из народных низов, одеденные жаждой литературной работы, но обделенные талантом». В «Пламени», — по словам критика — Карпов подражал давно уже преодоленным приемам ремизовского «Пруда». «Но как подражал! Безвкусно, невыносимо». Не выше оценивалась Санжарь.

Оценки эти пристрастны. Правда, сами авторы держатся преувеличенных представлений о себе. Так, Сивачев писал о себе: «Я издохну под забором, но и издыхая там, я буду убежден, что русская литература настолько богата... бриллиантами Тет, что не нашла нужным поднять такое золото в кварце, как я». Санжарь молит небо, чтобы у нее «не закружилась голова от успеха». «Помоги, мне, небо, с талантом, славой, деньгами до конца моих

дней быть человеком». Того же мнения о себе Карпов. Но к самомнению самоучек не надо относиться строго. Шаг за шагом делают они без школы, без помощи со стороны, и им все кажется, что открывают Америки...

Недостатки Сивачева—беспорядочный, подчас безграмотный язык, примитивность стиля. «Сложной простоты» художественного мастерства у него нет. Но жизненность, наблюдательность, пафос— все это сообщает «Запискам» литературный колорит. «Цветы земли и неба» уже не «Записки», а рассказы, но Сивачев и здесь мало об'ективен. Он лишь хорошо прочувствовал свои настроения. А «Очерки деревни», напечатанные в «Вестнике Европы», говорят уже о немалом опыте. Мельче, конечно, Санжарь. Но «Записки Анны», напечатанные первоначально в журнале «Образование», написаны не хуже иных вещиц двойника Антона Крайнего [1]).

Что же касается Карпова, то сквозь бред фанатика-сектанта,— местами возмущающий, местами потрясающий, — нельзя не видеть ту «необычность», которая свойственна писателям недюжинным. На нее указал тогда же Д. В. Философов [2]). Ясинский же,— уверенный, что зашумят лавры над головой Карпова, — писал: «По моему нет поэзии и высшей правды, если нет бреда. Разве не гениальный бред — «Мертвые души», «Дон Кихот»? [3]).

Так или иначе, ни Сивачев, ни Пимен Карпов не оказались беллетристами на час, а вошли в семью писателей.

IX.

В чем же смысл, тот смысл их произведенний, который приковал к себе внимание? Ведь если бы в них не был какой-то узел социальных отношений, кто бы с ними стал считаться? В прессе это нащупывалось вяло.

К. Чуковский писал: «С какой вдохновенной яростью рады Сивачевы обличить, заклеймить без милости и без жалости всех, кого зовут интеллигентами, всех, кто (как чудится им) безбожно и резво на Невском проспекте срывает цветочки культуры! «Мы» и «они» — как бы два враждующих стана. И есть уже знаменья, что близка между нами битва. Здесь главная и основная моя тема. И больше всего меня радует ныне эта грядущая

---

[1]) Зинаиды Гиппиус.
[2]) «Речь», 1913 г. № 281.
[3]) «Биржевые Ведомости», № 13806, 1913 г.

битва—бой между «нами» и «ими». И как это будет отлично, когда они нас победят». К. Чуковский вообразил себя народником, в чем-то покаявшимся. «Все, что отличало когда-то прежнюю русскую интеллигенцию: весь этот героический пыл, это идейное кипение, эта влюбленность в народ, эта жажда жертвы и подвига,—писал он,—все отлетело от нас, отошло и стало достоянием их, «полунищих, полуневежд», Кобелевых и Малафеевых, только сегодня явившихся на общественную сцену, но уже полностью принявших то наследие наших отцов, которое было завещано нам, и от которого мы отреклись. Так что уже и сейчас настоящие интеллигенты—они, только они одни! Основные, коренные черты былой интеллигенции русской именно у них, у Малафеевых»! Все это было так и в то же время... не так. Чуковский, однако, был ближе к истине, чем Иванов-Разумник или Антон Крайний.

Иванов-Разумник в «Жертвах вечерних»,—так назвал он свою статью о самоучках,—предрекал: «Через год-другой никто не будет помнить о «Пламени», как никто не помнит теперь о «Записках» Михаила Сивачева. Если бы они были подлинными «хлеборобами» по духу своему, это бы не случилось». Но так как они не «подлинные», то... о чем беспокоиться? Антон Крайний, «не содрогаясь», отмечал лишь, что прежде Ломоносовы, удачные и неудачные, были томимы жаждой просвещения, шли учиться. Пимены же Карповы, Сивачевы, Санжари идут не учиться, а учить.

Один Блок—сопоставляя «Пламя» с «Записками», Санжарь и Сивачева—пророчески писал: «от них, как от книг, не сохранилось ничего, сохранилось лишь нечто, чего выразить и оформить невозможно, как память о физической боли. Нам придется, рады мы или не рады, запомнить кое-что о России. Пусть приложится это к «познанию России», лишний раз вздрогнем мы, вспоминая, что наш бунт так же, как был, может быть опять, «бессмысленным и беспощадным» (Пушкин); что не всего можно предугадать и предусмотреть; что кровь и огонь могут притти и заговорить, когда их никто не ждет; что есть Россия, которая вырвавшись из одной революции, уже жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной» [1]. Это почти то, что говорит Чуковский,—в пустяке разница,—но как поверхностно оно у Чуковского, и как значительно у Блока!

[1]) «День», 1913 г. № 292—Приложение. (Курсив мой).

X.

Смысл произведений в том, что они отразили яд полукультуры, который прививал себе выходец из народа. «Казалось, что и раньше интеллигента от мужика отделяла глубокая пропасть,—писал товарищ Сивачева по «Народной Семье», конторщик Афанасьев,—но до 1905 г. эта пропасть особенно ярко не выделялась; ибо об этой пропасти говорили, писали интеллигенты и только интеллигенты! Но после 1905 г. наверх выплыли пионеры народа и заговорили от имени народа и за народ» [1]).

«Кобелевы и Малафеевы» (как выражается Чуковский) не на одно лицо. В те дни уже зарождалась рабочая печать и вместе с ней группа писателей-пролетариев в промышленном смысле слова, и любопытное явление наблюдали мы. Эти пролетарии не выражали претензий ни к «Ниве», ни к «Вестнику Европы», ни к Чирикову и Григорию Петрову. Эта пресса им была «чужая»: они строили свою литературу. Однако, ни Сивачева, ни Карпова, ни Санжарь в числе деятелей рабочей печати не было. Очевидно, выражали они иную стихию.

В то время, как те исходили из интересов производства и идеи классовой борьбы, Сивачевы и Карповы направили свою злобу против группы, которая с момента своего появления сама себя отрицала. Разумеется, и это была злоба против имущих. Но постичь всю сложность тех отношений, которые выражает город и культура, они были бессильны, и тот факт, что они голодают, а интеллигенты «пристроились на тепленькие местечки, едят сладко, живут гладко, в картишки играют», достаточен был в их глазах для того, чтобы свалить вину на последних.

Три момента типичны для этого взгляда: гордость своим происхождением, вера в право занимать то положение, которое занимает интеллигент, и ненависть к нему. «Перефразируя Ивана Карамазова,—писал Афанасьев—М. Сивачев мог бы сказать: не идеалов ваших интеллигентских я не принимаю, но мира-то вашего, жизни живой, реальной я не могу принять. От интеллигента М. Сивачевы потребовали не слов, возвышенных фраз, а поступков, действий, потребовали того, чего у интеллигенции нет. Ей говорят Сивачевы: мало понимать умом, надо чувствовать сердцем ту великую неправду, нужду, которую принесли с собой мы». Да, интеллигент не может «чувствовать» этого, и «велико-

[1]) «Народная Семья», 1912 г. № 3.

душный Федька» сливает его со всем, что его давит и ожесточает в жизни, что дает ему камень вместо хлеба.

«Битва» была близка,—в этом Чуковский не ошибался.

XI.

Вера—и сама больная—ехала в вагоне второго класса с больным ребенком на руках. Вместе с ней были «господин в идеально сшитом сюртуке», инженер, «барынька из тех, что вечно лечатся», и другие. Когда ребенка начало слабить, и «в атмосферу вагона, насыщенного духами, вошел кисловатый запах совершенно жидких испражнений», барыня, лежавшая «на бархатных подушках», «завопила». Присоединились инженер, «идеально-сшитый сюртук», прочая «рафинированная чэрнь», выхоленная на соках народных, и матери пришлось уйти с своим ребенком в третий класс, где «простым бабам и мужикам горе матери понятнее». Вера посматривала на эти лица, на которые «труд наложил свой облагораживающий отпечаток, отпечаток той мудрости, которая знает, как велика и мучительна борьба за существование трудящегося человека», и писала своему мужу: «Жив бог в душе простых людей. До сих пор я не знала, до какой степени интеллигентные люди способны быть зверями! Я хотела двум негодяям дать по пощечине и не могла. Один звук—«культурные люди»—вызывает у меня представление существа, в гадливости с которым ничто не может сравниться» [1]).

Не знаю, так ли, в действительности, чувствовала героиня Сивачева. Но автор весь в этом настроении. Жив бог в душе бабы, потому что она баба; жив бог в душе мужика, потому что он мужик. Инженера же, писателя, барыню, лежащую на «бархатных подушках, он заносит за скобки «культурных людей», оставляя за собой право ненависти к «интеллигенции» на всю жизнь. И любопытен генезис этого чувства: «Я приглашаю заглянуть, что за пропасть отделяет человека из народа от интеллигенции,—писал Сивачев в «Прокрустовом Ложе», — шесть лет я убил на попытки перекинуть через эту пропасть мостик—и не смог. Шесть лет я смотрел на людей, олицетворяющих собой лучший цвет современной культуры, смотрел, расплачиваясь за такую «честь» муками свыше человеческих сил, смотрел и, в конечном счете, пришел к заключению, что весь этот «лучший цвет»—за страшно

[1]) «Цветы земли и неба». 1912 г. Стр. 54—59.

редкими исключениями—банкроты духа». Как же укреплялась «правда» Сивачева?

«К 24-м годам капитал высосал из меня все, что можно высосать,—начинает свою исповедь Сивачев,—и выбросил из сферы труда вон, как негодную, вполне исполнившую свое назначение ветошь», т. е. выбил из рядов пролетариата. Болезнь,—тяжелый, уродующий артрит,—закидывает его в избу, к братьям-мещанам, и с тех пор «необ'ятность мира для него ограничена только взглядом из «того окна». Сивачев слыл у братьев социалистом, и они не щадили его, полураздавленного. Один, более мягкий, убеждал: «Что ты здесь лежишь? Шел бы в богадельню». Другой, ссорясь с братом, говорил: «Горд, сволочь? Брату не хочешь поклониться? Нет, врешь, калека, когда-нибудь и поклонишься».

И вот сын фабрики, выброшенный из производства, всем существом отражает отколотость от целого. «Раздавленный неудачей, своим недугом, я глазами одинокого, затравленного существа смотрел на жизнь города, и лик этого огромного чудовища вселял в меня то страх, то злобу». Он возлагает упование не на самый порядок отношений, а на отдельных людей, сильных и властных, могущих послужить ему опорой. Так складывается самое положение. Не замечая, что личность зависит от других лиц, а вместе с тем от всей сложности отношений, что личность часто бессильна поступить так, как диктует ей собственная воля, он начинает больше ненавидеть, чем любить, наконец, сосредоточивается на злобе против всех, кто равнодушен к его «я», которое стонет и проклинает.

Сосредоточение на своем «я» кладет отпечаток на «Записки» от начала до конца. Если Сивачев говорит о голоде, то знайте: речь не о голоде вообще, а об авторе, которому есть нечего. К остальному он глух. Отсюда и драма пролетария, выбитого из колеи труда. Не видя жизни, а, следовательно, и людей во всем об'еме, он требует от них того, чего они дать ему в данных условиях не могут.

Под влиянием девушки, которая потом стала его женой, его потянуло в литературу; познакомившись же с жизнью Максима Горькаго, он решил: здесь его ум и здесь его сердце. И он стал писать. Коченели от холода руки,—отогревал их на лампе. Обезображенная рука не повиновалась перу, он свирепо насиловал ее. Далее, уезжает в поисках Горького и становится лицом к лицу с писателями, с адвокатами и т. д. Он ищет покровителя, который должен решить, есть ли у него дарование или нет; приписывает литераторам свойства, которых у литераторов совсем нет; да едва ли

есть и у других людей. Так, нападает он на Горького, священника Петрова, Нижегородского адвоката и т. д. Помочь Сивачеву было не так просто, даже если бы талант его не подлежал сомнению. Надо учиться, что требует средств. Белоруссов, расположенный к Сивачеву, отмечал, что писания его «мало-литературны, часто безграмотны» — «не печатать его надо было, а дать сухую и теплую комнату и кусок хлеба, возможность учиться и выработаться, может быть, в недурного писателя». Помог ли это сделать Горький или священник Петров? Едва ли буду пристрастен, если скажу, что не только Горький, Петров, Потапенко, Вейнберг, но и Ремизов и Айхенвальд, которым Сивачев не прочь закатить пощечины, не могли ему дать больше того, что дали. Но Сивачев убедил себя, что писатель на то писатель, чтобы оправдать его веру в жизнь. «Разве я прошу чего-либо особенного? — рассуждал он. — Немного прошу, а не могу ни от кого добиться». И литератор вызывает в Сивачеве озлобление своей сытостью, а вместе с литератором—вся интеллигенция.

Представление о ней у него неизменно сочетается с городом. Вот он идет от адвоката, с трехрублевкой в кармане. «Стало жутко. Я впервые почувствовал, что это за ужас город ночью, когда он в тишине и безлюдьи, для человека, не имеющего в нем крова. Вас смертельно оскорбляет не только человек, но каждый кирпич на стене, каждое бревно. Город! Город! Пойми и почувствуй свой ужас!» И далее: «Город, Город! Вот твоя улица. О, какая это насмешливая, жестокая, лживая, равнодушная ко всему, кроме своего я, толпа Невского! Она течет, сгущается и лжет, лжет, лжет».

Не умея охватить жизнь в целом, Сивачев вязнет в этих мыслях об интеллигентах. Он не ошибался, когда писал: «мне почудилось, что таким культурным питомцам такие люди, как я, тяжелы. Сытых, красивых, обеспеченных людей им нужно видеть, а не тех, кто что-то просит». Но ошибался Сивачев, когда весь узел противоречий сводил к интеллигенции, которая «на нашей спине выезжает».

Это драма пролетария, тянущегося в буржуазную культуру, которой он и строем чувств, и строем мыслей, конечно, чужд. Оттого так занят он личными счетами, столь неприятными в его исповеди. Он ненавидит всю интеллигенцию, вместе взятую, олицетворяющую культуру, которая, вместо хлеба, дает ему камень; ни малейшей слабости не хочет он простить ей.

«Я принес большое положительное,—говорит он— мне дали большое отрицательное». Что же это за положительное?

Сивачева до-революционного надо отличать от Сивачева пореволюционного. В повести «Желтый Дьявол» он пытался в 1920 г. преломить быт и психологию революционной деревни. Перед нами уже не интеллигенция, а народ. Что же положительного дает писатель? «Труд наложил на народ свой облагораживающий отпечаток, отпечаток мудрости». Он ненавидит золото, от которого пахнет потом бедняков. Для иллюстрации Сивачев выбирает мужика.

И вот — после Бунина, Чапыгина, Под'ячева — выступает история жизни кулака Акима Бололюба. Человеческое в нем убито, умер стыд, умерла и любовь к детям. Но кулак — это случайный нарост на теле народа. Даже жена Боголюба упрекала мужа за жадность к золоту. Что же касается детей, то все они, как дети народа, ненавидят деньги, нажитые отцом, чувствуют правду социализма. Кончается все тем, что третий сын Иван становится во главе комитета бедноты, вооружает деревню против отца и отнимает у него деньги. Аким погибает в то время, когда «ясно стало самому ему, что деньги эти,—они, только они, как проклятые,— принесли ему столько зла».

Каким же приемом Иван даже кулака, загубленного условиями капитала, заставляет скорбеть о своей жадности? Культурную спасительность для мужиков он видит в мордобое. «Я не посмотрю, что ты мне отец, — говорит он Боголюбу,—выволоку на улицу да при всем народе так тебя нагайкой постегаю. Завтра я сгоню народ и заставлю, чтобы твое гнездо разобрали при мне по камню». Вообще, председатель совета Иван Акимов круто расправляется не только с рядовыми мужиками, в чем-либо оплошавшими, но и с членами совета. И ничего — народ как будто это одобряет и из уст в уста передает, что «Иван Акимов правильно говорит, что русскую харю, будь то барин или мужик, все равно для его же добра бить надо». «Чувствовалось, что и уважают его, и побаиваются, что замешкаешься,—затрещину здоровую получишь».

Очевидно, искать художественной правды в повести не приходится. Мужик — собственник; этим определяется весь склад его души, и просто выдуманы герои «Желтого Дьявола», говорящие книжным языком...

А жаль. В «Очерках деревенской жизни» Сивачев показал, что он умеет о ней писать в иных тонах и красках.

XII.

Сивачев ненавидит город, как дитя города. Хотя крупные произведения посвящены им деревне, но деревне он чужой; мелкого

собственника он рядит в идеи, несвойственные мужику. Пимен же Карпов исходит в своей ненависти всецело из интересов земли.

Это землероб всеми фибрами души. Для него «радость слушать образную, громовую, пересыпанную меткими пословицами и прибаутками ядреную мужицкую речь». «Встретишь, разыщешь в копоти и вьюжной мгле страдные мужицкие глаза,—каким немеркнущим радостным советом засветит тебе оттуда прямо в сердце?» «Все это земля—земляной дух. Вовсе не наживы и сытости, как ворон крови, искал мужик в земле. Вовсе не дрожит он над добытыми кровным потом зернами, как скряга над золотом, Земля—это магический круг для мужицкой души, песня его затаенная, светлый град, царство божие. За нее он на все пойдет». («Трубный голос» Рассказы.—«Подспудные ключи»).

Во имя этого он и ненавидит город. «О, город, логовище двуногих, проклятье тебе!—Проклятье, проклятье тебе, палач радости, красоты и солнца!»—пишет он в «Пламени».—«Проклятье тебе, скопище человекодавов, кровопийц и костоглотов». Это «чудовище», «вампир», «смрадный, нерушимый, как судьба». Хлеборобы поджигают город и в то время, как стелется дым от пожаров, уходят, поют «вольную лесную песню». — Это интеллигенция. «В этой книге,—комментирует Карпов «Пламень»—два мира: тот, что ведет Россию к величию и славе (русские хлеборобы), и тот, что ведет ее к гибели (инородцы-тунеядцы)... кто любит Россию, тот меня поймет». «Инородец» его не человек не русского происхождения, а интеллигент, представляющий город [1]).

«Я высказываюсь,—пишет Карпов—не от своего имени, а от имени всего крестьянства, с которым я кровно связан, и стараюсь отметить в печати то настроение, которое господствует в деревне». Хотя корень зла не в одном интеллигенте, однако, народ считает его «главным виновником». Крестьяне, сыны земли, ненавидят города. Лишь страх голодной смерти гонит их в эти омуты. Для интеллигентов же город и рынки жизни—родная стихия; они чувствуют себя здесь господами положения: можно жить, не работая, а, главное, делая вид, что нужны человечеству, тогда как в деревне сделать этого нельзя. Как воронье на добычу,—летят интеллигенты в город, на костях других устраивать собственное благополучие, и народ, добывающий хлеб потом, давно окрестил их «вороньем и пауками». «Говорю «интеллигентов», ибо народ не видит никакой разницы между торговцем и газетчиком, между бюрократом и политическим деятелем, между врачем, инженером, адвокатом и помещиком. Все они втайне желают одного»... Ведь «демократы и интеллигенты ничуть не лучше кулаков и угнетателей». «А еще удивляются, что народ смешал интеллигентов с барами, «свободолюбцев» с черносотенцами».

[1]) «Пламень». Из жизни и веры хлеборобов. Птб. Изд. «Союз» 1914 г. См. книгу «Проклятье и смерть городу».

Это-народ, единственный в мире, который дает такое множество самоучек. Неспособных учеников—«какими в гимназиях хоть пруд пруди»—в сельских школах нет. «Все даровиты». Но все они вынуждены гаснуть в нищете; дальше школы двинуться некуда: «везде места заняты интеллигентами».

Уже чуют интеллигенты, что придет хозяин и сметет с лица земли мусор; знают они, что от прежнего сосуда—народолюбивой интеллигенции—остались лишь осколки. Чтобы не было страшно от конца, они, то и дело, повторяют слова «хам», «погромщик», «труп»; предрекают конец народу, тогда как сами они на краю гибели... Пусть же называют народ чем угодно. Но пусть помнят, что народ им не сдастся. «Вы мало выиграете, если будете заграждать доступ крестьянам к верху жизни. Придет время, когда они сломят ваше упорство, и вы ляжете костьми под их ногами». «Заводь народных сил еще тиха, старая плотина интеллигенции еще держится, но уже сочатся сквозь нее свежие струи Потока-Богатыря. Преграды рухнут, и великая сила потока зальет всех и вся. Сил народа пока никто не знает. Если так, то страшно же будет его пробуждение, и земля содрогнется, когда он вступит в борьбу со всеми, кто станет на его историческом пути. Горе гробам повапленным».

«Народ» это—крестьяне, гроба повапленные—города. Бросайте их, идите к земле,—снисходит Карпов к интеллигентам—создайте культуру в деревне, сделайте так, чтобы мужик пользовался ею, а не вы только.

В самом деле, почему бы не покинуть им «город», не пойти за плугом, одновременно уча народ! «Ведь в глубине души вы сознаете, для кого существуют университеты, театры, храмы искусства, для кого пишутся картины, издаются журналы и книги... Для вас же. Но вы глухи, вы свысока смотрите на крестьянина... Вот в чем трагедия. Вот почему народ всех этих материалистов, нигилистов, революционеров смешивает с барами» [1]).

Жизнь возможна лишь на земле. Но они отравлены смрадом молоха-города.

[1]) «Говор Зорь», Птб. 1909 г.

Вот идеи всех произведений Карпова. В рассказе «Подспудные ключи», изданном уже ныне, в сельской читальне идет такой разговор. Мужики просят «читаря» рассказать про В. И. Ленина.

— А все же больше за народ тянет он, кажись,—говорит читарь.—Оно, правда, рабочие больше ему по душе, чем пахари. Потому много среди нас кулаков развелось.

— Да и среди рабочих буржуев не мало,—язвят в ответ.— В дворцы вон, пишут, переехали на жительство, рабочие-то. Электричество у них, люстры. А у нас вишь?

— А в дворцах-то холод ежели, не больно рад будешь и дворцам...

Хохот. («Трубный Голос». Изд Гос. Изд.).

«Как-то читал я в газете про пролеткульты,—читаете в том же «Трубном Голосе»—Знаю, кто там теперь примазался под видом пролетариев и крестьян: интеллигенты. Ну, да это с полбеды, а беда в том, что деревню забыли, деревенскую даровитую молодежь ни в какие пролеткульты не только не приглашают, но даже чураются,—по всему видно». Интеллигенты у Карпова держат себя с видом господ даже в 1918—19 годах, даже в имениях, которые им принадлежали.

За зиму у мужиков с голодухи животы пораспучило,—от ветру валятся. А у Зинки-интеллигентки амбары от хлеба ломятся. Ну, и решили поделить. «Не грабежом,—боже упаси,—а законом». Но Зинка-курсистка с крыльца сбегает, каблучком топает.

— Плюю я на комитет ваш. Я за вас же боролась.

Зинка клялась, что «все будут перевешаны». И чем дальше шли дела, тем больше Зинка кляла, грозила каторгой, нагайками. Собиралась палить в мужиков из пистолета... («Бесенок»).

Мудрено ли, если крестьяне, как были, так и остались, около навоза; а то и похуже.

— Ты знал Миронова Ваню? Помнишь, как он рисовал? Карандашем одним! Без всяких указок! А где он теперь? Хлевы чистит, как и мы. Да мало ли. А Сеню скрипача знаешь из Любимовки? А где теперь Семен? В навозе копается, копоть глотает.

Первого Октября Карпову мало: он исходил из города. Ему нужен второй Октябрь, — мужицкий, — который, не дав пощады городу, уничтожил бы интеллигенцию начисто.

XIII.

Если Карпов—мужик, Сивачев—пролетарий-неудачник, то в Надежде Санжарь сидит бродяга, босяк по духу.

И она, как Сивачев, дитя города, чувствует себя в его путах и оковах. И ее преследует культура, и вызов, брошенный интеллигенции, в среде которой пропадает ее сила, ее «первый и последний крик».

Героиня Санжарь в обществе культурных людей не может не «сорваться», не сделать что-либо, отвечающее ее «натуре», но что шокирует, раздражает это общество. «Что на меня нашло?— рассказывает Анна, поступившая бонной в интеллигентную семью.— Глядя на их выхоленные тела в английских костюмах, вычурных прическах и дорогих кружевных платьях, мне вдруг захотелось врезаться в эту изящную, беспечную, очень легкомысленаю кучку людей с моим некрасивым, грубым, страшным детством». Она рассказывает им о том, как солдаты ходили к ее матери-проститутке, как она выкрикивала им слышанное ею от взрослых:

— Брось, сукин сын, брось мамку. Брось, стерва, говорю тебе.

Так на всех местах. Ей надоело кричать в подушку. И вот результат: места не для нее, она не может удержать их за собой.

Конечно, страх, принижающий страх за завтрашний день преследует ее. Но она не в силах бороться с самой собой, с анархией мысли и чувств. Культурный человек с его сытостью воплотился в жуткий образ для нее. Вся философия ее здесь. «Выродки, насильники, звери, плевать я на вас хотела! Анна без боя не сдастся,—так и знайте», вот ее формула.

И для нее город—«сфинкс». Боже милосердный,—восклицает она,—есть ли что-нибудь хуже и нелепей Петербурга? Кажется, «гадостью и нелепостью обрызганы все его дома и их обитатели». «Мне хочется ругаться. Ах, не понимаю я нелепости больших городов, не понимаю». «Неужели нельзя иначе? Да будь они трижды прокляты тогда!»

Правда, в городах есть красота. Но ее питает кровь; построена она на костях, со всех сторон обрызгана слезами, и пусть кто может гордится этим, «а я не могу закрыть мои глаза, заткнуть уши, заглушить крик негодования». И чудится ей, люди «опомнятся, забракуют подлые ямы и свою красоту, величие науки».

Санжарь не мечтает уже о деревне. По строю дум и чувств, она чужда мужицкой идиллии. Какая-то сказка грезится ее сердцу. и нужна ей эта сказка все для того же, чтобы свести счеты с интеллигенцией.

Точно проклятье висит над Анной. С детства тянулась она к «образованным, чистым интеллигентным людям», ибо окружали ее люди темные, «ненастоящие». «Настоящие люди для меня

были вы,—пишет она,—живущие в чистых домах, носящие чистое платье, говорящие таким красивым, благородным языком. Я тянулась к вам. За эти порывы, за веру в интеллигента вы меня жестоко наказали, и я никогда не прощу вам страшного разочарования в вас, как в людях. И верится мне, что нелепость должна кончиться. Да, да, я верю, люди прямо во всеуслышанье будут говорить: такой-то доктор, адвокат, артист, профессор, инженер, писатель носит чистое, красивое платье, живет в чистой красивой обстановке, понимает в музыке, литературе и искусствах, говорит хорошие, благородные слова и живет свинья-свиньей». Да, да, она верит: «интеллигентам» не только дадут настоящие для них названия, но и обращаться с ними будут так, как того заслуживают («Записки Анны»).

Это одна сторона. А вот другая. «Я рада, что я крестьянка и подлинная дочь моего отца, до смешного похожая на него и внешностью, и чертами характера». Отца своего Анна помнит, как человека, который за «нехорошие дела» сидел в тюрьме. Но все же гордится им,—тем, чем не может похвалиться интеллигент: она дочь народа. Как и Сивачев, как и Карпов, она уверена: настоящая интеллигенция—это они. Когда без всяких подспорий приходится доходить до всего самому, пробиваться собственным путем,—говорит Санжарь,—конечно, и опыт будет особенный, расширяющий жизненное творчество. В «такой самоучености» видится ей «как бы знамение нашего времени». «Человек настолько в нас созрел, настолько вырос, что ломится из нас наперекор всем нашим правилам, валит в обход всего, что на дороге и мешает, шагает также и через то, куда вход не для каждаго открыт, и несет, несет свою живую душу, свое человечье на вольный воздух. Так пробилась я, так будут пробиваться и другие. И это не контрабанда, не уродливая случайность. Опыт самоучек необходим. Самоучки это вольные резведчики, ищущие на свой страх и риск, смело идущие в обход установившегося, бьющие неустанную тревогу, мешающие людям в их установившемся закостенеть. Самоучки это непрошенные, не назначенные ревизоры. Вот почему людям выслуги, людям прошенным назначенным, они кажутся так неприятны, ненужны. Вот почему нас, самоучек, почти всегда встречают с суровостью истинно прокурорской. Но наши судьи не всегда правы. Они не видят, не понимают, что мы идем не по своей воле, что на такой «обход», на такую «ревизию» нас толкает сама жизнь».

Не все «разведки» их ценны. Санжарь знает: «часто открывают они давно открытые истины», но за то вот что: «самоучки

несут на себе также и роль того сказочного правдивого дурака, который бесстрашно орет королям в лицо, что они, короли, голы. В непосредственности есть своя красота, своя большая сила» («Книга о человеке»).

XIV.

Итак, различна социальная канва наших авторов, но строй симпатий и антипатий их совпадает. Для каждого из них «цвет русской интеллигенции—банкроты духа». Исходя из личных отношений, каждый пишет обвинительный акт, и обвинения злы, беря за одну скобку и революционера, и либерала, и дамочку-кокетку... Великодушный Федька знает, что есть «долг», и требует уплаты, не допуская послаблений.

Потерпев неудачу в попытке попасть в верхи, каждый выпячивает свое низовое. Но что могут противопоставить Сивачев, Карпов, Санжарь? В то время, как рабочий индустриальный противопоставляет свою печать, свое классовое лицо, наши беллетристы не могут выйти из этой пустой «розни интеллигенции и народа». Оттого и злоба их лишена идейной базы. Будь Карповы—единицы, в этом опасности бы не было. Но тонок у нас слой фабричной интеллигенции; толст слой, из котораго пришли к нам Сивачевы... Вот почему так пророчески прав покойный Блок.

ГЛАВА IV.

В глубине России.

Н. Степной, Григорий Чудов, Г. Устинов, П. Дорохов, Ф. Ильин-Морозов.

I.

Если в Петербурге, в Москве трудно было найти орган, который напечатал бы рассказ самоучки, издательство, которое выпустило бы его книгу, то в провинции—глухой и безгласной—простецу, перед которым уже раздвигались горизонты, причалить со своей ладьей было еще труднее. Однако, даже серый фон Пошехонья не убил народного писательства.

Уже перед 1905 годом в городах и селах мелькают перед нами фигуры писателей из народа. Какие надежды могли питать они в углах, где и показать некому свое произведение? Тем не менее пролагали какой-то путь; в общем, большая часть материала получена мною из провинции.

«Думаю, не в диковинку вам получать рассказы, подобные моим,—писал крестьянин из Кубанской области,—от лиц далеких и неизвестных. Но вас-то мы, неизвестные, знаем, читая ваши статьи в журналах. О себе скажу кратко: я учился в церковной школе, живу в станице Кубанской, много ходил ходоком по окраинам России, ища места для переселения, об этом напечатал пять очерков в «Откликах Кавказа», которые захотелось послать вам». «Я поступил в магазин приказчиком,—писал другой.—О, литература! Ты чуть не стала виновницей моей смерти. Сказать вам на ухо, я дважды подходил к полотну железной дороги, прощался с этой пошлой противной жизнью и ложился на рельсы головой. Но та же любовь к литературе победила эти замыслы. И только теперь я пришел в себя и пишу вам». «Жизнь загнала меня в Закаспийский край,—писал третий.—Но я не унываю. Вся жизнь моя в литературе. Литература—жизнь моя». «Я—рабочий, принужден жить только на восемь рублей,—писали мне и с Севера,—посылаемые вам марки для ответа лишают меня хлеба на несколько дней».

II.

Печатались в газетах; но рассказик газетный и по размеру, и по форме—фельетон. Печатались ли наши беллетристы помимо газет? И таких произведений не мало.

Вот, например, орган «Судоходец», выходивший в Нижнем-Новгороде. Читаете подписи: «Точка», «Фонарь», «Отверженный», «Homo», «Колокол», «Фанвич», не подозревая, что это все выходцы из низов. Здесь начал свою карьеру Ив. Касаткин, автор «Лесной были», некоторые другие самоучки. И «Судоходец» не исключение. Таковы были и «Порывы»... Беллетристы наши облепляли их, и—каковы бы ни были самые задачи органа—выростал беллетристический отдел. Здесь такой беллетрист—пришлец со стороны. Но—наряду с этим—те же попытки, что в Петрограде и Москве,—альманахи писателей из народа.

«Алтайский Альманах» дала Сибирь, «Степь» и «Серый труд»—Урал, «Под небом Туркестана»—Туркестан, «Волжские утесы», «Нижегородский Альманах»,—приволжский край, «Пробуждение»—внутренняя Россия, и вот десятки беллетристов из рабочих и крестьян: Павел Поршаков, Ширяевец, С. Ляликов, Н. Рогожин, Е. Шаров, С. Сафонов, Е. Третьяков, А. Павлов, А. Ершов, М. Одинокий, Д. Погорелов, Мытарь и т. д. Альманахи, выраставшие до 15—18 листов, давали возможность помещать крупные вещи.

Но альманахи—первый шаг. Вслед за ними и авторы сами, и кружки провинциалов делают попытки издания книг. Не один из них имеет сборники своих рассказов, изданных в провинции. Таковы Н. Афиногенов, инициатор оренбургских альманахов, Григорий Чудов, нижегородец, сотрудник «Судоходца», Георгий Устинов, ушедший в газету, Ф. Ильин-Морозов, П. Дорохов. Иллюстрируем же и уголки провинциального писательства.

Мы знаем, что с тех пор, как «писатель из народа» получил право на внимание, к нему потянулись те, что умеют писать «чаво», «спинжак» и т. д., но на самом деле суть мещане, далекие от народной жизни. Но среди авторов, о которых у нас речь, нет ни одного лже-народного. Вот, что влечет к ним наше внимание.

III.

Н. Степной.

Н. Афиногеновым (Степным) изданы «Степные сказания» в Оренбурге, «Сказки степи» в Самаре, роман «Пролетарий» (первая часть в Юрьеве, вторая и третья—в Самаре), романы «Семья»

и «Перевал», «Записки ополченца», «Этапы великой русской революции», «Рассказы». Интересен Степной и как деятель. Поистине можно сказать: где ни являлся этот пролетарий, вечно обуреваемый жаждой писать, около него вырастал кружок писателей из народа. В итоге—альманах рассказов и стихов.

«Прочтя мою исповедь, вы подумаете,—писал мне Степной,—что я бывалый человек. Нет и нет. Я чувствую: мне надо учиться, учиться и без конца учиться. Когда я сижу за рассказом для сборника, у меня голова разрывается на части. Столько надо сделать, и так я не подготовлен, ничего не знаю». Человек он, действительно, «бывалый». Мать Степного—дочь мордвина-мельника,—правда, сообщила ему пассивность; но от отца унаследовал он непоседливость, кипучесть, и вот между тем и другим бьется пульс его жизни. Отец, учившийся в Киево-Печерской лавре, выгнанный оттуда, два года ходил по монастырям; приехал в Наровчат, поступил на винный завод приказчиком, затем волостным писарем. Мать писать не умела, но читала. Степной учился в земской школе, потом в уездной. С 14 лет ходил летом на богомолье, зимой исполнял домашнюю работу. Поступил в земство писцом,—бросил; устроился писарем почтовой станции, прослужив полгода, поступил приказчиком в экономию. Тоже бросил. 18-ти лет устроился рабочим по ремонту телеграфной линии. Но через год он уже технический контонщик в Тульской губернии. Побыл на Волге, на Кавказе, в Крыму... Уехал на Японскую войну... С войны проехал в Томск, где поступил на одногодичные курсы лаборатории Титова. Но уже был 1905 год: вместе с другими в здании службы пути «был предан сожжению». Лишь случайно вырвался и уехал назад в Тульскую губернию, где поступил на железную дорогу. Предвидя арест, Степной уехал в Наровчат, но здесь был арестован и шел этапом с месяц; в тюрьму попал на голодовку за облегчение участи смертника, запертого в темную камеру... Сидел месяца три и в гор. Епифани. Но выпустили без последствий.

В 1906 году переселился в Оренбург, где открылась вольная высшая школа. Оказалось, что программа была смешанная, средне-учебной школы с высшей. Прослушал лекции две зимы,—оба года служил в торговом предприятии конторщиком,—но затем школа закрылась. Отложив немного денег, Степной уехал в Льеж в надежде там доучиться. Но увлекся заграничной жизнью. Пробыв год в Париже и Берлине, вернулся в Петербург, где слушал лекции в народном университете. Опять уехал в Оренбург, откуда в качестве рядового попал через Архангельск на французский фронт. Воевал в ударных колоннах рядовым. Вернулся уже в дни революции.

«Когда закроешь глаза,—пишет Степной,—так и потянет калейдоскопом лиц. Но одно лицо стоит незабываемое—безконечное лицо степи, раскинувшейся от Волги до Каспия». Он влюблен в степь за ее простор, за ее солнечность. Солнце и степь для него, что вода для рыбы.

Поразили степи по Иртышу, затем по Яику-Уралу, Сыр-и-Амударье, и как-то само собой стали выливаться у него легенды и рассказы про «степь», которые печатались с 1904 года в «Степном Крае», «Блестках Урала», «Заре Поволожья», «Оренбургском Вестнике», «Ташкенте Туркестанском» и т. д. Легенды собирал он с любовью. Ездил ли в Гурьев, в Хиву, бывал ли в Ташкенте, в Самарканде или купался в Аральском море, ловил ли рыбу в Сырдарье или Каспие, все время обдумывал сюжет легенды. Начав же писать, он ушел в свои рукописи. Чемодан с рукописями да накидка от дождя, да пишущая машинка для переписки материала,—вот его богатство. К. Слобожанин в предисловии к «Сказкам Степи» рассказывает. Раз в Оренбурге, идя со Степным дорогой шаг за шагом, он слушал, как тот проклинал себя за то, что связался с писательством. Жандармы рассыпали набор.

Вот разлеглись на берегу Урала, посреди нескошенной травы, на ярком солнце. Степной, пролежав час-другой, вдруг вскочил и говорит:

— Нет, чорт подери, еще не все потеряно. Заплачу за набор, заложу, что можно. Ах, как надо каждой минутой дорожить! Потом не воротить время. Вот закончить издание, потом вырваться туда, поглубже в степь. Сколько там возможностей, сколько неписанных легенд! А быт новоселов, что пришли миллионами со всех концов России и за последние три-четыре десятка лет создали такие города, как Аральск, Челкар, Козалинск и т. д. А аборигены и их первобытные формы...

Степной не только пишет; он всегда что-либо редактирует, по преимуществу, сборники писателей из народа. Вот его «Серый Труд», «Степь» и т. д. «Освещать природу, быт и жизнь как аборигенов—киргиз, башкиров и казаков, так и новоселов; установить разницу между прошедшим и настоящим в бытовом отношении; создать так называемую областную, окраинную литературу,—вот, чем задался наш кружок, к которому я принадлежу,—пишет мне Афиногенов.—Сборники печатаем до 1000 экземпляров. Район распространения—Асхабад, Ташкент, Оренбург, Самара, Орск,

Актобинск, Илецк, В. Уральск, Троицк, Томск, Омск и Ново-Николаевск».

«Пишу, сидя в землянке,—пишет Степной.—Двенадцать дня, но при свече. Стены трясутся, несмотря на то, что слишком двадцать ступеней ушла в землю... Почем я знаю, не оборвется ли мое письмо на полуслове? И все-таки скажу: если бы мне предложили: «сиди в безопастности», что называется, у себя на печке, или «езжай туда, где тебе голову снесут», я поехал бы туда. Трудно об'яснить обострение чувств, когда поднимаешься над обыденным. Теперь, сидя в землянке, мне ничего не жаль из моей тридцатилетней жизни. Жаль только, что почти ничего, ничего не сделал, даже сотой доли задуманного; что если убьют, то оборвется наше издательство. У меня болен сын, которому уже тринадцать лет. Больше у меня детей нет. Но все-таки его болезнь меня менее волнует, чем выпуск нашего сборника». «В письме из Архангельска я писал о том, что дела наши станут, как только меня увезут,—пишет он далее,—так оно и случилось. Сборника набрано всего два листа, третий лист не набирался. Я получил уведомление, что типография не хочет набирать, хотя деньги за работу, равно и бумагу получила уже вперед». И где бы он ни был, он весь в своих изданиях.

Любопытны данные об его развитии. «Когда я учился во втором и третьем классе уездного училища,—пишет Степной,—я прочитал Глеба Успенского, в это же время прочитал Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского, Григоровича. На 16-м году знакомый интеллигент дал мне Михайловского, за ним Писарева, Добролюбова, Белинского, Герцена и Чернышевского. Позднее накинулся на философию. Читал Шопенгауера, Ницше. Чувствовал, что надо остановиться, отдать отчет в прочитанном. Но я до того жаден до книги, что хватаюсь за нее, как ребенок. Так, всего пять дней тому назад отстоял десять часов под ружьем за то, что у меня оказались не просмотренные начальством книги. Это были сочинения Салтыкова-Щедрина, которые я читал раньше отрывками, теперь же купленные на толкучке за два рубля. С двадцати одного года у меня были условия, неблагоприятные для чтения. Не оставалось времени читать. И лишь когда я попал в Сибирь, то принялся за чтение. Близился 1905-ый год; политическая экономия Богданова, Чупрова, Бокль, Каутский, Карл Маркс, Дицген,—вот книги, которые шли в руки. Про беллетристов же я уже думал так—вот дочитаю эти и возьмусь вновь, перечитаю тех. Но так, кроме Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева, до сих пор не удалось перечитать. Но яркие образы

их, например «Записок охотника», которых я читал всего раз, будучи юношей, и сейчас стоят передо мною. От Глеба Успенского у меня осталось только множество вопросов. Как это так,—думал я, сидя над ним,—такая махина знаний вокруг людей, такая масса людей, гордых истиной. А рядом такие же, как они, люди, но немые и жалкие. Миллионы. Для чего же тогда и знания, когда они бессильны улучшить на палец жизнь этих миллионов? Теперь не то, теперь я уже знаю ценность знания».

Степной не чужд и общественной жизни. В качестве деятеля рабочего движения, он принимал участие в союзе торгово-промышленных служащих в Оренбурге, как член правления его. Однако, нерв Степного не здесь, а в его легендах, повестях, литературных планах. Это—писатель, работник печати по натуре.

IV.

Григ. Чудов.

Н. Степной весь в будущем. Григорий Чудов весь в прошлом. Это девятидесятник и по строю своих дум, и по складу своей психики. Недаром он самый пожилой.

— Пишу вам о себе не как о литераторе, но как о бедняке-пролетарие, борющемся с тяжкими условиями жизни за свет, за освобождение личности,—писал он мне.—Что же касается черточек, приближающих меня к типу литератора, то я говорю о них ради правды повествования. Бывают такие личности: они всегда одиноки. Где бы они ни были среди людей, они испытывают это чувство, замечая, что с ними обращаются как с незванными пришельцами на чужой пир. В самой основе отношений заметно желание вытолкнуть пришельца за порог. К разряду таких людей принадлежал мой отец, так сказать, брошенный на самый низ и доведенный до крайней степени бедности. На правах безземельного, имея только усадьбу и хижину, прожил он 14 лет. Его же судьба отразилась всей тяжестью и на моей жизни.

Даже когда я с матерью или с отцом проходил улицей, дети кидали в нас камнями и кричали: «выгоним из деревни» и прибавляли какой-нибудь эпитет. Мы молчали. Если же отец или мать отвечали, то мужики подступали к окнам нашей избы, стучали кулаками в стены и грозили. Отец с матерью нередко после таких угроз плакали. Я же уже в то время не по-детски научился понимать их.

Эти годы провел я один. У меня была привязанность к трем предметам: на улице, у своей избы, я лепил из глины «человечков» и животных, а дома брал отцовский карандаш и его же курительной бумаги, сшивал книжку, потом найденный чайный этикет или обрывок газеты и перерисовывал в свою книжку разные формы и буквы. По вечерам любил слушать материны сказки. Матери не хочется их сказывать, на душе совсем не сказки, но я со слезами вымаливал их у нее. Я пристрастился к сказкам. Сказки меня спасали от действительности, которая готовилась меня искалечить. И это была странная пора. Я жил не действительной, а сказочной жизнью. Днем бываешь оскорбленный и печальный, вечером приходят образы. Одни—невообразимой доброты. Этих тогда и понимаешь, когда сам еще по-детски добр. Хочешь с ними быть, хочешь таких подвигов. Другие — злые, жестокие, что коверкают, заедают чужую жизнь. Этих всем пылом души ненавидишь.

Осенью 1886 г. мне фортуна улыбнулась. Мне уже было девять лет. Войдя однажды в избу с улицы, увидел я сидящего у нас старичка. Он был в худом, коричневого цвета кафтане, с засаленными рукавами и полами, которые блестели, с седыми волосами и бородой, обрамлявшей лицо. Мне об'яснили, что это учитель Игнатий Петрович. А Игнатий Петрович погладил меня по голове. «Будешь учиться грамоте?» — сказал он. «Где уж этому быть,—отвечала мать. — Не дадут учиться-то ему». И об'яснила отношение к нам крестьян. «Ну, при мне этого не будет»,—одобрил Игнатий Петрович. Я учился прилежно, но система учения казалась мне однообразной. Между делом, Игнатий Петрович занимался писанием брошюр разного апокрифического содержания, церковно-славянскими буквами, «полуставом», как называли мужики. Когда смотрел на него, хотелось писать, как он. Мы, дети, не ссорились. Но, как сын бедного отца, который у всех на поругании, одетый по-нищенски, всегда тихий, задумчивый, я возбуждал недоброе чувство к себе. И это нас разделяло. Учился я одному только чтению: не было средств платить Игнатию Петровичу за бумагу и чернила. Кто-то посоветовал отцу купить прописи, и писать научился я один, разумеется, без знаков препинания.

Выучившись читать, я перечитывал все, что попадало мне в руки. Предо мной открылся другой мир: такие интересные истории, какие раньше рассказывала мать, я сам узнавал, читая книжки. Я чувствовал какую-то жажду к чтению. И несмотря на то, что отец, не любивший книг, запрещал мне покупать и читать их, я покупал и читал их тайком от него. Я не в силах был оставить этого. Бывало, придет в деревню разносчик, от радости так и подскочишь. Спросишь: «Есть книжки?»—«Есть».—«Подожди, я приду». И побежишь к матери. Прибежишь: «матушка, милая, золотая, писаная, дай две копейки на книжку». И когда наплачешься порядком, тогда получишь. Мать с намерением долго не дает денег, чтобы разносчик успел уйти. Тогда догоняешь его с версту и более. Прибежишь и насилу отдышишься. А разносчик, увидав еще невысохшие на глазах слезы, улыбается и начинает вытаскивать книжки. Жар и холод пробегает по жилам, сам себя не понимаешь. А разносчик в это время становится самым близким, самым дорогим человеком. Долго роешься в книжках и не знаешь, какую выбрать. Все кажутся хороши, все хочется приобрести. Наконец, прибежишь домой с книжкой и сначала рассмотришь ее внешность, даже запахом ее насладишься, а потом уже притаишься где-нибудь в уголок и примешься за чтение. Перенесешься на какой-то остров и все переживешь—и красоту, и страх. И никаких друзей тогда не надо, и все обиды позабываешь. За то, когда кончится сказка, еще несносней кажется действительность.

Когда я кончил учиться, отец заставил меня работать—точить веретена. Я должен был выточить сотню веретен в день, а питался все той же «мурцовкой». Чтобы выточить сотню веретен, я работал летним днем с утра до сумерек и просто выходил из сил. Кроме точения веретен, я три года делал детские игрушки, плел корзины и гритом писал по заказу брошюры канонического и апокрифического содержания, получая по 20 и 25 коп. за брошюру. Кроме того, ходил читать по ночам при умерших, получая по 30 и 40 коп. за ночь. Это чтение для меня было наказанием в высшей степени. Я не мог ни прикасаться к телу, ни есть, ни спать в том доме, где оно находилось. Когда я был около покойника, мне казалось, что я слышу запах смерти—«того мира». Подышать тем воздухом—значило впустить в себя дыхание смерти, которая так потрясала меня. Поэтому всякий раз, когда приходили за мной читать, я всей силой упирался, но это не помогало. Отец посылал насильно. Понятие у него было такое, что раз он выучил меня читать, то не для чего иного, как только молиться богу и извлекать пользу. И вот в зимний холод, в легкой одеженке, с пятнадцатифунтовой книгой в руке, я шел в другую деревню, и, пока я шел, предо мной омрачался весь мир, и моя жизнь, и все кругом казалось трупом. А когда я входил в избу, где лежало тело, меня начинало тошнить, и уходил я домой совершенно больной. После того я всегда недели на две лишался

аппетита и жизнерадостного настроения. В начале 90-х годов я пас стадо, но затем всем семейством уехали в Воткинский завод, где жили мы много лет.

В Воткинском заводе я с полгода не работал. Будучи свободным, я познакомился с книжными торговцами на рынке, у одного из которых одолжился. Книг к моим услугам представлялось вдоволь, но у меня не было денег, чтобы покупать их. Я стал думать, что бы мне делать, чтобы добывать деньги. Ходил по базару, присматривался. На базаре я увидел, что хорошо торгуют детскими игрушками, из которых дороже всего ценятся и более всего покупаются так называемые «акробаты». Придя домой, я принялся делать «акробатов» и через несколько часов сделал десять штук. Вынося на базар, я менее, чем в полчаса, продал их, и у меня оказалось денег более рубля. В это же время я увидал, что бойко покупаются «мышеловки». Расплатившись с книжным торговцем, я купил проволоки и принялся делать и «мышеловки». Эти акробаты и мышеловки покупались у меня на расхват,—на последние даже делались мне заказы,—и за неделю у меня всегда оказывалось денег рубля два-три. И все эти деньги я тратил на книги. Но вскоре отец взял меня с собой работать каменьщиком. С полгода я поработал с ним на заводе; когда же отец с завода ушел и стал работать от себя, я поработал с ним еще года полтора. Но потом у нас произошел разлад.

Разлад произошел так. Книг покупать было не на что. Если я и покупал, то в долг и опять-таки тайком от отца. Между тем я одержим был каким-то тайным духом. Часто во время работы, волей-неволей, в голове моей вдруг возникали вереницы мыслей и образов с такой силой, что овладевали всем существом моим. Инструмент из рук валился, работа оставлялась, и я стоял по нескольку минут, как в гипнозе, пока окрик отца не заставлял меня очнуться. Тогда я нехотя начинал шевелиться. Я чувствовал, что мысли и образы меня обременяют, куда-то зовут, что-то заставляют делать, но куда мне итти и что делать, я не знал и мучился. Отец же видел во всем этом «порчу» и понимал, что причиной «порчи»—книги, и запрещал мне читать их. А я не мог без них прожить дня. Так между нами начался разлад. Когда я стал просить отца, чтобы он давал денег для дома и не запрещал читать и покупать книги или же заработанную мною часть отдавал матери, то за все это получал побои. И вот после этого я ушел работать к одному печнику. Но с печником проработал я недолго,—дел у него не оказалось,—и стал работать по этой части один. Но и один проработал недолго. Мне представился случай поступить в винный склад приказчиком, что я и сделал.

В Воткинском заводе мне пришлось прочитать много книг лубочного содержания с их лубочным романтизмом и патриотизмом и наряду с этими и канонических. Такой литературой я питался долго. Она увела меня на ложный путь, после чего я исправлял себя хорошей книгой не менее семи-восьми лет. Вообще, годы, проведенные на заводе, прошли у меня в душевном томлении, в искании чего-то. Чувствовалось недовольство жизнью, стремление к чему-то не найденному.

В конце девяностых годов, приехав в деревню, без друзей и без книг, я затосковал. В это время мне пришлось прочитать— в первый раз после лубочной литературы—биографии Лермонтова и Кольцова, и эти биографии открыли мне одну тайну. До прочтения их мне не приходила в голову мысль о том, какие люди пишут книги. Мне почему-то казалось, что тот, кто создает книги, выше людей, почти невидим. Поэтому я не любил те книги. на которых было поставлено имя. Но биография Лермонтова пробила брешь в темной завесе моего невежества. Прочитав ее, я узнал, что книги сначала пишутся, и что Лермонтов был из тех, что пишут книги. Он был человек... как это интересно! Какой славный он был человек! Хорошо бы быть таким, как он. Но нет... мне нельзя; ведь Лермонтов был хотя и человек, но барский сын и ученый. Притом он имел какой-то дар, какую-то тайную силу. Мне стало грустно. Но из биографии Кольцова я узнал, что он был простой, не ученый человек и писал стихи, развив себя чтением. Оказывалось, можно писать и простому человеку, как я; только нужно себя развить чтением хороших книг.

После того мне захотелось самому писать. Я начал писать, и мне казалось, что я нашел то, чего смутно искал и о чем грустил, как о ненайденной тайне; что в этом все мое счастье, и больше мне ничего не надо. С этого времени я стал писать, но еще более того читал, сознавая, что без умных книг нельзя сделаться писателем. Я принялся за умные книги. Пушкин заставил меня забыть о лубочной литературе. После того я много прочитал книг, и эти книги мне помогли развиться. Наконец, мои литературные опыты стали появляться время от времени и в печати. В 1902 году, благодаря моему знакомству с Н. И. Новиковым, писавшим в то время в Нижегородских газетах, мое стихотворение было помещено в «Нижегородских Губернских Ведомостях», потом в «Волгаре». Первый рассказ мой, напечатанный в «Нижегородской Земской Газете», был перепечатан «Вестником Сорокского Земства».

А в 1909 году рассказ был издан в Нижнем-Новгороде отдельной книжкой. В 1909 году напечатаны мои рассказы в «Судоходце» и «Нижегородском Листке», перепечатаны—«Кубанским Курьером»; в 1911 г. — в «Терском Крае», в 1913 г. — в газете «Кама». Вообще, я четыре года сотрудничал в «Судоходце», подписываясь под статьями «Рабочий», «Точка», «Фонарь», «Отверженный», «Ч», «Колокол». За две заметки, напечатанные здесь, сидел в тюрьме. Писал постоянно в газете «Кама» под псевдонимами «Макар Бедный», «Чудов», «Ч». Кроме «Неудачника», должны были выйти книжки «Ересь», «Круги», «История одного болота», «Всего хуже», а также «Стихотворения». Но так и почили в газетах, где были напечатаны.

В заключение могу сказать, что с детства по настоящее время редкий человек не обижал меня. Если бы не сказки моей матери, что не дали очерстветь и озлобиться моей душе, а затем пробудили любовь к чтению, а чтение—к литературе и ко всему возвышенному, я бы не мог вынести всего этого. В настоящее время работаю на шрапнельной фабрике нижегородского акционерного общества.

V.

Георгий Устинов.

Устинов ныне пишет лишь на темы дня. Таким, однако, сделала его революция. До революции он был беллетристом. По крайней мере, таким узнал я его по тому материалу, который, по его просьбе, передал мне В. Д. Бонч-Бруевич, намеревавшийся издать его книгой. Вот, что писал о себе Георгий Устинов.

— Что рассказать вам о себе? Не помните ли у Мельникова-Печерского староверку Устимовну? Это — моя бабушка, от нее и фамилия наша пошла, а то — до отцовской солдатчины—у нас и фамилии не было. В Семеновских лесах крестьяне и до сих пор живут без фамилий. Так больше по отчеству и в солдаты призываются. Отца моего в солдатах, как раскольника, доняли насмешками, так что он, будучи равнодушен к религии, перешел в православие. А затем и женился на православной, за что с позором был изгнан из дому и отправился скитаться по белому свету. У нас и сейчас по деревням нельзя с папиросой пройти: изобьют. Не любят староверы табачников [1]).

[1]) Писано в 1916 г. *Л. К.*

В лесном имении нижегородского старовера («Бурдуковская Дача» в Балахнинском уезде Нижегородской губ.), в лесной сторожке родился я на свет и рос в этом глухом—на тридцать верст в окружности — лесу до четырнадцати лет. Семи лет побрел в школу за четыре версты от сторожки и одиннадцати кончил и попал в село Кантаурово Семеновского уезда во второклассную церковно-приходскую; там решили меня напихать катехизисом, как мешок опилками. Но в этом училище за незнание закона божия был изгнан из общежития; а обидевшись, я взял да ушел совсем из учобы и поступил на волжский буксирный пароход в качестве матроса. Тогда мне было 17 лет. Пароход был небольшой и назывался «Братья Плехановы». Проплавал я на нем благополучно навигацию и завязал от лета в тряпицу рублей этак семнадцать. В следующую навигацию мы, доведенные тяжелой работой до отупения, с одним моим товарищем побили Плеханова, хозяина парохода, и были изгнаны без расчета. Это было на реке Белой. Бродили в чужом краю. Работы не нашли. Жили под галдерейкой амбара, питались грибами. Потом удалось попасть на прибывшую баржу, но, промаявшись с день, я слег. Водолив барки был парень хороший. Впоследствии он был мне другом. Когда баржа готова была к отвалу, он прилез ко мне в трюм и говорит:

— Ладный ты парень, Егор, грамоте знаешь... Подрушным я тебя хотел сделать, да...

Он растерялся, посмотрел по сторонам.

— Умрешь ты, Егор... Ты вот и посуди... как бы в дороге не канителиться с тобой... Гляди, двое суток задержишься с полицией, а груз-то на выводку срочно взят, хозяин убыток зря терпеть будет.

Он помолчал.

— В больницу бы да нету... Слезать придется. Как-нибудь день-другой перестрадаешь, а там...

— И умрешь — добавил я его мысль про себя.

Он был уверен, что я умру. Лик уже у меня совсем был похож на землю.

— Вынесите, — говорю.

Посмотрел он на меня да отошел в угол, где потемнее. Вздохнул.

— Черт с ним, — говорит — с хозяином. Лежи. Как-нибудь в одни сутки управимся.

И тронулись. Через неделю я выздоровел. А еще через неделю был подручным водолива и получал не двенадцать, как

у братьев Плехановых, а целых двадцать рублей. Закончил я судоходную карьеру осенью 1905 года в с. Канавине (т. е. в Нижнем-Новгороде). Сормовские события заставили меня всмотреться в жизнь; они перевалили меня, — полуграмотного, — за ту грань, где начинается сознательное бытие.

В 1907 году я написал книгу «На судах»—мой первый труд, изданный Нижегородской газетой «Судоходец». Московская судебная палата судила меня за эту книгу. В числе сословных представителей был городской голова Нижнего, знакомый М. Горького. Я был оправдан; книгу же суд постановил уничтожить. Но книга была уже раскуплена.

С 1907 года я — одновременно с И. М. Касаткиным — стал работать в «Судоходце». В этом издании помещено до 40 моих рассказов из судоходной жизни. Одновременно я сотрудничал в «Волгаре» и «Нижегородском Листке», а служил в балахнинском земстве в селе Городце сначала больничным служителем, потом санитаром. Но был уволен за статьи о больничных непорядках. Тогда я с пятишницей в кармане пустился в путешествие вверх по Волге. В Ярославле голодал восемь дней. Там издавалась газета «Голос», но,—увы!—мои писания ею были не одобрены. Когда мне надоело голодать, я пустился в Рыбинск и устроился там в газете «Рыбинский Вестник». Но в Рыбинск явился товарищ прокурора окружного суда Соколов и посадил меня в тюрьму, заявив мне в моей затхлой и сырой камере: «Пишете гадости».

Осенью 1912 г. меня судили за два фельетона, но так как я уже отсидел шесть месяцев, то суд признал меня виновным, но осудил на 6 месяцев. За время моей сидки писал мне Золотарев, живший на Капри в Италии; писал и В. С. Миролюбов, редактор «Ежемесячного Журнала», с которым мы переписывались и потом, и ранее; ободряли меня... После тюрьмы работал я в поволжских газетах: в Кинешме («Кинешемский Вестник»), в Ярославле («Северная газета»), в Костроме («Курьере»). Писал рассказы и фельетоны. И псевдоним же у меня был для фельетонов: Клим Залетный! В Москве мои рассказы были приняты в журналы «Новый Колос», «Наша Родина», «Журнал для хозяек», популярный женский журнал.

Несколько слов о себе, как о беллетристе. Начав с быта, я в своем мытарстве неизменно двигался куда-нибудь, по характеру своему неспособный усидеть на одном быте. Теперь я хорошо и ясно чувствую, что народный писатель из меня выйдет плохой. И не стремлюсь к этому. Я — язычник, аморалист, способный преклоняться перед Байроном, Уальдом, Лермонтовым, Г. Маном.

Из русских ценю и высоко ставлю Леонида Андреева, стихи Бунина, А. Куприна и терпеть не могу бытовиков, всех в один голос подражающих Максиму Горькому. По этому поводу мы до хрипоты спорим с Касаткиным и Н. Никандровым. Но за то во всех видах люблю красоту. В этом году (1916 г.) появились мои рассказы: «Маленький роман», «Лиходей», «Виновна ли»? «Мать», «В казарме», «Ее глаза», «Измена» и др. Кроме книги «На судах», художественная ценность которой не велика, мною издана пьеса «Дни и ночи». Еще секрет моей особы: упорно пишу в «Журнале для хозяек». Это потому, что о женщинах пишут все, но до сих пор не имеет женщина своего писателя. Иные это амплуа считают унизительным. Но я имею отклик на свои рассказы. Значит, заметили. Значит, пишешь не в пустое место, что, собственно, и нужно.

Уезжаю на фронт, где буду получать 75 руб. в месяц. Литераторам, подобным мне, такое благоденствие и во сне не снилось.

VI.

На Ильине-Морозове и П. Дорохове остановлюсь кратко: оба стремились выбиться из народа...

На Морозова мое внимание обратил поэт Ширяевец. «Литература в Туркестане,—писал он мне,—в загоне. Литераторов мало, самоучек еще меньше. Из самоучек был здесь Филарет Ильин-Морозов, выпустивший книгу рассказов «Голгофа женщины», но, подорвав свое здоровье усиленной подготовкой к экзамену, в 1913 году скончался. Книга его вышла в 1910 году. Книга, конечно, слабовата, но ведь писал ее молодой парень. Портит ее неряшливость печати,—это только здесь могут так отпечатать. Последующие вещи Морозова, однако, гораздо сильнее, например «Бездна», которую он собирался выпустить, но не успел, свалился. Жаль, очень жаль,—ведь только начал расправлять крылья. Из его прошлого знаю только то, что отец его служит стрелочником на железной дороге».

Морозов упорно выбивался из своей среды, обрекшей его на положение рабочего; но организм не выдержал, и он погиб вместе со своими мечтами о литературе...

Что не удалось Морозову, видимо, удалось Дорохову. Детство свое он провел в деревне, Самарской губернии, а затем вместе с родителями выехал из деревни и жил в Сызрани, Оренбурге, Самаре. Отец был военным фельдшером. Возымел Дорохов желание

писать, будучи учеником городского училища. По окончании его в 1902 году сделал попытку написать что-либо для «Самарской Газеты». Но ответа из газеты не последовало. После этого попыток он не делал вплоть до 1909 года, когда поездка в деревню дала ему материал для рассказа «Ярмарка». 1905-ый год сыграл большую роль в его жизни. Дорохов вошел в партию социалистов-революционеров, был гоним. Это дало ему толчек и в области литературы. Он послал «Ярмарку» в «Волжский День». Но ответ был огорчительный. На следующий год, однако, его рассказ «Нищие» был напечатан в «Бузулукском Вестнике». В 1917 г. он был перепечатан в Омске в «Слове Трудового Крестьянства» и в Петропавловской киргизской газете.

Вера в себя явилась, и Дорохов написал рассказ «Земля», который был напечатан в Омске в «Слове Трудового Крестьянства» и издан отдельной книжкой в Самаре.

Газеты Дорохов «не любил». Мечтал о журнале. В 1914 году, написав ряд очерков под названием «Деревенское», послал—по совету А. К. Гольдебаева, с которым встретился в Новоузенске,—В. С. Миролюбову. Дожидаясь ответа, написал «Кузьму Хромого». Скоро пришел ответ, гласивший, что очерки в ближайшей книжке будут напечатаны. Послал и «Кузьму Хромого». Однако, напечатан был «Кузьма» в «Сибирских Записках». Будучи в Оренбурге, Дорохов написал рассказ «Дедушка Силантий», напечатанный в «Уральском Кооператоре». В 1917 году в Гемобнинске для газеты «Союзная Мысль» написал он рассказы: «Дедушка Игнат», «Знамение» и «Последнее письмо». В том же 1917 году, перебравшись в Омск,—«Ссору», «Задетые крылом», очерки «Деревенское», напечатанные в «Деле Сибири». Вернувшись в Самару, напечатал рассказ «Государственно-мыслящий» и драму «На грани».

1921-ый год был годом борьбы за жизнь. Писал только о голоде. Наконец в 1922 году написал «Сибирские очерки» и «Грамофон».

VII.

Что же дали наши провинциалы? Ни один не выявил себя художником. Их литература страдает отсутствием обработки. В отношении достижений значительней Устинов: малообразованность дает себя знать не в такой степени. Но образов, вобравших в себя мастерское содержание, нет и у него. Нет и ключей к загадкам извнутри.

Это—рассказчики. Они вносят в рассказы, повести, легенды лишь наблюдательность. Быть может, в том или другом из них сидит художник, лишь вследствие неразвитости склонный к фотографии. По книгам их судить еще трудно. Но факт тот: у них нет «выдумки». Это запас пережитого. Уменье заглядывать во внутрь не идет далее фактов, намеченных или пережитых. Им близко простое, примитивное: холод, голод, нужда, безработица и т. д. Факт—вот их излюбленная тема, а отсюда однопредметность письма, уже знакомая нам.

В больших вещах нет понимания структуры, связности частей, нет экономии слов. Нет музыки, которая лишь и делает роман. Автор то отрывочен, то многословен; действенность в творческом смысле слова не дается.

Провинцией веет от самых приемов письма, тем более от содержания; и интерес их местный. Автор знаком с одним уголком жизни. Вы составляете понятие не о русской жизни вообще, но о том, чем живет область. Недаром и зародились авторы на окраинах: в Оренбурге, в Ташкенте и т. д. Пробуждается масса окраин, выдвигает свою интеллигенцию, и вот жажда нести свет в родную область. Отсюда та положительность, что несет эта литература. Нет в ней ни мастерства, ни психологии; зато какой материал заложен в ней, сколько важных мелочей анатомической местной правды! Значение ее в интенсивном местном колорите. Авторы вводят нас в жизнь мест, и ею дышит вся канва рассказа.

Это нутряное знание,—ощущение своего края. Веет родным ветром, запахом его лесов, каждый из них умеет видеть, слышать, понимать трудового бедняка своего края. Что ни возьмите—описания природы, бытовой стихии, самый язык в своеобразии местных богатств,—от всего пахнет колоритом места и времени, какой-то местной правдой. Изображение малого мирка подчас вырастает в общее. Однако, ценность авторов лишь в том, что они—дети многоликих масс многообластной Руси.

Обратимся же к каждому в отдельности.

VIII.

«Завтра уйду в степь под последние, осенние, еще горячие лучи солнца»; «далеко кругом была степь; она навевала мысли о жизни широкой, привольной»... Нет рассказа, легенды Н. Степного, в которых бы это на разные лады не повторялось. Он—в просторе, раскинувшемся от Оренбурга до Самары, от Самары

до Каспия, и книги его: «Сказка степи», «Степные сказания», а сборник, выходивший под его редакцией в течение ряда лет,—«Степь».

Киргизы, башкиры, трудовое казачество, поселенцы-сектанты, пришедшие из России,—вот герои его сказаний и легенд, отнюдь не являющихся вымыслом в обычном смысле слова. В форме преданий Степной зарисовывает живую жизнь, и с первых строк чувствуете бытовика-наблюдателя, ничего не дающего от себя, а передающего просто то, что ему рассказала «степь».

В романах его отражена и рабочая общественность Оренбурга и других центров. Но более всего ценен Степной, как автор «Сказок степи», «Степных сказаний» и т. д. И в его романах есть достоинства: наблюдательность, свобода от тенденциозного идеализма, который набил нам оскомину. Любит он подмечать прояснение светлого в человеке, по-решетниковски прямо зарисовывая жизнь людей труда. По его романам можно составить представление о том, как влилась в революцию рабочая общественность одной из окраин. Недаром и называется его роман, состоящий из трех книг, «Пролетарий». Но в них сказался основной недостаток письма Степного—торопливость. Поистине, не он владеет фактом, а факт им.

Он спешит, все спешит, боится, что не успеет рассказать всего, что нужно рассказать; и лица с трудом остаются в памяти; материал лишен крови... Нельзя и сравнивать способ изложения «Сказок» и «Пролетария». В силу этого Степной ценен прежде всего, как автор сказок и сказаний.

В этих книгах рисуются патриархальный быт и верования степных обитателей, теперь обманутых, прижатых чиновниками, приехавшими вводить «порядок» с одной стороны, агентами капитала с другой. Не мало надо было проездить автору, не мало соли съесть с киргизом, с башкиром, с казаком, чтобы создать такое разнообразие сюжетов. Мысль одна: гибнет старый уклад вольной жизни степного народа, и, вспоминая свое прошлое, абориген видит в нем все, что было у него дорогого. Чиновники, купцы убили это дорогое, забрали ковыли, заплевали красоту простора и загнали людей в юрты, но сами создали мало; ведь это была культура хищников первоначального накопления.

Вот «Сурки». Угрюмые горы-холмы раскинулись с правой стороны, а с левой ровная, как доска, степь. Горы ждут еще предприимчивых людей, которые жадной стаей облепят их, вроются внутрь, разворотят, вытащат все их богатство, которое они хронили до сих пор, как скупцы. Степь же думает иную думу.

Она вся ушла в воспоминания, будто припоминала то прошлое, когда по ее груди мчались вольные орлы, полчища искателей лучшего. А теперь, почему теперь стало так пустынно, почему не скрипят арбы, не ржут кони, не поют песни люди — где они? Автор сидит и пьет чай в прикуску с жареным пшеном вместо сахара. Полог юрты приподнят, и осенний воздух охватывает его всего. Тишина вокруг такая, что, кажется, на сотни верст кругом все умерло. Только изредка где-то раздается крик верблюда, где-то прокричит стая журавлей... Хозяин бедный. Когда-то были у него табуны верблюдов и лошадей и стада овец; было четыре баранчука (дети) и пять жен. Но это когда-то. Теперь же он пасет скот у станционных служащих по рублю с головы в год, а голов-то всего сорок, вот и вся добыча. Можно и на поденную ходить, было бы прибыльней, но он не любит молотков, лопат. Он любит вот эти горы, эту прозрачную, как воздух, речку («Сказки степи»).

Так вот и отсиживается в юрте, как сурок. А кто не знает, что у Толибея было двадцать косяков лошадей, четыре табуна баранов, сто верблюдов, двенадцать юрт; что у Толибея можно было есть и пить целые дни, и за это Толибей никогда ни с кого не брал ни копейки, и когда кто-либо пытался платить, он, гладко-бронзовый, только сдвинет свои черные брови, из-под которых так засветятся черные глаза, и уйдет, оставив человека с протянутой рукой? Но вот однажды раннею весною к урочищу Толибея под'ехал, позванивая колокольчиком, обвеваемый степным ветром, топограф-измеритель... И началось. Измеряли кровную, веками облюбованную степь, — противиться Толибей не стал, — а в это время писаря, уполномоченные, судьи и купцы заполняли степь, расхищали ее добро, не давая взамен ничего, кроме вымирания («Патима»).

Оголили, изуродовали красоту гор; вырубили леса и свезли на дорогу. И не стало духов, усмиряющих шайтана-вьюгу. И шайтан-вьюга радовался: сгинул ее противник, первый башкира заступник.

Вот они стоят, голые горы. Коршуны сидят на скалах, купаются в солнечных лучах. Многие из них стары и, поджав ноги, опустив взгляд, смотрят вниз на аул-деревню, притаившуюся в лощине меж гор. Они помнили аул-деревню иную, чем сейчас. Помнили, как здесь далеко вокруг шумели деревья. Теперь же, теперь ничего нет. Только башкир снует-шныряет, чтобы что-либо срубить и продать — продать во что бы то ни стало, ибо башкиру нужен калач и чай для себя, баранчука (мальчика) и

катык (жены). Многое они могли бы порассказать, но есть ли им дело до людей? Разве они могут подсказать что человеку? Разве человек сам не видит, что птицы могут летать только тогда, когда у них не ощипаны крылья?

Вот Идельбай. Был славой аула... Не он ли выходил один на медведя? Идельбаю все прощалось, и ездили из многих аулов башкиры поохотиться вместе с ним. Но пришли иные дни. Идельбая выдали русским. Его судили, присудили к арестантским ротам, где, пробыв год, умер в тоске по аулу, как умерли вырубленные, подломанные вокруг леса, а вместе с ним и красота южного Урала...

Жмется башкир в глинобитной избенке зимой и мечтает — ждет: зачем ему делать кизяк для топки, разве нельзя дождаться чуда? О, аллах сжалится. Слово—и вдруг поднимутся все старые, столетние леса и, как раньше, зашумят, закивают ему привет — насытят, согреют и оденут («Смерть богатыря»). Но чуда нет. Вместо чуда идет Алчинбай,—хищник из собственных недр, первый богач во всей деревне, первый приятель становому. Сам исправник ему кланяется и—чего стоит с ним тягаться! О, он не как другие башкиры. Он не знает счету своей земле, продавая ее одну и ту же по два, по три раза. «Культура», значит, забралась внутрь. И этот волк, пришедший извнутри, еще резче оттеняет обреченность былого вольнолюбца, чем враг, пришедший извне («Кашкыр»).

Об'ект внимания Степного не Алчинбай, а абориген-нищий, у котораго осталась лишь сказка, растоптанная городом-культурой. Ее-то Степной и записал с его слов.

Кто бы ни был героем этой сказки—киргиз, башкир, казак, новосел, сектант,—Степной верен себе. Это бедняк, который бьется в сетях первоначального накопления. Позади же вольная степь, в которой курились никем не тронутые ковыли.

IX.

«Волга—сталь вороненная»; «мы сидели на высоком зеленом холме, а у подножия тихо струилась Волга», «вздохнула Волга, сбросила ледяные оковы, развернулись дни барыша, сутки страдания меньшой волжской братии»,—вот, где Устинов, беллетрист с Волги. Это беллетрист Волжской пароходной вольницы, сворачивающий с Волги и на реку Белую.

«Начав с быта,—писал Устинов мне, я неизменно двигался куда-то в сторону. Теперь я хорошо и ясно чувствую, народный

писатель из меня выйдет плохой». Он специализировался на сюжетах чисто интеллигентских. Напрасно! Рассказы его этого рода гладки, но в них нет того, что есть в его очерках и картинках жизни волжской голытьбы: нет чувства материала, которое так ценно в писателе. Правда, и в последних нет психологических моментов, ярко выраженных проблем. Но в них есть чувства, настроения, думы, характер людей, кормящихся на реке; язык образный и сочный. Таковы «Терькины горы», «В казарме», «На улице», «Жизель» (рассказ проходимца), «Разгар», «Страшен сон», присланный мне в рукописи «Погост». Сработаны они грубее, чем рассказы, в которых Устинов подражает Арцыбашеву, по зато в них тот опыт, который мы вправе назвать подлинным; в эпитетах, сравнениях, во всей канве рассказа он есть.

Прочитайте «Терькины горы». Это — эпизод, пережитый самим автором. На реке Белой это было, в Дертюлях — есть там такая башкирская деревушка, где «наши волжане рожь у татар покупают». Ночь глухая, дождь, ветер — что с цепи сорвался. На пароходе сам хозяин, горячий человек. До нитки пробило матросов. Позади — ночь бессонная: барки чалили. А хозяин из себя выходит.

— На берег! Живо! Подавай концы! О-о, голопузые! — И командир вторит ему:

— Лешка! Терка! Марш в воду — приним-а-а-ай!

Лешка и Терька-наметчик — конкуренты. Оба любят дочь старого лоцмана — Глафиру, которая отдает предпочтение то одному, то другому. Но тут Терька остановил Лешку: «Ты жрал?» — хмуро спросил он. — Нет. «Спал?» — Нет.

Терька сердито взял его за руку и потащил его в носовую. Дрыхай! Почесал загривок, подумал.

— Нет, давай-ка пожрем сперва. Позови матросов.

Но вот пришел командир, и Терьке пришлось разговаривать за всех.

— Работать не хотите, жулики?

— Есть хотим,—ответил Терька.

Командир было подступил с сжатыми кулаками, но Терька насупил брови, и тот осекся. «Мизгирь, а какой смелый», подумал о нем Лешка, на которого командир нагнал такой страх. «Не за это ли любит его Глафира Семеновна». Когда командир вылез из носовой, у Лешки окреп дух. Есть хотим и шабаш! Машина и та жратвы просит. Но ягодки были впереди. Командир позвал хозяина, и хозяин крикнул: работать не хочет? На берег! Терька быстро собрал пищер и вышел на палубу. У трапа его догнала Глафира.

— Я все слышала. «Ну?»—Вскинул на нее глазами Терька. Я с тобой пойду. «Ночью? В такой дождь?» —Все равно я с тобой. Терька склонил голову. «Люб я тебе?» — тихо спросил он. — Не знаю. Я с тобой пойду.

Ушел и Лешка, и старый лоцман с парохода. После бурного ливня расцвел яркий день. И вот четыре человека с котомками за плечами шагают прочь от башкирской деревеньки. Весело убегает назад серая змеистая дорога с яснеющей синевой леса; теплой лаской вздыхают пахучие поля, любовно греет мир горячее солнце.

Таков сюжет. И не хуже детали, делающие музыку в рассказе.

Обещания Терьки, его речь, ревность Лешки, самая сцена столкновения с командиром,—все правдиво.

Или — «Казюк и Лидка». В теплый вечер Казюк лежал в высокой траве, на берегу и думал свои думы. На другом берегу огнями рдел стоголовый город, а у подножия его, тихонько звеня, катилась Волга, и полосовали ее сотни судов. Казюк лежал, супонил пальцами волосатую свою грудь, а в голове тихо бродили мысли о прошлом, о деревне, о безрадостном и тяжелом, но на душе все же было светло: в одиннадцать должна притти Лидка. На небе дрожали звезды. Вот одна из них мигнула раз-другой и покатилась в поднебесьи. Лидка пришла, в белом переднике, босая— Казюк слышит ее голос:

— Бо-лезный мой... — Насупив брови, сидит он с вытянутыми ногами и смотрит на Волгу.

Лидка опустилась рядом на траву и поникла головой.

В городе равномерно прозвучало на колокольне одиннадцать ударов. Над Волгой—в том месте, где она завивалась за Косматый холм,—всплывал месяц. Посмотрев в лицо Лидке, Казюк убежденно сказал:

— Все вы на одну колодку шиты... все сволочи!

Казюк толкнул ее в бок, отвернулся и встал, вздохнув.

— Идем.

— Куда? — робко спрашивает Лидка.

— На квартиру. Мне рано вставать... Подряд большой артелью взяли—полсотни тысяч кулей. По пятерке на рыло заработаем.

Городская набережная еще кишела людом, и перед входом в трактир Казюк остановился.

— Пойдем пить?

— А муж?—замерла Лидка.

— Ничего. — Казюк махнул рукой.—Чорт с ним!

В трактире было душно. Пахло махоркой, воблой, мочалой. Казюк еще не был пьян, когда в трактир вошел муж Лидки. Муж подошел к ней медленной походкой, схватил за шиворот и бросил на пол.

Большой перочинный нож свалился на пол. Казюк рванулся, схватил и, крепко зажав его в руке, сунул один раз в живот, сунул еще раз... и еще... На грязный пол закапала кровь... А сквозь грязные окна на страшных людей смотрела равнодушно и безучастно влекущая к себе ночь...

Казюк выражается иногда так: «как узнаешь ближе, пустота одна — ни души, ни сердца»; а Лидка: «ведь сам наше счастье расколол». Это не идет ни Казюку, ни Лидке. Но все же и Казюк, и Лидка такие, какие есть в натуре.

X.

И Григорий Чудов волжанин. Но в пределах места, которое вспоило его, он не Устинов. Устинов любит город, большие дороги, людскую толчею. Чудова же—тихого и грустного—тянет подальше от людей. Чувство связанности с местом и его черта; но тут же и оторванность от своего угла, который так давит жаждущих света, тушит вспыхивающие огоньки.

Кого бы он ни изображал,—деревенского мальчика Антипку или скитского монаха, удящего рыбу, или «Онуфриюшку-пророка»,—все они носят в себе это выстраданное чувство. Там, где-то за далью снуют пароходы и бегут вагоны, унося людей к центрам. Здесь же факт жизни—одиночка. Ничего, кроме пьяных, грубых, голодных. Быть может, это имеет местный, а не общий интерес? Но от этого одиночке не легче. Все, что его окружает, темно. Выхода из угла нет, и греет их одна разве природа. Можно сказать, как правило: чем больше ожесточает их жизнь, тем ближе им природа. И она живет особой жизнью в их глазах, раскрывая свою сложность.

Как бы вы думали, кто такой «Неудачник»? А десятилетний Антипка, сын крестьянина-бедняка. Он смотрит строго, исподлобья, и за это Антипку не любят и говорят при нем: «злой парнишка, неудачник будет, по отце».Отец иногда выгоняет его на улицу вместе с матерью, и соседи рады такому случаю. Когда мать умерла, стала бить его отцова «приживалка« Синклитея. Так растет волченок, не зная ласки, под страхом постоянной «лупцовки». Но вот в дереню приехала учительница, которая привязала к себе Антипку, начала учить. Мальчик стал перерождаться под ее лаской.

Как-то подозвали мужики учительницу прочесть им одну бумажку. Бумажка оказалась прокламацией.

— Ловко ты, барышня, составляешь бумажки-то, — заговорили они.

Мужики неожиданно набросились на нее и начали бить. Знакомая картинка, каких не мало на Руси. Учительница умерла. Антипка, которого она взяла к себе, водворился дома, по прежнему получая лупцовки. Но теперь у него были книги, подаренные ему девушкой...

Отчужденность от людей и любовь к природе сочетаются в «Скучной натуре». Чудову пришлось пробыть несколько дней в В-вой пустыни, в монастырской гостинице. Проходя по извилистой, гладко утоптаной тропинке, по берегу озера, он заметил с удочкой монаха. Он сидел неподвижно и о чем-то думал. Однако, поровнялись, познакомились, разговорились. Автор жалуется, что его уже тоска берет в пустыни.

— Когда человек один, — отвечает монах, — нет у него ни суеты, ни тоски.

— Зачем одиночество? Ведь вас здесь много.

— Есть господин добрый, духовное разногласие... есть. В том-то и суть, что духовное разногласие. Только и хорошо, когда один здесь сидишь. Нрав у меня тихий. От многого уклоняюсь. За это меня скучной натурой прозвали.

— Кто же это вас прозвал?

— Есть у нас один из ученых, молодой послушник. Так он меня и прозвал меланхоликом. Так вот, господин хороший, какое тут духовное согласие? И я вот прихожу сюда всегда, чтобы не видеть суеты. Здесь, наедине, душа и поговорить может с матерью-природой.

— Природу любите?

— Как же не любить природу? Поглядите, какая она умная... не в пример умнее людей. Да, премудрые дела!... Человек слабее дерева... Немного похож на гриба, а разум ему дан... И на что, прости меня господи, ему этот разум дан? И откуда у него берется он? А силы ему не дано, и прожить он может меньше дерева. Выходит уж так: что человек сделал — дольше живет, а сам он возникает, как гриб, и увядает так же. Грешный человек... Когда думаю: как бы все это остановилось, не умирало бы... Красота ведь везде...

Начало садиться солнце. С трех сторон темной стеною стоял лес. И о. Ириней стоял грустный, молчаливый, как будто он что терял... («Терский Край, № 276—1911 г.).

XI.

Ильин-Морозов изобразил Ташкент, — судьбу закинутых в него женщин; Дорохов — частью Сибирское, частью Поволожское крестьянство.

Ильина-Морозова занимает внутреннее, Дорохова — внешнее. Так, в рассказе «Катенька» («Голгофа женщины») простая крестьянка, теперь уже городская, находится во власти проблемы смерти, которая ей отравляет жизнь. Автор развивает ей «идею общего блага», — «нужно лишь веру направить в другую сторону». Но Катенька ни жизни, ни целей не признает.

— Не знаю, когда смотришь на что-нибудь большое, широкое, становится так больно. Эта синева неба требует силы и мощи. А мысли, смотришь, обрываются. Человек такое загадочное существо. Все в нем короткое... Хочется найти конца и — нет сил. Что-то обрывается и — больно.

— Вспомнила сейчас о деревне.

Катенька рассказывала о Волге. Но и здесь звучало последнее «прости»...

— Тогда было хорошо. Я не знала этого — верила просто. А теперь? Черви замучили меня. Я боюсь их и ненавижу. Поймите только, что они с'едят ведь ту красоту, в которой все мы ищем бога. Вы привыкли видеть перед собой живого человека. Вы знали его характер, мысли. Вдруг... его не существует. Что же это такое? Где же мысль? Где бессмертие?

Рассказ Ильина-Морозова — пример внимания самоучки-бытовика к вопросам метафизики. В большинстве случаев поле их интереса — земное, слишком земное, то, что бьет так через край у Дорохова. Однако, крестьянская жизнь последнего носит уже слишком внешний характер. Его книга «Земля» — результат поездки по хуторам. К хуторскому хозяйству относится отрицательно автор, как и сами крестьяне в его изображении.

— Вот тебе и хуторяне, — говорит дедушка Игнат в рассказе того же названия. — Думали, как помещики жить, а на поверку иное вышло. Хотели сами себе хозяевами быть, а вышло, что хозяин-то нам теперь стражник об'явился. Да, ребятушки, так-то вот люди живут: помните, смотрите, сказку-то про веник...

Это едва ли отвечает правде; и думается о том, что поведал ее нам человек, уже оторвавшийся от деревни.

ГЛАВА V.

Беллетристы рабочей прессы. (1912—14 гг.).

I.

Новый беллетрист пришел в литературу—беллетрист-рабочий. Наряду с вихрем стихотворений,—множество очерков, сцен, повестей, рассказов. Строятся характеры, рабочий быт; смотрит в глаза жизни беллетрист-печатник, беллетрист-приказчик, беллетрист-текстильщик.

Рабочий-наблюдатель заговорил о труде, о жизни на фабриках, на заводах, о великом, о малом, чем живут в фабричных углах, в закоулках. Это натуральное хозяйство—царство умственного равновесия: паши, сей, соблюдай, что с тебя спросят. Другое дело—фабрика, где чувство напряжено: дайте лишь выход. Выросли рабочий журнал, рабочая газета, и рабочий-беллетрист понес свой вклад, как несет рабочий-артист.

Это—дитя рабочей культуры, в коллективных голосах ширятся запросы рабочие. Однако, значение беллетристов выходит за эти пределы.

По мнению рабочего Калинина («Журнал для всех»), художник-интеллигент мог думать за рабочий класс, но чувствовать за него не мог. Одно дело клубок идей, другое—тонкость восприятия, творческий вымысел. Перевоплощение ограничено.

Интерес к пролетарию у нас был? Конечно. Выражение в беллетристике получил? Нет. Ждет еще рабочий своего художника, ждет, по словам Калинина.

Кажется, об'ект творчества богатый. Рабочий еще молод, но пережито им столько, сколько не пережил за многие века крестьянин. Язык, взгляды, психология, семья, общественные отношения,—все формируется; вырисовываются особенности, столь обогащающие интуицию. Нет «стройности», теснящей кисть; куда ни глянь—материал...

То ли Иван Ермолаич? Конечно, о «стройности» и здесь теперь не заикнешься. И здесь «новые заботы». Однако, «сплошной» быт, «сплошное» равновесие, столь неблагоприятное для развития личности, налицо. И что же? Внимание оставалось на его стороне вопреки примитивности. Иное—усложнившийся мир фабрики. Не было тяготения сюда...

Быть может, темы рабочие интеллигенту недоступны? Капитализм концентрирует рабочих в городах, в промышленных центрах. Хотя и художник-интеллигент—сын города, сын промышленного центра, но пролетарий—в силу своего положения—изолирован. Центральные улицы—для художника. Для рабочего же—предместье, рабочий квартал. Днем на фабрике, остальное время в казарме,—ни на фабрике, ни в казарме не подойдешь к нему просто—так, как подходишь к Ивану Ермолаевичу. Иван Ермолаевич говорил народнику-беллетристу: «не суйся». Не имеешь ни права, ни резона соваться... Но то был не художественный запрет. Вникай,—только со стороны... К фабричному же рабочему и со стороны подходить не давали. Значит, уже материал неблагодарен. Но не в материале только дело, а в источнике художественного вдохновения. Материал не манил художника, он был ему чужд. Контраст бедности и богатства, необеспеченность существования родят специфические черты предместья—дух беспокойства, остроты, нервозности, то, что лежит в основе слепого протеста в одном случае, принципиальной вражды—в другом. В противоположность Ивану Ермолаевичу, рабочий непримирим—это особенность фабричной жизни, и художник-интеллигент отрезан был здесь от психологических корней. Вот роман П. Д. Боборыкина—«Тяга». Это хроника, а не роман—обозрение, тем более ценное, чем дальше оно от художественных целей. И наоборот. Подошел романист к фабрике с этими целями, и нельзя не воскликнуть вместе с Калининым: «избави нас бог от таких знатоков рабочих, пусть лучше совсем не берутся за это дело». Нет настроения, интуиция бессильна...

Рабочая психология с ее вкусами, с ее стремлениями не по нутру художнику-интеллигенту. Поэзия быта рабочего—не под силу. Но ежели так, кому же она по нутру? Беллетристу рабочей среды. Пусть он—младенец, его глаза—глаза фабрики.

Была «тьма», по выражению пролетария, и в ней томились люди, «не видя дня». «Но вот пришел кто-то.... пришел какой то богатырь, отвалил от пещеры камень, и блеснул луч солнца». Это—рабочий-беллетрист, уже фигурирующий в рассказе Клавдии Вольной. Вот он—в углу, за опрокинутым ящиком, заменяющим

письменный стол. Кроет белую бумагу черными точками—лихорадочно, упорно.

Сколько раз жена складывала тетрадки в кучку, прикрывала газетой, чтобы и вид их не смущал литератора! Сколько раз, разочарованный в себе, в своих силах, он сам решал бросить свои «бредни»! Но момент проходил, в голове звучала фраза, слышанная им на одной лекции, запавшая тогда в душу:

— У рабочих должны быть свои художники, писатели, поэты...

И опять мечта владеет им. Пусть жена сердито обрывает мечту: «самому не спится, так хоть другим дай»,—ему легко, так легко, как будто нет ни воркотни, ни бессонной ночи после трудового дня. Как будто перед ним уже читатель будущий, понявший, что автор свой, родной, близкий. Как будто то, о чем с болью, с мукой в груди написано, с болью, с мукой в груди уже читается...

Итак, не согрета, не обвеяна была литература рабочим дыханием, вопреки изобилию доктрин. Писатель, прильнувший к рабочему, идущий к нему со всей глубиной его переживаний,—писатель-пролетарий. Однако писатель — не только выразитель данной среды, но и продукт ее. Черты, свойственные писателю, прежде всего свойственны ему, как пролетарию. Значит, еще до произведения, до оценки этого творчества, стоит перед нами сам по себе человек. Что же обусловливает контуры их художественных запросов?.

II.

Достаточно заглянуть в физиономию нашего беллетриста, чтобы сказать: это не самоучка старого типа, отбившийся от своего брата-рабочего, вышедший в люди. Это—рабочий, не порвавший с фабрикой, прилавком, мастерской. Днем за станок, ночью за перо. Конечно, это борьба за право писать, борьба со всеми препятствиями, в которых живет рабочий. Тем не менее, даже печатаясь, даже получая гонорар за свои произведения, рабочий—тот же труженик-фабричный. Фабрика — фабрикой, литература — литературой.

Коломин-Мамистов — автор воспоминаний слесаря-рабочего (в «Русской Школе»; он же сотрудник «Правды»). Но как был слесарем, слесарем и остается. Жилунович—рабочий, который не писать не может; его мечта иметь свой угол, свою книгу. Беседуя с ним, забываешь, что это рабочий. Однако, работает он на кожевенном заводе, на заводе «Вулкан».

Иван Сибиряк («У стены», «Кассирша»)—наборщик. Матвей Губин (повесть «Егор»)—металлист. Рабочий Н. («Записки самоварщика»)—самоварщик. Гр. Шапир («Пастух») — приказчик Северо-Западного края. М. Сергеев — безработный. Н. Марусин, Д. Гордеев, Вл. Семичев, К. Пинежский, Е. Щеголев, Шпилев—все пролетарии.

Нельзя не отнести сюда и поэтов, известных и беллетристическими произведениями,—Д. Одинцова, Ал. Дикого.

Разрыв с фабрикой—следствие особых условий. Рабочий, скажем, закинут туда, куда Макар телят не гоняет. Бывает и так: был слесарь, теперь хроникер газеты на жалованье. Ведь без рабочих нет рабочей газеты. Рабочая газета, рабочий журнал только тогда стоят на ногах, когда у них штат писателей, связанных с фабрикой, отдающих литературе уже не ночи, а дни. И если я отмечаю, что беллетрист-рабочий, как ни работает над собой,—все же рабочий, то из этого не следует, что это без исключений.

Важна не буква. Психология труда налицо,—значит, безразлично, за станком рабочий или за пером, на заводе или в редакции.

Где родник художественных эмоций Л. Григорова? Труд, машина, прилавок. Вот даты его жизни. Поступил в обувный магазин—прослужил семь лет. После магазина—швейные машины. После швейных машин—полтора года на кирпичном и лесопильном заводе морского ведомства. Опять магазин писчебумажный и фотографический. Магазин оптический, магазин церковных и офицерских вещей.

«Однажды,—мне было тогда лет восемнадцать,—пишет Григоров,—я навалился животом на стойку, раскрыл записную книжку и стал писать первый свой рассказ. Это вышло совершенно неожиданно для меня; впервые захотелось писательствовать. Был я на удивление безграмотен, но кое-как связывал слово со словом, фразу с фразой. Что-то получилось. Но сколько стоило труда это первое произведение! Каждую минуту меня отрывали от писания покупатели,—едва только напишу строчку, как ввалится кто-либо, и летишь к нему навстречу с стереотипной фразой: что для вас прикажете? Продав пару туфель или ничего не продав, снова принимаешься за писание и так без конца. За первым рассказом потянуло ко второму. Увлекаясь, я не слышал звонка кассирши, звавшей в магазин из задней комнаты, где я забивался в укромный уголок. Звонок звонил, наконец, доходил до моих ушей, я выходил в магазин и плохо соображал, что оно такое тут творится.

Покупатель? Какой покупатель? Что ему надо? Кассирша шипела, как змея, злилась от моего, по ее мнению, «идиотского» вида. Однажды она захотела узнать настоящую суть моих занятий и накрыла меня с поличным. Произошел скандал—я чуть не вылетел из магазина на волю-вольную».

Здесь—эмоции труда, безработицы, многовекового унижения.

Суб'ективно перед нами—драма. Как бы беллетрист ни жил, к какой бы профессии не принадлежал, он не может не чувствовать, как далек он от самого себя. Художественная энергия должна облечься в образы. Но чем тяжелее обстановка — бытовая, интеллектуальная,—тем больше страданий. Сколько зародышей глохнет, чахнет, вымирает, не выходя из потенциального состояния!

Вот письма рабочих-беллетристов. В разное время попадали они в мои руки. Какой жалобой они звучат!

«Знаешь ли,—пишет один,—я переживаю грустные часы, не могу тебе высказать даже. И как же обидно на горькую участь!» «Я задыхаюсь в этой обстановке, которая меня окружает,—пишет другой. — Все существо восстает против той точки, на которой жизнь моя остановилась». «Трудно живется, товарищ!—жалуется третий. — Те, что стоят выше тебя, ставят твою личность, твое человеческое достоинство ни во что. Те, что находятся в таком же положении, как и ты, не хотят тебя понять—разве две-три личности могут разделить твои чувства?» «От трудов праведных прихожу домой не отдыхать, а работать еще усерднее, еще напряженнее... А дома жена больная, дитя больное, угол не убранный».

К счастью, ноты эти суб'ективны. Напор живых сил — и нет их. Нет рабочего-писателя, который бы в то же время не был деятелем. Распространяет рабочую прессу, заседает в просветительных обществах, в профессиональных союзах, корреспондирует с фабрик, с заводов, из других мест приложения труда, и его внимание настолько отвлечено, что ему ныть прямо и некогда. К тому же творчество,—какую бы ценность оно ни имело,—ускоряет пульс самочувствия. Творя, человек живет не своей жизнью. Он любит жизнь в ее целом, в ее размахе. Злые силы сами по себе, поэзия борьбы сама по себе.

И вот тот, что только что «сходил с ума», уже пишет: «рано или поздно я разрублю тот проклятый узел, который затягивается в мертвую петлю на моей шее!» «Теперь я буду терпеть, крепиться, утешать себя надеждой». Или: «как ценят мою драму? Хочется, чтобы труд не пропал даром. Если успех будет... о, возгорюсь с большой силой».

Рабочий-беллетрист активен. Давление сильнее его? Но жажда творчества еще сильнее...

«Ночевал в ночлежках», «бродяжил по Волге», «ел чорт знает что», перечислял он. Но жизнь делала свое. Жизнь делала оптимистов из людей, которые вовсе не оптимисты по течению своих дел, подрывая самую почву для нытья. «Страдал,—пишет Григоров,—но упрямо шел вперед. И сейчас жив, радостен. Стучит в груди неугомонное, беспокойное: да здравствует человек! Хотелось не раз оборвать жизнь, но что-то сильное, энергичное билось в душе, и черная мысль не находила отзвука в сердце. Хотелось бросить писательство, нужно было раньше пополнить образование, а потом уж писать. Но день за днем, месяц за месяцем, организм крепчал, образование пополнялось, и сейчас все прошлое кажется таким далеким, так ясно в душе звучит гимн: да здравствует жизнь!» Один конторщик послал свои рукописи И. М. Касаткину. Но вот он просмотрел, что давал для просмотра, и пришел в ужас. «Какое превратное обо мне вы должны вынести из них представление! Я не знаю, что это со мной было. Я должен вам показать рукописи, где вы увидите, как сильна, как глубока моя вера. Я не забыл ваших слов, что нельзя видеть жизнь в прокопченном состоянии. Огромное значение они имеют для меня». Сильный инстинктом, художник-рабочий не опускает руки, но шаг за шагом ведет свою стезю. Скромный из скромных, тихий из тихих— раз пульс забился—уже жизнеутвердитель. Насиженное место приступляет—думать нечего: «пару красненьких жене на пропитанье с ребенком и—на произвол судьбы». «Эх, чорт возьми! Сдурил я, что связал себя семьей, да еще так некстати». Писатель-пролетарий мечтает о столице, где бы он ни был. «Вот в Петрограде— я полагаю—жизнь интересна! И погода, как видно, не может помешать теперешним настроениям». «Там и чаще видишь подлости, произвол, разного рода несчастья, самоубийства. Но там, хоть с потерями, хоть с болями, как женщина рождает дитя, рождаются все-таки издания, хоть и сквозь сито сеянные, собрания, лекции, спектакли нашего брата, а здесь?». «Авось и на моей улице будет праздник!». И в самом деле — глядишь, беллетрист уже в Петрограде, меняет профессию на профессию, печатается в «Пути», в «Правде» или «Новой Рабочей Газете», в «Рабочем Эхе», «Кожевнике» или «Печатном Деле», в «Жизни для всех», «Огнях», даже в «Русской Школе»...

Беллетрист мужицкий прикован к тому строю, который критикует: он между иллюзией и фактом, небом и землей. Размаха здесь нет. Слаб и удар... Иное бытописатель рабочего класса.

Он—не «оборванец», не питается крохами, падающими со стола производителя. Он сам — производитель, только не путающийся между розой без шипов и шипами без роз. Это—художник-антагонист. Острота, натиск, размах, — на то и глаз зоркий, на то и нож острый. Рабочий-беллетрист стоял лицом к лицу с общественным фундаментом. Если же положения различных групп—своего рода наблюдательные пункты, которых не минует и художник; если от свойств этих пунктов зависит, что видит художник, в каком свете видит, как широко полотно, как далеки его дали, то перед нами ряд особенностей, лежавших в основе и пролетарского творчества.

Произведения его никакая статистика заменить не может. Значительны или незначительны они,—ни один исследователь, какого бы он направления ни был, обойти их не должен.

III.

Бытописатель фабрики менее художник, чем публицист, менее психолог, чем социолог. Перед взором беллетриста носятся образы. Взяться за перо заставила жажда творчества. Но общественный интерес преобладает. Благодаря этому, беллетристика пролетария носит и особый характер.

Ход развития беллетриста-рабочего показывает, что с художественного произведения он и не начинает, не гонится за художественной ценностью писания. Крепко бы схватить, верно бы передать пережитое! И рабочие газеты, и профессиональные журналы, и альманахи самоучек полны очерками, сценами, рассказами, наблюдениями, рассуждениями. Д. Жилунович прослеживает в «Дневнике рабочего» жизнь кожевенной мастерской, Коломин-Мамистов—слесарной, в которой «полпальца сдерешь... оторвешь содранную кожу и бросишь, грязью замажется и не хнычешь». Записки рабочего Н.—записки самоварнаго рабочего, которому заправилы заводские говорят: «Какой же ты рабочий, когда в шляпе ходишь да по театрам?» или «Как же ты, такой сякой, колбасу ешь—а? Ведь самоварщики—мы». Щеголев рисует условия перевозки на родину рабочих, строящих Амурскую дорогу, Павел Твердый—положение безработнаго, потолкавшегося в Полтаве и Нахичевани в тщетных поисках работы, затем «выплюснутого» товаро-пассажирским поездом в Баку, прокопченным нефтяной сажей; Алексеев—рабочий квартал после Лены. Здесь рабочий клуб, там рабочая харчевня, рабочая семья. Наблюдение цепляется за наблюдение. Нет плана,—авторы и не заботятся о нем. Читая, однако, не замечаешь ни языка грубоватого, неуклюжего, ни даже грамматических ошибок.

Чисто литературно разбирая, и это—очерк, и это—сцена. Полубеллетрист—не хроникер, не собиратель фактов. Нежно, бережно прикасаясь к ранам рабочей души, не допуская ни сделок с совестью, ни возвышающих обманов, он поднимается и на высоту.

Вот «Безработные» «Омскаго пролетария». Отчаянно, безнадежно сложилось положение автора за безработные годы. Тщетно искал работы—всюду либо отказ, либо «завтрак». Жить приходилось оборванцем, хуже всякого босяка. И вот как-то случайно—у ворот завода—знакомится он с таким же безработным-токарем. Несчастия сближают людей быстро, и вот они уже сообща ищут работу. Алехе повезло, значит, и нашему автору. Алеха устроился дворником; автор же начал искать работы, более достойной токарей, как представителей армии труда. Ну, какой же пролетарий согласится добровольно пойти в дворники? Но счастье на земле не вечно. На другой же день у Алехи выходит «конфликт» с барыней, которую он назвал не барыней, а Арипой Ивановной. Барыня решила, что уж горд он очень:—«Во-оно ты какой ферт!»

Опять на улице. Идут на ситценабивную, подгородную фабрику. Вот уже и город позади. Но темнело вечернее небо. И хотя уже вдали блестели огни фабрики, и слышался «сухой кашель» газовенераторных моторов, — решили заночевать в поле, прежде чем двинуться «ловить мастеров». Свернули с дороги и легли, прямо в рожь около межи. Шумела фабрика, от земли несло прелым запахом. И прогоняя ночной холод, приятели прижались друг к другу, накинув на себя пиджаки. Так и заснули, не зная, что это—последняя ночь общей их жизни.

Первым проснулся автор. Проснулся от страшной сырости и инстинктивно, в просонках двинулся в сторону Алехи. Отпихнул его, натянув на себя пиджаки. На угретом месте стало теплее. Но Алеха не замедлил произвесть точь в точь такой же маневр. Вдруг с дикой неудержимой злобой вскочили оба на ноги, готовые кинуться друг на друга—«продрогшие, голодные, остервенелые, как зимние волки».—«Ты что, сволочь!»—«Ах, ты черт!»—выкрикивают оба. И—в стороны. «Хотелось упасть на дорогу, прижаться к земле, как матери—вспоминает пролетарий—плакать голосом, выплакать всю тяжесть скитальчества»... Но пронзительный свисток фабрики уже визжит в воздухе, ревет, хохочет на всю окрестность.

Согласитесь, тема, которой позавидовал бы художник. Однако, ни резко очерченных характеров, ни художественно обработанных картин. Простота приемов. Здесь цель другая: «прописать». «Прописать» горькую долю.

Кто об ней расскажет, если обездоленный сам не расскажет—о тех лишениях, в которых бьется, истекает кровью рабочая жизнь... Конечно, легче это сделать в кореспонденции, — одной из тех, которыми забито любое рабочее издание,—но произведение беллетристики действует сильнее. Пусть это беллетристика с оговоркой,—все же беллетристика.

Когда безработный описывает заседание союза такими словами: «Баллотируя вопрос о забастовке, он сходит с трибуны, а товарищ Таня, нервно пожимая ему руку, торопливо говорит: «как вы ясно доказали неуместность частичных забастовок», и т. п. («Пристроился», Павел Твердый), то здесь нет натяжки, но описание шито белыми нитками. Нет натяжки и в такой характеристике: «В веселом говоре молодых отчетливо слышались слова: солидарность, союз, страхование». Вы ему верите. Но одно дело показать, другое дело — рассказать. Полубеллетристы лишь рассказывают.

Преобладание общественной стороны их дефект. Рассуждение, идущее рядом с изображением,—сторона слабая. В самом деле, обратитесь к беллетристам-рабочим чистого типа,—чувствуете, как этот дефект дает себя знать? В особенности у рабочих—сотрудников рабочих изданий. Издания эти сообщают свои тенденции своим беллетристам, и вот готовый шаблон вместо интуиции, изжитый агитационно-прокламационный стиль вместо красок.

Дело обстояло бы плохо, если бы рабочий выдумывал, а не вынашивал рассказ—так, как выдумывают свои произведения некоторые самоучки. О тех писаниях (часто превышающих несколько печатных листов размерами), которые подлежат нашему вниманию, этого не скажу. То у того, то у другого—в большей или меньшей степени—жилка беллетриста бьет. Захватывающие страницы есть у Дикого, Матвея Губина. Два-три штриха, и картина неправды, рабочей невзгоды перед нами и в реальном, и в символическом смысле, том, который в комментариях не нуждаются. Но вдруг... вместо штрихов этот комментарий.

Вот—очерк темной ноябрьской ночи, когда так собаки дико воют в предместье, и так трудно безработному, «пропившему на чай» последний пятачок («Безприютные», М. Сергеева). Итти некуда—нет работы уже месяцы. И автор с подробностями, конечно, знакомыми лишь человеку, который сам стоял у пустыря

вот с этаким прозябшим телом, с этакими окоченевшими членами, ведет бесприютного на огонек. Довольно стужи. Довольно падать в хаос осенней ночи, вставать, упираясь в мерзлые комья земли—будь, что будет. Вот дверь со скрипом повернулась на ржавых петлях. Что это? Избушка огородника, в которой уже нашли себе приют товарищи по несчастью... И рассказ, и разговоры людей бывших верны действительности. Нет лишнего. Поставить бы точку: рабочее горе передано. Чтобы рассказ произвел впечатление, надо лишь прочесть его. Но вот лежат на стружках, рядом, один возле другого. Лежат и не спят после волчьих шатаний, а декламируют: «Вот когда люди построют сообща корабль да машину поставят, то от общей работы—результат иной»; «кто потерял веру в лучшее будущее и рабочую-солидарность,—тому плохо», «чуть отбился от товарищества по какой-либо причине—и плыви» и т. д.

То же в «Понижении» Н. Марусина. «Эх, организация нужна,—читаете вы.—Если бы организация была, разве стояли бы мы, как бессловесные рабы, разве унижались бы? Ничего нельзя сделать, пока не придет настоящий день... Потерплю, буду твердить чаще: об'единимся, товарищи!» Это—последние слова. Читаете картинку тьмы фабричной, равнодушия заводского, благодаря которым мастер-рабочий вырастает в исполинскую фигуру,—читаете и заражаетесь. Примитивный в существе образ—все-таки образ. Только бы была жизнь, а не отвлеченность; только бы не резала глаза выдумка. А вот прочли последние слова—впечатление меняется. Уже перед вами не художник-рабочий, а рабочий-пропагандист, владеющий пером, сочиняющий фабулу; не картина, а иллюстрация на заданную тему. И хотя не рассказ выдуман, а конец,—этот вывод, долженствующий соответствовать направлению,—выходит все же, будто бы рассказ приделан к лозунгу: «об'единимся, товарищи», а не наоборот.

Отсюда и недостаток чувства меры. Как ни знает автор быт, как ни хороши его сцены, все-таки то здесь, то там словечком злоупотребит. А то и перспективой; есть два героя: эксплоатирующий и эксплоатируемый. Душевныя движения, привычки, взгляды, индивидуальные характеры, вся лестница различий,—в тумане. Быть может, для глуши, деревни, сплошного быта, сплошной мысли, где индивидуальная жизнь слаба, это промах некрупный. Но здесь, где патриархальное существование кончилось, где все в движении, и в процессе коллективного творчества кристаллизируется все особое, это—и дефект формальный, и де-

фект по существу. Написал пролетарий сказание: «Штрейкбрехер». Тема хороша, еще лучше—образ.

Начальство любит штрейкбрехеров. И мастера улыбаются, обещают много. «Не торопись, работай тихо, друг, не надрывайся». Действительно, не шла работа. В ночные окна, задернутые дымом, глядели призраки. Отравлена была душа, и в работе только брак. Хозяину не сделал, не сработал ничего. Чем же отравлена душа? Утром, у завода—думал шрейкбрехер — будет целый полк забастовщиков. Изранят, изобьют...

Вот утро. Спросил на всякий случай, защитит ли полиция. Была и минута колебанья: не остаться ли на заводе? Заколют, заколют... А!.. будь, что будет... Дернул, рванул он выходную дверь, и застонали, завизжали диким плачем петли. Потом—тишина. У ворот не только полк рабочих—совсем никто не ждал его. Полиция стояла... И он уже повернул за угол. Но вдруг... запнулся. Прямо напротив стояла женщина, держала за руку малютку. Отца за стачку взяли, и мальчик перестал играть... Молчал, не плакал. Глазенки вглубь ушли... будто бы считали оставшиеся дни печальной детской жизни... Вот мать вышла из-за дерева. Так и качается от голода, от горя. Вышла и рукой безкровной показала сыну штрейкбрехера и выразительно сказала: «смотри, миленок, вот он».

Шрейкбрехер дрогнул. Бежал. Проснулась воля бежать от детских глаз на край, на самый дальний темный край земли... Казалось бы, и все. Но автору мало. И вы читаете: «упал бессильный», «смотрел безумным взглядом», «последние дыханья», «последние усилья», «сорвал фуражку», «сыпал заработанные деньги»... Читаете и досадуете. Такой образ и столько лишнего! Точно от того, что штрейкбрехер трижды повторит: «убийца я», а автор—«бешеные крики», образ выигрывает. Конечно, таковы свойства той среды, к которой принадлежит рабочий-беллетрист. Рабочий слишком оглушен жизнью,—тяжкой жизнью своей,—для того, чтобы с о з е р ц а т ь не только отношения людей, но и природу. Без сомнения,—с развитием культуры—суб'ективизм исчезнет. Рабочий научится смотреть жизни в глаза. Но пока что этого нет. Пока что рабочий—в рассказе «В трамвайном парке»—говорит: «и зачем я теперь в бога не верю? Все бы был не один, а с кем-нибудь». Товарищ на его глазах запутался в веревке бугеля; десять сажен вагоном протащило... Но еще момент, и уже перед нами не рабочий Минай, а страстотерпец из «Братьев Карамазовых». «Общий плач бы, мировой, большой поднять... Рыданье мировое»... Помните «слезинку» Ф. М. Достоевского? Так вот и пролетарий

Минай: «Отплачивать поздно: застывает рука, срывается удар, забывается обида. А зарыдать бы, загудеть бы теперь же».

Больше всего «перспективу» треплет «капитал». Нет фраз, но риторика! «Его одутловатое лицо было красно от злобы», «трясущаяся фигура напоминала врасплох захваченного зверя»... Брюхо, пот, мозолистые руки.. Кровь, кровь, кровь... Это не жизни фальшь, но фальшь художественная. Психолог бледнеет, выступает пропагандист. На одной стороне это, на другой—то; разве это Чехов, Тургенев? Художник—прост, ни одной слезы не должно быть, ни одного слова не сказано о т с е б я. Даже на внешности и то печать «словесности». Внутренняя красота произведения тесно связана с внешней. Внешней отделке, напр., языку, нельзя не придавать значения, когда имеешь дело и с рабочим-беллетристом.

Пренебрежение к внешности у рабочего-беллетриста—пренебрежение того же рода: об'яснение—опять-таки в условиях. Рабочий борется за право писать. Он пишет после работы, разбитый физически, часто нравственно,—это не писатель-дворянин, пять раз рукопись переписывающий. Но пусть «красоту наводить» некогда; не в этом одном дело. Вот язык Ивана Сибиряка не блещет, но и не хромает, пока речь о буднях рабочих. И рабочие печатники говорят, как бог на душу положит—без лишнего. Но едва появилась высшая материя—кончено. Беллетрист бессилен против напора слов, и рабочий, сейчас говоривший языком рабочего, уж не говорит, как рабочий: «нам, рабочим, не следует удаляться от действительности», «нам нужно жить окружающей нас жизнью, вдумываться в ее сложные явления, бороться с ее отрицательными сторонами», «идеализмом и мистикой пусть ублажают себя те люди, которым нечего делать». В рассказе Марусина рабочий вопрошает: «поймут ли когда-нибудь, что если рабочие и дальше останутся такими же необ'единенными, а каждый в неминуемой и ежедневной борьбе за право жить предоставлен себе, то первый поставленный унтер будет властвовать не только над их трудом, но даже над совестью и личной жизнью каждого из них!»

Это ли язык рабочего! Не о понятиях речь. Понятия эти свойственны рабочему. Писать и то он так пишет... Но говорить так не говорит. То же слово да не так молвит. Не тот оборот, не та манера.

IV.

Итак, краски сгущены, герои порой сливаются в целое, а слова оторваны от уст, которые их произносят. И все же прими-

ряешься, отводишь произведению настоящее место, вопреки этим недостаткам. Дело в том, что рабочий—бытовик, бытописатель чистой воды. Рабочая жизнь течет у него день за днем, сегодня как вчера. Картина сама за себя говорит, только снимите наносное. Любой рассказ Марусина, Ивана Сибиряка, Сергеева—без ущерба для архитектуры—может быть подвергнут такой операции. И перед нами деловой очерк, продиктованный деловым чувством. Быть может, серый порой, но неизменно интересный. Документ, требующий внимания. Казалось бы, что может внести в литературу рабочий? Неразвитый, полуграмотный, хотя и одаренный... Для писателя ведь еще больше, чем талант, значат образование, культура.

И, тем не менее, в области быта рабочие-беллетристы говорят новое. Мир Губина, Ивана Сибиряка до сих пор—об'ект наблюдения скудного. Далекий от центральных улиц, он на виду внешним образом, но в своих переживаниях, в своей физиологии, психологии все-таки скрыт. Вот хотя неполно, отрывочно, но с большим опытом, с полной искренностью люди своей среды и развернули перед нами царство капитала и труда.

Конечно, будь у наших авторов хоть частица образования, каким обладали писатели, по рождению, по воспитанию, по умственным традициям принадлежавшие к привиллегированным слоям, то иное было бы и сказано не так, и освещено не так. Но быт—рабочий быт, рассказанный рабочими—остается в силе, все равно, фотографирует ли беллетрист или претворяет в образ. Поставьте рядом, скажем, Матвея Губина и П. Д. Боборыкина, независимо от таланта, от общественного положения. Вы чувствуете, что значит материал из вторых рук, и что значит непосредственно пережитое. Один пишет чернилами, другой—кровью. У одного—статист в красной рубашке, в смазных сапогах, богатая фабула, изобилие происшествий. У другого—происшествий нет. Вопреки лексикону, и «ужасов» нет. Но вся картина, нарисованная рабочим, не утаившим правды ни о себе самом, ни о тех, кто его ежечасно, ежеминутно оскорбляет, вся картина, им взятая, такова, что перед ней меркнет и Боборыкин, и талант, и образование.

Нельзя читать равнодушно, хотя бы автор и рассказывал смеясь. Вся жизнь рабочего перед вами, как есть, начиная с ученичества. Подрос мальчик,—отвели в мастерскую: «услужи всякому—старому и малому, среднему, последнему, человеком будешь». Осмотрел хозяин: «Мелковат! от такой мелюзги барыша ни шиша! только забота!» Но взял. Скрипнула дверь за матерью, и пошла выучка. В мастерской хоть волков морозь. Дрова сырые, а то в снегу.

Ежели не успел—беда! Начнет орать, а то двинет—костей не сыщешь. Митька, в сарай!—воды привези!—в кузницу!—ставь самовар, лупи картошку!—напой скотину, беги в лавку, щенка накорми, вычисти хлев!.. Да поскорей! Поживей, губошлеп! Повертывайся, поворачивайся! Винтом вертися! Одна нога там, другая здесь... Уморишься—утром хоть на вилах выноси. Все властны—он, Митя, подчиняйся. За окном тьма. Слышен храп подмастерьев. Но Мите не спится. Насекомые осыпают его, пиявят тело. И он думает: «как потрафить?» Но пошло учение,—стало еще хуже. Вбежит мастер: «щипанцы-рванцы. Варку сжег». Искры из глаз сыплются... Качай фанды! Сюда лети, коксу, углей! Дуй скорей! Грей, бей дюжей! Не угодил—щипанцы-рванцы. А то: «Митька! сходи за боковой оправкой к Коробину». Подошел к безбородому, известному скандалами Коробину: «дядинька, дай боковую оправку». Не глаза, а холодящие стекла выкатились: «го го-го... боковую оправку! Го-го-го... услужу». И железный толстый прут, извиваясь, как змей, опоясывает Митины бока.

Такова мораль: выколачивай лень, дурь—первый сорт мастер будет. И хозяина дули, как сидорову козу,—вот и знает дело. И лишь Павел, переполненный негодованием к кому-то, иногда бросал:—не спеши, а то изуродуешься...

Это—«Учение ремеслу» Коломина-Мамистова. Кто не слышал об этой выучке, об исполосованных детских спинах, а напишите так. Нет, «Учение ремеслу» по слухам не напишешь. Сочное, яркое, что есть в нем, выжигается в сердце, прежде чем на бумаге. Коломин-Мамистов нарушает несколько нить рассказа. Но так и хочется сказать: что за бытовая кисть у этого слесаря!

Учение кончено. Вот уже—слесарь, токарь, печатник. У заводских ворот. Осень, что ни говори, свое берет.—«Ну, и грязища! Чуть свои лакированные не потерял...» Это говорит не он, пришедший просить работу. Он смотрит помутившимися глазами. Простудился. То горит, то трясет всего. «Так долго ли и свалиться совсем», замечает ему кто-то.—«Как здесь дела-то? Берут слесарей?» Только рукой машут. «Эхма! Опять дальше двигаться».

Устроился,—та же маята, та же зависимость, что прежде. Вот инженер: слово «кризис»—его конек. Так и пишет на своих резолюциях: «нельзя—кризис». В делах заминка—рабочий виноват.

— Вы, господа, понимаете, так итти дело не может. Прошу вас помочь заводовладельцам пережить время кризиса («Кризис» П. Уральского).

Вот мастер. Без образования. Вышел из солдат в чине унтера. Но поступил по рекомендации начальства и быстро выдви-

нулся, не издавая ни звука против: «слушаюсь! хорошо-с!» Выдвинулся, и зычно, как команда, раздаются его приказания рабочим. «Хорошо бы бросить, уйти куда-нибудь на свет, на воздух из этой мастерской». Но язык не слушается. Куда уйти! Жена родит, в запасе, кроме долгов, ничего нет. (Н. Марусин.-«Понижение»).

Вот штукатур. Улыбается: последний день отработаю, вечером на чугунку... к своим. Потянулся грузно, торопливо чиркнул спичку—таял еще мрак. И на постройку. Антип рассуждает удивленно: «Эге... какие корпуса состряпали... Все наша братия»... Пробирается по хламу. Оглянулся: «Ишь! умудрило их в проходе вырыть творило». Ничего. Леса разветвляются, стены ровные; одна без отверстий. Нырнул смело, по привычке, в отверстие шестого этажа и скрылся. «Ты что... только шляешься?» «За штукатуркой», — отвечает Антип, а про себя огрызается: «Затявкал, барбос!..» «Поскорей!..» Стал спускаться. А площадка лесов смесью клейкой покрыта. В ненастную погоду нога так и скользит, так и раз'езжается. Точно под гору, по льду. Поровнялся Антип с тем местом, где «творило» внизу, поровнялся и — бух. Сорвался, гулко шлепнулся. В известь. Захлестнула известь Антипа («Штукатур», Коломина-Мамистова).

Картины труда с техническими деталями читателю со стороны кажутся излишними. Но они не излишни. Без них рассказ слесаря—не рассказ слесаря. Художники «по слухам» прежде всего грешат против техники...

Далее пред нами типы стариков и молодежи, стачки, проституция, семья.

Вся Новостроевка пошабашила. Канун пасхи. И Егор Однохотка, и Настасья... Но сынок, прости господи!.. Его в церковь посылаешь, а он: «у нас сво-я па-а-сха. Пе-рва-го мая»... Учить сына Егор уже отказался: с характером хлопчик. «Ты что же это, «товарищ», так и не пойдешь говеть?» — не может Егор удержаться. — А зачем? — «Как зачем! Или — желчно кривит рот Егор — «резолюция» такая пришла, чтобы не говели?»

А пасхи-то вкусные, — замечает наводяще Василь, пока батька в церкви. — «Вот-вот, — радуется Настасья, — а ну, попробуй. Не терпится»... Василь режет себе кусок душистой пасхи, отчего Настасья, предполагавшая, что он пожует да и выплюнет, приходит в негодование. — «Что ты? Что ты! Выплюнь, сейчас выплюнь!» — Грех плевать, — отвечает Василь в тон, — это дар божий. Пришел Егор со святостями, все приступили к разговенью. — А где же Василь? — «Спит», — отвечает Настасья.

— Ну, и пускай спит! — ворчит Егор. — Ну, и пускай, — посмотрим...

Другой образ.

— Ты что бледная, что фонарь газовый?

— Беременна я, что мне делать?

Если на работу не выйдет завтра — мальчика прислал хозяин, — расчет. Шурка, не ужинавши, уснула, во сне всхлипывает. Нагнулась Дарья Ермолаевна над кроваткой, отца вспомнила. Вчера еще встретила: пьяный, ругается на всю улицу...

Ветер злится. В щель окна бьется, насмешливо занавески колышет. Дребезжит дверь, и разряженная Женька влетает: — Даша, идем в ресторан, Троша с подрядчиком ожидает. Горевать после будем...

Пятый месяц беременна. — «Ой, ой, ой!» — стонет она. — «Ой, умру... умру», — кричит. На «бабку» смотрит с затаенной надеждой. «Потерпи, голубушка, потерпи», — уговаривает бабка, а в глазах профессиональное безучастие. Белье в крови, лужи на полу. Уже не верится, что бабка поможет... Круги в глазах зеленые, красные, фиолетовые. Бабка в круг превратилась... А этажем выше у извозчиков драка, окна дребезжат, медные деньги сыплются: «Бей ее, стерву». Ой, кости таза раздвигаются. Бабка держит, руками в живот упирается. Уже кругов разноцветных нет, мрак кругом. — «Бей ее, стерву!» — кричат извозчики...

Десять рублей взяла. Жалко. Ямку вырыла — сверток небольшой, как два фунта хлеба в булочной. Нужно и сак из ломбарда выкупить... В ресторан прямо? — спрашивает Женька. — В ресторан. (А. Дикий. «Пятна жизни»).

Вот трамвайный парк. Конторщик докладывает: — Сторож Власов выпустил вагон без пропуска. — Штраф, — говорит начальник. — Есть об'яснение: в суматохе не заметил вагона. — Штраф. Дальше. — Гражданская жена Прохорова просит пособия на похороны. — Отказать. Глядя кверху на электрическую лампочку, начальник протяжно раз'ясняет: общественное управление... э... может считаться... э... только с законным браком... А еще что?— Слесарь Васин ездил по двору безо всякой на то надобности. — Выговор и двухнедельное предупреждение, — уже не задумывается начальник.

Стачку изображает Иван Сибиряк, приказчичью психологию— Григоров («Птица в клетке»). Перед нами и рабочие интеллигенты, и рабочая масса. Всюду жизнь. Это — не наблюдения ума. Это — итоги пережитого; очерки жизни рабочей — без прикрас, без ломанья, без фальшивого подлаживанья, — освежают душу.

Мысль устремлена в одну сторону; ведь с героями своими одними цепями скован автор.

Литература должна говорить правду, — писал когда-то Решетников Некрасову. Если же правда важна в литературе, блещущей талантами, литературе привиллегированных верхов, то еще ли не важнее она здесь? Подслушать ее, высказать вслух—где труднее?

V.

Разумеется, быт — как ни богат он красками — материал, только материал: это мир фактов и отношений, привычек и нравов, мир случайного и типичного, особого и обычного. Быт и свою печать кладет на бытописателя. При всей изобразительности, характерной для бытовика, быть может, трудно указать область, в которой художник — член своей среды — так легко подпадал бы под мораль вещей.

Бытовику, как таковому, чужда динамика, жизнь в движении. Его сфера — статика, то, к чему мы привыкли, что уже окаменело с прочностью предрассудка. «Не своей волей живу» — говорит какой-то купчик Островского. «Не своей волей пишу», — мог бы сказать такой бытовик. Он отразил свою среду, свой быт, и эта среда, быт придавили его же своей тяжестью. Он не в состоянии подняться. И если беллетрист-социолог жертвует художественной стороной ради публицистической, поднимается на высоту общего, наперекор красоте произведения, то бытовик-фотограф — раб своих героев. Читаешь и не знаешь — пошлость ли это или примирение с пошлостью, обывательщина или реабилитация обывательщины? Перед вами родник образов, почва, язык сочный, как эта почва, а все же элементарное веет между строк, то элементарное, что держит в руках автора. Он не господин быта. Господин — сам быт.

Рабочий-беллетрист — социолог; уже в силу этого он «своей волей живет». Однако, я уже говорил: откиньте наносное, что делает из бытописателя фабрики пропагандиста, и перед вами — изобразитель в чистом виде, к которому приложимы те же черты. Подходя к рабочему-беллетристу с этой высоты, нельзя не отметить, что быт отнюдь не освобождает его от себя. Казалось бы, нигде неумолимое движение судьбы так не дает себя знать, как на фабрике. Экономический фактор, социальная необходимость— этот рок налетает на него со всех сторон, не дает подумать, углубиться, наполняет страхом перед фактом, перед укладом. Однако,

рабочий—не Иван Ермолаич. Разница между внутренним и внешним событием и анекдотом — не тайна здесь. Быт, рабочий быт не связан в его рассказе: есть движение вперед.

Бесспорно, чувство, инстинкт легче даются ему, чем интеллектуальная сфера. Темперамент, вкус, симпатии, антипатии, — все это — обилие возможностей. Интеллектуальный же мир строющийся. Но рабочий-беллетрист справляется, как может.

И вот перед нами в одно и то же время и документ, и вызов действительности, комкающей, уродующей существо рабочего.

Бытописатель и изображает власть фабрики, и вскрывает смысл этой власти, реальные отношения, лежащие в основе этой власти, бережно ощупывает и те раны, те вывихи, которые несет рабочему темный механизм. Быть может, интуиция рабочего ни одной фигуры не охватила еще так, как фигуру рабочего, со всех сторон омытого рекою случайностей, но уже ощутившего счастье быть **человеком**. Вот — «Егор» Матвея Губина. Егор не так давно из деревни, и ответ его колебателю той или другой из фабричных основ — представление «к начальству». Ему бы с‘ежиться, забиться в угол. Но «нынче» так нельзя. Ужас «нонешней» жизни, испуг перед ней омрачает тяжестью впечатлений, сгибает сознание куда-то. Еще напор неожиданностей, и Егор в «Манчжурии»—чайной союза русского народа. Однако, Егор—рабочий. Не может не чувствовать Егор, что правда светит, солнце греет. И вот из-под невзрачного, серенького облика зловеще проглядывает тоска. А тут еще толчек, — дает ему его учительница рабочей школы, в которую он попадает, уже обработанный Гамзей-Гамзеичем. Он шел по пятам учительницы, одержимый стихией. «Я сказывал тут,—сознается он ей, — одному человеку... о чем вы на уроке говорили». Но уже что-то бог весть откуда приходит, наваливается на душу. Такой эпизод разыгрывается. Мимо Егора проходит человек в рабочей одежде, — вдруг чувствует, ему суют в руку какую-то бумажку. «Ты что же это здесь?» — глухо говорит Егор. — «Ничего? Ладно же. Пойдем в часть». Рабочий ищет поддержки. Но Егор силен — ничего не сделаешь. «Давай бумажки-то». Вот и часть. Вдруг пристально смотрит Егор на рабочего, едва ли и видит его. Смотрит и — как бы говоря с самим собой — произносит медленно: «пошел прочь». Неуловимое движение души. Но эти неуловимые движения — уже атмосфера, которой он дышит. Дышит на фабрике, дышит в рабочей школе. Наряду с мерзостью запустения уже в душе «сущая правда». Так тонко, естественно приводит Матвей Губин своего Егора в больницу, где лежит учительница школы после демонстрации.

Этот рост личности — процесс освобождения из власти фабричных сил, слепой путаницы города, — прослежен и в рассказе Дикого «Пропасть». У Дикого мастер «выпрямляет личность» штрейкбрехера. «Взял мою душу — бери и деньги»... «Предателем меня сделал»... «Врешь—не с‘ешь, подавишься».

Вдруг приливает волна к душе человека, и запутанные узоры души становятся ясны! Становятся ясны извилины, тайники, закоулки ее. Вот еще нет личности, стерта, «замордована», по выражению Успенского, во власти фабричных приказов. Самостоятельности, способности уважать себя, постоять за себя, за свой риск не ищите еще. Еще личность рабочему в тягость. И ощущает он ее, как камень, тяготится ею, как больным местом. Но бьет час, и подхватывается этот камень, оживает больное место.

Рабочая беллетристика — свидетельство того, как жива душа пролетария, бьющаяся в трепете исканий. Это — галлерея типов, поднимающихся во весь рост, не улепетывающих от себя,—подобно мещанину, выглянувшему из скорлупы своей. Он не говорит: личное само по себе, общественное само по себе. Он дерзает «жить». Если нет дороги, нет тропинки, то анестезии души не будет. И болеет личность здесь иначе, чем личность мещанина. Не раз‘едается, а выпрямляется, так или иначе, в стачке, в рабочем клубе, в театре,—везде, где есть действие. Вот встреча двух пролетариев.

Еще недавно думали одно и то же, верили в одно и то же. Теперь Кураткин —«бывший человек»:

— Жизнь, брат, это — борьба, так нечего тут слюни распускать. Позвонили и — довольно. Пора своим умом жить.

— Так, так... Ну, а дальше! — волнуется Торцов; на губах скользит ирония.

— Тут нечего ухмыляться. Гордость, это, брат... ну, что твоя гордость? Мы де—пролетарии, мы де—рабочий класс. Ты не морщись, я правду говорю. Да! Я, брат, тоже бил себя в грудь. Кричал, что я—равный. А что из этого вышло? Потаскали ни за что, ни про что, чуть было не того...

«Бывший человек»—рабочий, вчера еще говоривший на массовках, в рабочих обществах, сегодня же—поумневший, метящий в мастера и пр.—не редкость в рабочей среде. Его отмечали рабочие кореспонденции — не мог не отметить и рабочий-беллетрист. Однако, это—отброс, и финал встречи характерен.

— Ты не думай, что я защищаю буржуев,—смягчается Кураткин—сволочь так сволочь и есть. Но ежели говорить в серьез...

Но Торцов уже надел шляпу, уже шагнул к выходу.

— Погоди. Куда же ты? Допьем пиво... Погоди, говорю, закуску подадут... Обиделся, что ли?

— Нет, не обиделся...

— Ну, полно! На, вот... рублишку.

Торцов достал гривенник, единственный, что у него был. Он без работы.

— Это—за пиво. А гордость, брат, подороже рубля стоит. Прощай.

Он устойчив, прямолинеен. Опекунов ему не надо. Вот как встречают Павла Твердого те, кто еще на его памяти клялся именем пролетариата: «сколько раз я вам говорила, Полина, не снимать цепи с дверей!» Ну, и Павлу их не надо...

Произошел перелом в душе, и прежде всего мысль, чувство, устремлены к массе, той, которая бродит, как в подземной тюрьме без свечи. И вот еще, что надо иметь в виду. Конечно, не вытесняй «вопросы» художника, изобразителя,—беллетрист-рабочий выиграл бы, как беллетрист. Но в то же время, правда, редко, но все же, глядишь, и тонкая передача разговоров партийных, книжной мудрости.

Вот рабочий клуб «Бывшего наборщика». После того как не разрешены были лекции даже «О значении и пользе кипяченой воды», «правленцам»—членам правления клуба—осталось разве в шашки играть. И играют: старик Горленко, трамвайщик, «правдист» и ликвидатор Крылов.—«Ну, что тут будешь делать!»—ворчит кто-то. Его каждая придирка полиции волнует,—«Д-да!—шутит трамвайщик.—Такое, хлопчики, время, что прямо в ликвидаторы запишись и кричи: желаю, чтоб свобода коалиции...» Партнер отвлекается на минуту от доски. «Погоди, еще не так приспичит. Тогда не ты один закричишь про коалицию. Это, брат, не из книжек». «Да я что ж,—все так же хитрит Горленко.—Я всей душой, хоть завтра». «А ты думал, почему тебе предлагают частичные требования? Когда у нас будет свобода союзов, собраний, слова и стачек,—тогда мы все остальное завоюем». «Так частичную, скажешь, легче получить?»

Два-три хода дамкой, и Горленко неожиданно спрашивает: «А коли б этой самой коалиции да одну только частичку взять,—оно б еще скорей вышло?»—Как так?—«Да так. Ты четыре свободы насчитал. Все ж таки четыре свободы не шутка. Добиться бы одной—свободы слова! Тут бы я и на завод, и в пивную, и в танцульку, и в «Народку»—слушай, народ православный! Я бы ночь работал, а день ходил,—как апостол, и все агитацию, агитацию. А тронуть меня никто: потому—свобода слова. Таких

бы хлопчиков с хорошей глоткой сотню на весь Петербург,— нехай их ходит по городу...»

Крылов уже понимает иронию. Кто-то даже заступается за него: «если говорить, так говори толком. Тут не балаган, а рабочий клуб...» Но из-за буфета уже взывает работница, член хозяйственной комиссии. Публика улыбается, тянется к буфету,— и «спорный угол» пустеет.

Итак, замечателен не материал только, драгоценный, незаменимый, но и тон. Беллетристы говорят иногда на разных языках. То, что одному кажется белым, другому кажется черным. Но способ восприятия, в общем, зависит от социально-экономического положения, и нельзя не признать: положение беллетриста-рабочего благоприятно для настроения цельного.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГЛАВА VI.

Первый вклад.

А. Чапыгин, И. Касаткин, Г. Гребенщиков, Ив. Вольнов, Семен Под'ячев.

I.

Говоря о Левитове в 1884 году, А. Н. Пыпин отмечал интерес, который представляла биография разночинца в то время: «разночинец пришел», а вместе с ним новый быт [1]). Конечно, «бытовая революция» наших дней—жизнь Горькаго, а не Левитова. Быть может, в условиях, немногим лучших, чем Горький, вступал в литературу разночинец. На упреки в недочетах Решетников отвечал своим критикам:

— Это правда. Но если бы я имел средства жить в отдельной комнате!

Отдельная комната—вот мечта, которую лелеял сын понамаря. В то время как художники-корифеи от Пушкина до Толстого росли в атмосфере дворянских гнезд, по рождению, по связям, по традициям принадлежали к слою, гордившемуся литературой, как своей привиллегией, разночинцы шли из среды низовой. Но среда эта открывала дорогу в среднюю школу. Художники же рабочие, крестьяне—подлинно самоучки, для которых и начальная школа—роскошь. Художники-самоучки! Но о ком собственно речь? Скажут мне: Горький,—спорить трудно—вписал свое имя в историю литературы. А затем рядом с ним? Поднялся ли хоть один до... Решетникова? Вот недоразумение, о котором нельзя не пожалеть.

---

[1]) А. Н. Пыпин. Беллетрист-народник («Вестник Европы», № 8, 1884 г.).

Герцен писал как-то Огареву: «кажется, нынче,—что вчера, вчера—что нынче, а посмотришь: сколько нового»... Так и с художником-самоучкой. Надо лишь «посмотреть». У Семена Под'ячева—«Собрание сочинений», у А. П. Чапыгина—«Нелюдимые» (I т.), «Белый скит» (II-й т.), «По звериной тропе», «Очарованные». Разсказы Касаткина—«Лесная быль»—вышли в издании московскаго товарищества писателей. У Ивана Вольнова нашумевшая «Повесть о днях моей жизни», «Юность». Г. Д. Гребенщиков—автор «В просторах Сибири». Все они признаны лучшими органами. Говорили о них мало,—чаще всего в рецензиях,—но говорили хорошо.

Не пора ли рассказать жизнь этих людей? Ведь то, что стоит за их произведениями, типично, до мелочей типично. Это поистине история того, как находит себе дорогу самородок, что ложится в основу его творчества. Как известно, народники-беллетристы описывали события, только пережитые. В еще большей степени это имеет место здесь. Рассказ продолжает биографию, биография—рассказ, и интерес ее—интерес социальный. Лет пятнадцать пишут Касаткин, Гребенщиков, лет двадцать Чапыгин, еще раньше выступил Под'ячев,—кто же такие они, откуда к нам идут?

II.

Когда низы описывает посторонний, вы чувствуете: наблюдатель сам по себе, все эти люди, полуголодные, озлобленные, с их «насекомыми», с их «водкой», с их «смертным боем», каким мужья бьют жен, жены—детей своих, сами по себе. Наш писатель не посторонний. Он на своей шкуре вынес свой рассказ: его правда—живая правда миллионов и прежде всего самого автора.

Пасынок строя должен испытать особенности этого строя с самых детских лет. Когда рассказывал свое детство Горький, казалось: то, что рассказывает он, другой, пожалуй, не расскажет. Но и Чапыгин, и Касаткин, и Под'ячев стояли лицом к лицу со всем тем, что Горький нам рассказал. Не успел ребенок окрепнуть, как он уже «добытчик», маленький пролетарий в магазине, на фабрике, в ремесленном заведении, в трактире. Уже у порога жизни нет любви, нет радости; нет уверенности, что будешь сыт, что не «дадут по морде», а есть обида, затаенная где-то. И когда Чапыгин говорит: «нет у меня ни надежды, ни веры» («Одинокие»), в самом деле, видишь: нет у него исхода из тисков, которые

сжали его сердце... Если это писатель-пролетарий, то знайте: он находится в тисках еще больше, чем просто пролетарий. По крайней мере до тех пор, пока случайность не извлечет его из этих пут. Особенно тяжело ему потому, что ему меньше дела до себя, больше до других, что мысль и чувство работают острее, чем у прочих; что не пройдет, не может пройти он мимо того, чего другой и не заметит. Вот почему не жалуется бытописатель ночлежки, подвала, рабочей казармы. Точно бухгалтер, подводит итоги пережитому. Конечно, это с виду. На деле же какая нервная нить за этим!

Выжимание пота—с одной стороны, низкопоклонничество, штрейкбрехерство, царство водки—с другой. Там уже где-то в тумане широкая дорога. Все же, что здесь—в быту, в домашнем обиходе,—давит, давит на каждом шагу. И чем крепче запор—жизнь, полная обид и контрастов, тем понятней отпечаток, лежащий на психике писателя... И вот, опутанный жизнью, что может внести пролетарий в литературу, где дарование значит меньше, чем культура? Если нет знаний, без которых нельзя шагу ступить, то дарование должно зачахнуть...

Однако, какие бы препятствия ни стояли на дороге, борьба за право знать, право мыслить, борьба за слово живое идет и идет. Разумеется, это драма. Драма, где самоучка борется с тем, что сильнее его... Уже школа—свидетель того, с каким материалом имеем дело, каков запас сил. Ум наблюдательный, живое воображение, память... Но вне школы не было ничего, и—способный, даровитый даже—мальчик брал то, к чему влечет ум, «самоуком». Из книги почерпал он то, что не давал ему учитель.

Вопрос условий,—отчасти индивидуальности,—какая книга попадет в руки. Горький до 15 лет развивался на «классических произведениях неизвестных авторов»... То же попадает и нашим авторам. Но вот в жизнь, полную тягот, «западает дума». А раз она заработала, не своротить ее Бовой Королевичем. Горький после 15 лет «возымел свирепое желание учиться», столкнувшись с поваром Смурым, который заставлял его читать Гоголя, Глеба Успенскаго, Дюма-отца, многие книжки франк-масонов. Правда, он легко убедился, что науки желающим даром не преподаются, вследствие чего поступил в крендельное заведение по 3 рубля в месяц... Но самообразованием уже веет в самом воздухе низов. Мы видим уже то, что еще в 1904 году так ярко описывал Н. А. Рубакин в докладе, читанном третьему с'езду по техническому образованию.

Разночинцы шли через среднюю школу. Помните, однако, жалобы Решетникова: «Я молод—мне 23-й год. Но ведь и моложе меня пишут, а я, несмотря на свои лета, кажусь стариком. Я не образовал себя так, как образованы наши литераторы». Будь у него деньги, он бы года через два себя образовал. Стал бы читать, думать, анализировать. «Так нет этого! Без этого я гибну; меня не хотят понять, презирают, давят сильные» и т. д. Так же Левитов, говоря Засодимскому: «какие у меня знания! Вот разве почитаешь что-нибудь и ладно» [1]), имел в виду не самые знания, а то, что не может, не умеет воспользоваться ими. Но то было когда-то. Наши же пролетарии вступали в литературу в момент умственной жизни, разлитой в народе,—нарастания интеллигенции, мысль которой поднялась до основ...

III.

Говорят, под'ем служил не знанию. Быть может, в среде интеллигенции было до некоторой степени так. В среде же низовой дело обстояло не так. Не спрашивают, что дозволено, что не дозволено. «Прут» наперекор стихии. Жизнь ухабистая, нервная. Многие чахнут, пропадают, а один... попадает на курсы, другой в университет народный, в просветительное общество рабочих.

Что-то сильное, энергичное бьется в душе, и вот эта борьба за право мыслить, с такими препятствиями, которых не сломила еще история. Чем хуже обстановка,—бытовая, культурно-экономическая,—тем больше требует сил. Чем больше требует сил, тем выше настроение. Такова уже психика этих людей. Много обид, но и много солнца... Путь в литературу через темноту, бесправие, конечно, еще сложнее.—«Нет у меня друга даже»,—писал в дневнике Решетников, В самом деле, первая встреча, первая связь важна для начинающего писателя вообще, для писателя-пролетария трижды.

Даже для Горького начался бы ряд скитаний, если бы в 1893—94 гг. он не познакомился в Нижнем с В. Г. Короленко. Ему обязан он тем, что попал в большую литературу, хотя на мысль писать натолкнул Горького не Короленко, а А. Колюжный, человек «вне общества». Наши же беллетристы начинали вовсе в потемках. Встречи, которые влияли, которые оставляли след, начались поздно. Да и связь не всякая выводит на дорогу. Много

[1]) П. Засодимский. Из воспоминаний (Москва. 1908 г.).

тропинок перепробует маляр или приказчик, прежде чем выйдет на дорогу, столь от него далекую. Вот она, эта дорога: «братья-читатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое». Помните, Суриков когда-то пересыпал угли из куля в куль. «Тяжело и черно. Сморкнешь—угольная пыль... О нужда, чего она заставляет делать!—восклицал певец-угольщик.—До умственного ли труда в это время?» [1]) Но Суриков был все же... лавочник. У пролетариев же и того нет...

Бросишь работу— писать можно, но жить нечем. Бросишь работу, начнется такая борьба за хлеб... Когда беллетрист признается: «пишу я еще слабо, развит я едва», то преисполнено это значения рокового, и из сердца летит вопль: «хочу бросить писательство», «чувствую, запоздал я». Конечно, это лишь вопль... Вслед за тем уже слышите: «чую—нарастает тяга в большую жизнь».

День за днем, месяц за месяцем, прошлое кажется дальше, все дальше. Но все же писатель-пролетарий—полуписатель. В противуположность разночинцу—полуписатель: Решетников, Левитов, Помяловский не имели никаких средств к существованию, кроме вознаграждения за их литературный труд. Можно даже сказать, что с тех пор литература и стала профессией, как в нее хлынули дети дьячков, понамарей, мелких чиновников, и Белинский был прав, находя, что человек с талантом, со способностями к литературе лишь в литературе должен находить «верный и благородный источник своего назначения»; что не может быть литературы там, где может жить своим трудом и поденщик, и разносчик, и продавец старого тряпья и битой посуды, но не может жить своим трудом писатель, литератор. Однако, хотя это так, полулитераторство своего рода фатум в рабочей и крестьянской среде.

Чтобы заработать хлеб литературой, надо отказаться, от работы, которой живешь до того. Но это невозможно. Пролетарий-художник прежде—пролетарий, а потом уже художник: надо быть Горьким, чтобы подняться так высоко...

IV.

А. П. Чапыгин.

«Родился в 1870 г. в Олонецкой губ. (на границе Архангельской)—в деревне «Большой угол». Дед по матери Роман Петушков был богат, упрям, крутого нрава. Есть слух, что смолоду

[1]) А. Яцимирский. «Из жизни народного певца».—«Образование». 1905 г.—№ 4.

Петушков занимался разбоем, потом брал лесные подряды. У него было крестьянское хозяйство, и был он хлебосол. Петушков выкупил из крепостных девицу и жил с ней. Дочь их Мария—моя мать. Петушкова убили на большой дороге, и мать вышла замуж за крестьянина Павла Чапыгина. Она была грамотная и меня выучила грамоте на 7-м году. 8-ми лет, придя в земскую школу, я мог уже читать и писать. В школе выделялся тем, что запоминал басни и стихи, но по остальным предметам шел вяло. Семья обеднела. Не было теплой одежды, а морозы зимой у нас большие до 30°. Мне, мальчику, приходилось часто, вместо школы, сидеть дома. Чтобы не скучать, сидя в полутемной избе, я брал из чулана книги, привезенные когда-то, и читал без разбора. Книг был навален целый угол, лежали они на полу. Но вот и мать умерла. С десяти лет я пас в деревне скот. А к 13-ти отец, живший в Петербурге в подручных дворниках, выписал меня в столицу и отдал в ученье к живописцу вывесок и икон на пять лет.



А. Чапыгин.

«Жизнь у живописца была нелегкая. «Ученье» начиналось с того, что будили ставить самовар, сходить за булками, помочь хозяйке няньчить ребенка, чистить картофель... Подмастерья посылают за водкой и закуской... Хозяин за листовым железом, которого навалили по $2^1/_2$ пуда... Вернувшись, простаивал на коленях пополдня, полируя старое железо под новое; навешивал вывески, ползая с кровельщиками по крышам домов. Подмастерья к вечеру напивались, грозились, иногда и били, но хозяин, соблюдая «справедливость», пьяным бить меня не давал, а сам бил, но бил трезвый. От безотрадного житья; от того, что не слышно было ни одного доброго слова за непосильные труды, я задумал бежать «домой» в Олонецкую губернию. Перед от'ездом я жил в пастухах—так и решил: приду домой и наймусь в пастухи.

Летним утром поднялся я рано и вышел на улицу. В кармане у меня было на всю дорогу в 880 верст 42 копейки. Прошел я пол-пути к Шлиссельбургу, прошел за село Иваново, забрался в лес и ночью залез на дерево. Привязался ремнем, чтобы не упасть. Заснуть, конечно, в таком положении я не мог; всю ночь слышал, как наигрывал в летнем сумраке ночной пастух на какой-то дудке. А тут еще разболелось бедро. Мастеровой, с которым я встретился, убегая из Питера, советовал мне так: «Захочешь повернуть обратно, тогда в первой же деревне зайди да попроси вывести тебя на Неву—на буксир, когда он барки тянет. Увезут бесплатно и ходить никуда не надо». Так я и сделал. Вернулся в Питер к тетке. Тетка сначала обрадовалась, но потом, когда пришел с парохода отец, — он был уже кочегаром на буксирном пароходе,—они поговорили между собой и отвели меня обратно к хозяину. Там меня «поучили», и жизнь продолжалась.

«Я любил рисовать, но хозяева рвали рисунки. Особенно этим отличалась хозяйка, пьяная, неряшливая мещанка гор. Кронштадта. Если я читал книгу, то книгу уничтожали, не спрашивая, своя она или чужая. Я стал рисовать в записную книжку. Когда же шли в мастерскую хозяева, прятал ее за пазуху блузы. Тогда же я непроизвольно начал писать стихи. Стихи были малограмотны, но я помню, что решил их писать много и собрать в книгу. Однажды как-то хозяина и детей не было дома. В мастерскую зашел ученик академии художеств заказать лакировку подноса. Увидев мои рисунки, он похвалил и просил принести, когда будет готов поднос. Книжку же мою с рисунками взял. «Познакомимся!» сказал он и ушел. Я с нетерпением ждал дня, когда снесу работу и увижусь с художником. Художники жили по несколько в одной квартире. Зайдя к одному, я познакомился с другим, тоже учеником академии Хлебниковым.

«Рассмотрев рисунки, Хлебников нашел их заимствованными, но стихи прочел и похвалил. «Есть свое, особенное». Вскоре я вышел из ученья, продолжая работать по ремеслу. С Хлебниковым сошелся. Даже жили мы с ним в одной комнате. Стихи (были у меня уже и поэмы) он исправлял, носил по редакциям, но безуспешно. Как-то раз я написал сказку прозой. Он ее похвалил и сказал: «Прозой тебе писать лучше!»... Я находился под его влиянием, слушался его советов во всем. Он не окончил академии, уехал учителем рисования в Вятку. Я же работал по мастерским. Продолжая читать книги, знакомился с людьмы. Я понял, что недостаточно быть грамотным; что надо еще любить то, что ты делаешь в науке, в искусстве, и только тогда узнаешь нужное тебе

для твоего дела, узнаешь побочно быт или природу—словом, все то, что требуется тебе для изображения, если ты хочешь быть писателем.

«Однажды—было это в 1896-м году—я написал рассказ и пошел с ним к Григоровичу. Он жил на Екатерининском канале, недалеко от Вознесенского проспекта. Старый писатель принял меня в полутемной прихожей, прочел длинное предисловие: «Чтоб быть писателем, батюшка, надо многое знать, очень многому учиться!». Я ответил: «Знаю и стремлюсь к этому». Рукопись мою он внимательно прочел, сделал пометки на полях рукописи, сказал, что напечатать нельзя, но просил заходить и приносить еще. Меня познакомили в то время с профессором музыки А. А. Сакетти, и он принял во мне участие. И советами, и знакомствами старался всячески содействовать мне. Через него я познакомился с Н. К. Михайловским. Михайловский познакомил меня с В. Г. Короленко. Короленко исправил один из моих очерков «Зрячие» из жизни босяков, и в 1904 году он был напечатан в рождественском номере приложений к «Биржевым Ведомостям». В 1904-м году я познакомился с писательницей Ан. Крандиевской. Она меня свела к А. Я. Острогорскому, издателю журнала «Образование», и здесь были приняты два моих рассказа: «Зимней ночью» и «Навождение». После того я стал печататься в журналах «Правда», «Вестник Европы», «Русская Мысль», «Журнал для всех», а также альманахе «Шиповника». В 1913-м году вышла первая моя книга рассказов, в 1914-м—вторая, в 1918 году — третья. Две первые в издании товарищества писателей в Москве.

«Не лишним считаю заметить, что Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко обращали внимание мое на бытовую, тенденциозную сторону литературной обработки. У Сакетти в 1094 г. я познакомился с учеником Римского-Корсакова музыкантом-композитором М. Ф. Гнесиным, написавшим много на слова Ал. Блока, и В. М. Волькенштейном, автором трагедии «Калики перехожие». Эти мои приятели обратили мое внимание на углубление литературного сюжета с эстетико-психологической стороны, а М. Горький помог мне в отношении широты понимания литературных задач, понимания вечного в литературе, т. е. того, что всегда истинно ценно и истинно художественно в искусстве».

V.

И. М. Касаткин.

«Я костромич, крестьянин. Родился в 1880 году в деревне Барановище, Кологривского уезда. Это глухой угол в верховьях

Унжи, в стороне, на границе северных лесных увалов Вологодского края. Там у нас знают лишь хлебопашество, смолокурение да дранье корья и лык на лапти. В мою бытность там чай пили из чугунов, зимние вечера проводили только с лучиной, а парились в русской печи. Там многие сивые старики за всю жизнь так и не удосуживались повидать свой уездный городишко. Лишь впоследствии оттуда возникли отхожие плотники, досягавшие даже до Питера. В этой глуши и проходило мое детство. Быть бы и поныне мне там, в виде бородатого, кряхтящего за сохой мужика, кабы не природные качества моего незабвенного, удивительного родителя, о котором можно бы написать чудесную российскую поэму. Отец мой, конечно, темный неграмотный человек, но всей своей жизнью явил он образ идейного непротивленца бушующему вокруг злу, доходя в этом до границ, какие, может быть, не мерещились и Льву Толстому. Это был сознательный бессеребренник и подвижник. И его во всем гнули всяческие неудачи. Из раннего детства у меня только и воспоминания о крайней нужде и прорухах: то пала лошадь, то деда-мельника задавило на мельнице, то за недоимки в студеную зиму в нашей избе описывают весь скарб—одежду, чугуны, ухваты, даже печные вьюшки, так что трубу затыкали тряпьем и соломой. В конце такой жизни отец, с обычным, ему присущим внутренним этаким просветлением, махнул на крестьянство рукой, и вот мы всей семьей пошли батрачить по усадьбам, а затем уже понесло и разнесло нас по городам.



Ив. Касаткин.

«Из жизни в усадьбах мало что осталось в памяти. Отец и мать были скотниками, и я, помню, в зимние вечера гонял стадо на водопой — на незамерзающую, бегущую по камешкам речку. Еще стоит в памяти, как живой, многосемейный сосед, старик Данило, который имел привычку, моясь в бане, выскакивать оттуда нагишем и кататься в снегу. Там же меня отдали в школу,

и я начал бегать в село, за три версты. Но так как моя обувь была «с разинутым ртом», то однажды в вьюгу я отморозил пальцы на ногах, и тем навсегда закончилось официальное мое образование. Но начатки азбуки я успел схватить.

«Чтобы покончить с портретом отца, вкратце изложу его правила жизни и наклонности... С молоду и до своей трагической смерти он не пил, не курил, не сквернословил (самое скверное ругательство—«лещуга»), всегда был молчалив, чрезвычайно скромен. После деревни и усадеб, уже в городах, впал в большую религиозность на особую стать: церковь и богослужение любил, но весьма не уважал попов, хотя это не мешало ему в скитаниях безвозмездно работать на них и в поле, и по домам. Так он и погиб на поповской работе: его задавило бревном, на лесной заготовке для попа дров, задавило не на смерть, но умер он, когда его с места происшествия отправили по коряжистой лесной дороге на телеге в город за тридцать верст. Он считал грехом для себя иметь лишнюю смену белья или какие-либо лишние вещи, а также и деньги. Он пешком исколесил всю Россию, живя, как птица. Не любил городов, городских людей и домов.

«Нас, детей, было трое: я, сестра и брат. Сестра, как и мать, ничем не примечательна, но брат Степан достоин удивления. Он жив и сейчас, иногда откликается мне, но я никогда не знал и не знаю, где он и чем живет. Он убежденный босяк и бродяга, всегда гол, как сокол, его по жизни как будто ветром носит. В последнем письме он мне откуда-то пишет из-под Москвы с каких-то болот. Рисует себя так: на нем старая, доставшаяся от какого-то блудного инока, сибирка, в каких рязанские девки по воду ходят, на одной ноге — опорок, на другой ящик из-под колесной мази...

«Когда и эти дела отбились, мы перекочевали в Кострому. Здесь я был отдан на первую мою должность, в пышечное заведение на набережной Волги,—подавал на стол горячие пышки, а в промежутки зазывал посетителей. Это летом. А зимою пристроился в церкви. Раздувал кадило, читал поминальники, бегал в монастырь за просфорами, за всенощной звонко отхватывал на клиросе «часы»... Вообще, к лику причта был сопричастен. В этом же городе торговал однажды «воздушными шарами» — знаете, для детей на ниточках... Но бедность одолевала. Отец наш человек был немножко «не от мира сего», и вот мы с сестрой начали ходить по миру... скорее — бегать: помню, весна была, по улицам ручьи, жижа, а мы, полуразутые, со двора во двор—в перегонки, и было весело, ежели подадут по кренделю, и еще веселее, если

где метлой выгонят со двора. Удивительное время — детство, юность! Все весело.

«Когда мне было около десяти лет, мы переселились в Нижний-Новгород, где отец, сбитый нуждою, стал «чудить», пропадая по полгоду и более. Ходил все «по святым» местам, «к соловецким» и т. д. Я—старший в семье, и забота о ней тут пала на меня, так как мать вечно «прихварывала». В это же время я впервой пристрастился к книжке, какая только в руки попадала. Таким образом, чтобы быть «ближе к делу», я избрал себе профессию — торговлю книжками. Есть такие (тогда любимые мною) книжки по копейке. Вот я возьму их десяток, два, да плюс еще копеечных крестиков, поясков, гребешков, и летаю из трактира в трактир, из харчевни в харчевню. В промежуток где-нибудь сядешь в уголок и книжку или две и прочитаешь залпом. В день выручал копеек до тридцати и прочитывал иногда до десяти книжек. Особенно любил, ежели про мужика... Да и мелькать с своим товаром любил больше в мужицкой среде, выбирал нарочно те трактиры, где парился чаем уездный люд. Потом, ради большего заработка, работал в затонах, на зимующих пароходах,—чистил котлы: маленький-то, в любой люк пролезешь. Малое время ходил масленщиком да простудился, заболел, слег.

В Нижнем, наконец, поступил в ученье к «золотых и серебряных дел мастеру». Тут полтора года был. Первое время с детьми больше няньчился, но потом, увидя, что я не дурно рисованием занялся, хозяин (хороший мастер по чеканке «ликов») допустил меня к работе. Я уже самостоятельно мог вычеканить простенькую ризу на икону, вырубить ажур хоругви, как вдруг хозяин закрутил небывало (пил он всегда и сильно)—так закрутился, что пропил все инструменты и вскоре ушел в Сормово медником. Побыв малое время в трактире половым, я тоже ушел в Сормово, где пристроился в вагонный цех, слесарем. С полгода пожил тут. Пробовал ходить на вечерние технические курсы. Но почему-то ушел из Сормова опять в город и долго болтался туда и сюда, с места на место. Жил больше в пивных «мальчиком», почему-то тянуло в места, где всякий «шляющий» народ. Жил в ярмарке и в таких пивных — «с девицами». Много воспоминаний, образов осталось... Славные люди среди этих девиц помнятся; да и после встречалось не мало. Было мне тогда лет четырнадцать. Затем как-то очутился статистом в Нижегородском театре, ибо понравилась игра Далматова, который тогда целый сезон тут пребывал. В конце даже роли,—маленькие,—давали мне, пока одну не провалил... Ушел — в посудную лавочку поступил...

«Уехал в Петербург. Слонялся долго без дела, ночуя за пятак на Обводном канале, в очень густом месте. Поступил к «золотых» и т. д. дел мастерству, но (столица!) работа моя не выдержала критики... Толкался долго в «рекомендательных« конторах, и если бы одежка, быть бы мне в выездных лакеях у барона Гинзбурга на Галерной. Вышел этот барон, вздернул носом и ушел, не сказав слова... Работу удалось найти, после голодного бытия, на электрической станции у бельгийцев, что на Фонтанке. Тут я осел прочно и надолго. Уезжал и снова поступал. Заехал раз зимой в свой родной городок, в Кологрив... Думал «золотых» дел мастерством заняться, но там их, мастеров, оказалось достаточно без меня. Весной потянуло, нанялся на дровяные барки и плыл на них до Нижнего месяца два. До Питера «зайцем» добрался.

«Читал в то время много и без разбору. Зачитывался приложением к «Родине» и т. д. Каким-то случаем сошелся в Петербурге с целым гнездом «писателей» (булочники, портные, сапожники и просто праздношатающийся, низовой народ), которые творили как раз копеечную литературу, которою во время оно я торговал в разнос. Тут были молодцы, которые могли, присев где-либо в харчевне, настрочить, в стихах или прозе, книжечку «про японца—макаку» (в моде было), про какой-нибудь чудодейственный «Лапоть дяди Кузьмы из-под Костромы» и т. д. Лихой народ! Тут же к вечеру, за рубль, за два эта книжица бывает уже продана «издателю народному»—их там много и теперь. Присмотревшись к этим писателям, надумал писать и я. Писал только стихи. Ухитрялся писать даже ночью на станции, дежуря у 1000-сильной машины, которая дает в минуту 160 оборотов и брызжет на тебя нещадно горячим маслом... Начав с масленщика, пройдя искусство маляра и мастера вывесок («не прикасаться—смерть»), я был тогда возведен в помощники машиниста. Было у нас, рабочих электрической станции, эдакое раздевальное помещение, и в нем висела на стене рамка со стеклом. В этой рамке, два, три раза в неделю меняясь, всегда висел эдакий сатирико-юмористический бюллетень жизни станции, начальства и т. д. Это были мои труды. Тут воспевалось в стихах все, что брело в голову.

«Но уже накопилась у меня тетрадочка и «серьезных стихов». С кем поделиться? Я послал ряд своих стихов в «Родину», и стихи были быстро все без исключения помещены. Это меня как-то поразило и окрылило. Решил добраться до знакомства с «настоящими» писателями и руководителями, каковыми считал тогда Каспари и его соратников. И однажды добился, в очереди с другими, свидания с Каспари. Разговор был краток и для меня ужасен. Я шел, чтобы услышать высокое слово: как писать, что мне не хватает и т. д. А он мне и рта раскрыть не дал, узнав, что дело идет о стихах, а лишь сказал, что за стихи гонорара он не платит, особенно новичкам... и торопливо подал руку: до свиданья! А в приемной сидят все эти Светловы, Крутояровы и иные длинноволосые, «настоящие» писатели, как я думал, и мне недоступно с ними поговорить...

«Подсунул тетрадочку механику Казимиру Казимировичу Вольф, человеку светскому, в пенснэ, говорящему к каждому слову: «э-э, что?» Прошло три, четыре дня, неделя—молчит. Забыл? Спрашиваю его, а он: Э-э, знаете, стихи ваши... э, что?.. мне нравятся. Я их в «Новое Время» отправил, редактору. Зайдите туда и... э, что?

Там, в «Новом Времени», вздернули меня, масляного, лифтом как-то на высоту. Сидит тучненький человечек, до головы бумагами обложенный. Пригласил сесть а сам пишет... Кончил—и:

— Так это вы, значит?.. Прекрасно. Стихи очень хорошие, да, но я не знаток. Я, знаете, отослал их Константину Константиновичу Случевскому. Идите к нему, он вам поможет, он любит молодежь. «Отец молодости»—так и зовут его.

«Тогда я еще и понятия не имел об «окрасках» печати, литературы и деятелей слова вообще. Мне представлялось дело просто: раз человек пишет, значит, он должен быть «хорошим», особенным среди людей и не может быть «плохим»... И вот я в покоях К. К. Случевского. Лысый, высокого роста, в сюртуке с шитьем и с треуголкой в руках, при шпаге (он только что собрался ехать в «Правительственный Вестник», где был редактором). Усадил меня против себя, за очки заложил еще вторые очки, карандаш в руки и—начал. Предварительно похвалил, затем стал указывать технические недостатки, затем слегка похаял за выбор тем... А писал я почти только на «гражданские» мотивы. Направил меня отечески и отпустил, приглашая непременно заходить к нему хоть раз в неделю. Ходил я к нему не особенно часто, его «пятниц», на которых бывали Фофанов, Лохвицкая, Голенищев-Кутузов и другие, избегал; хотя и был званным, но боялся многолюдия блестящего и стыдился костюма, блестящего от масла и сала. Технику стиха понемногу стал усваивать, это мне нравилось, но не нравилось, даже раздражало на особую стать то, что «отец молодежи» не только не дает воли касаться «гражданских» мотивов, но буквально запрещает их,—я чувствовал, видел—даже раздражается сам, цитируя мои стихи и зачер-

кивая добрую половину их тут же... Была такая сцена. Рассматривалась новопринесенная мною тетрадка. Карандаш загулял во всю, «отец» заметно нервничал.

— Ну, подумайте только...—встал и заходил кругом стола.— К чему, где толк поэту говорить о вещах, которые столетиями, даже тысячелетиями складывались между людьми, ненарушимы, освящены законами. Разумная власть—священна. Богатые и бедные существовали при царе Фараоне, существуют и теперь, будут существовать во все времена впредь.

Задумчиво подошел к окну. Была весна. Утро.

— Вы—поэт, и должны, призваны писать иное... Вот вы идете сейчас по шумным улицам. Тысячи людей—богатых, бедных, печальных, радостных—бегут, едут, идут туда, сюда... Синее, глубокое небо, яркое теплое солнце обнимает лучами землю. Все полно смысла, красоты, радости. Но вот вы видите: по широкой шумной улице, под ласковым солнцем, движется погребальная процессия, тихо движется серебряный скорбный балдахин, покачиваясь, словно прощаясь... Вот вы, как поэт, тут и задумываетесь: жизнь и смерть... Что есть жизнь? Что есть смерть?

И так далее. Передаю приблизительно, насколько помню. И однажды, после такой беседы, я забрал свою тетрадочку и ушел навсегда. Даже стихи писать бросил. Уехал на Шексну и провел лето на лесопильне известного Журавлева, болтался среди крестьян, среди заводских... А полезного все-таки получил от Случевского не мало. Наиглавнейше: о смысле и форме художественного слова, образа. И в зиму снова в Петербург. Читать продолжал, много читал, но удивительно, что мало хороших книг попадалось как-то под руку,—все больше те же приложения к «Родине», иль что купишь на толкучем. Но подходило то время, когда начал уже шевелиться рабочий, когда в наших невзрачных квартирах замелькал интеллигент отовсюду, заработали кружки... И подхватило, и понесло... Жил я по углам, на койках, народ около меня был самый разноперый, но не умудренный настолько, чтобы двинуть куда-либо мою мысль и волю. Наконец, я задумал и перетряхнулся в комнатное житье. А по соседству студент, очень милое, но толстое существо, и книг у него горы, и людей вокруг него вертится много. Тут-то и открылось, что я ровнешенько еще ничего не знаю. И оказалось (вот странно!), что те солидные книги, что в витринах, можно и мне в руки брать. Почему-то мне подсунули Писарева,—у меня и глаза на лоб полезли... Здорово! Тут замелькали еще люди и ввели меня в некий кружок по самообразованию, затем в подпольную работу.

Это было в 1901 году. А в следующем году я уже сполна вошел в партийную работу, причем специализировался на писании прокламаций.

В те дни как раз имя Максима Горького вешней свежиной веяло в воздухе. Первые его произведения,—«Дружки», «Емельян Пиляй»—прочел в маленьких книжечках. Сильно понравилось. А уж первый его том мы, в рабочем квартале, где-то в огромном, грязнуще-вонючем доме, в каморке с живодышащими перегородками, читали и обсасывали каждый абзац... И помню длинную чахоточную фигуру друга моего, рабочего, который буквально горел, читая и про чижа, который лгал, и про сокола, и про Челкаша. Потом вскоре он в тюрьме и догорел.

«В зиму 1902-го года много мелькало в моей комнате людей. В чердачном помещении у меня был заведен целый склад нелегальной литературы. Странно оглянуться, прокламации моего письма—сплошной лирический крик возмущения—принимались рабочими и понимались очень хорошо. Писал я отдельно к рабочим Лаферм, Штиглиц, мыловарни Жукова и многим другим так: сначала исследовал данный завод, брал все факты тамошней жизни в этакий ком, переваривая по своему в простых, задушевных иль гневных словах, адресуя тем, кто так трудно и дико живет. И вот Спиридон - мыловар, и ткач - Гречушкин, и Дарья - папиросница сразу оглядывались на свою жизнь по новому... Помню, печатали мои прокламации в партийных кругах без больших помарок, и мне было и радостно, и лестно самому следить за истовыми читателями моего слова в тех каморках и закоулках, куда это слово кидалось. Хорошее было время. Кончилось оно в Питере тем, что мне пришлось бежать в Тверь: пришли с арестом. Из Твери после ряда приключений, через Москву, добрался я в Воронеж. Там, по недостаточности явки, меня временно не признали, и я без паспорта—с месяц—питался неизвестно как и чем и жил в степи. Впоследствии там мною была написана и партией выпущена исторически первая прокламация в этом крае. Заработав на поденной слесарной работе на дорогу, я из Воронежа выбрался в свой Н. Новгород и тотчас же там на Ковалихе, в квартире старика Ягоды, с одним товарищем (Иваном Мокруевым) установили типографию и приступили к работе. После выпуска двух-трех прокламаций типография провалилась, нас с Мокруевым арестовали, и тут я на долго—вплоть до 1905-го года—просидел в тюрьме. Вот в этой самой тюрьме и начал писать прозой. Там написаны первые две вещи, которые, спустя год, были напечатаны в газете: «Судоходец».

«Вышел из тюрьмы, и хорошие книги появились в таком изобилии, что не знал, за что и схватиться. Товарищи начали угощать Плехановым, Богдановым и т. д. И читал я на пропалую. А книги такие толстые да мудрые, часто не понимаешь ни бельмеса, а читать надо... Дальше маленькая катастрофа, и я живо собрался в путь-дорогу. Побывал в Твери, потом в Москве, оттуда в Воронеж, из Воронежа в Нижний-Новгород... Здесь опять в тюрьму засел. По выходе поступил вскоре в Нижнем к «Вакуум-Ойль Компании», и год 9 месяцев раз'езжал по фабрикам и заводам, предлагая американские «высшего качества» минеральные масла. В Нижнем в это время женился. Снова писать начал после двухлетнего промежутка. Начал в газетах печататься — в «Судоходце», «Нижегородском Листке». Спустя долгое время, надумал послать М. Горькому несколько своих вырезок. В это время я с семьей, влекомый чем-то смутным, забился в глухой край Костромской губ., жил в лесу надсмотрщиком на клепочном заводе... Горький вник в мои дела, некоторые рассказы весьма похвалил, за некоторые наклал по шапке, словом, завязались отношения, и через годик я был пущен первым рассказом в сборнике «Знание». Это лучший из всех моих дней!.. Напечатание этого первого рассказа («В уезде») совпадало с моим пребыванием опять в Нижнем, тут я редактировал газетку торговую—«Нижегородская Биржа». Потом лесным кондуктором служил. Но плохо быть пролетарием с вожделением к творчеству. Вся жизнь проходит в неутомимой погоне...

«Печатался в сборнике «Знания», в «Заветах», «Северных Записках», «Журнале для всех», но отсутствие досуга становилось пыткою. В 1916 году Е. П. Пешкова срочно добыла меня в Москву, и я поехал на западный фронт сочинять детский отряд по подбиранию беженских детей сирот. С этими детьми я там провозился вплоть до лета 1918-го года, даже не мог убежать со своими, когда немцы занимали Минск.

«Так-то вот скакала жизнь, и разветвлялись в разнобой время и силы. В годы революции, как и войны, все не удавалось оглянуться на себя, пришпорить себя в писательском смысле, на художественных путях. Л. М. Клейнборт определяет то, что я успел в разное время написать, как ненаписанную поэму. Оно так и есть. Как и вся жизнь моя—нестройные мотивы поэмы, обрываемые в зачатке. «Лесная Быль»—книга моих рассказов—сейчас выходит третьим изданием. Издана мною сказка «Тяпа» в стихах. Сдана в печать вторая книга рассказов.

VI.

Иван Вольнов.

«Родился в 1885 году в селе Богородицком Орловской губернии. Родители — крестьяне, самые бедные в селе. Родился в курной избе, маленькой, пятиаршинной. Лет до семи был очень болезненным. Помню, это время никуда не выходил из избы: не было обуви, одежды. Сторонился сверстников: они смеялись над нашей бедностью. Отрочество вылилось в мечтательность. Целыми сутками, бывало, просиживал где-нибудь в углу и думал-думал о чем-то. Крайне любил нищих, которые рассказывали о других деревнях, неизвестных мне людях, событиях... Отец пьянствовал, бил меня, мать выгонял осенью, часто зимою на улицу, и мы ночевали или в сенях или еще где-нибудь. Ночами часто плакал. Просил бога, чтобы он убил отца. Оттого что не было одежды, не ходил в школу. А потом, когда научился читать (лет девяти) в церковной школе, жизнь стала праздником. Каждый день мне приносил радость. Все отошло на задний план: побои, бедность, голод. Физически стал крепнуть и развиваться. Читал всякую печатную строку, обрывки газет, календарей, часословы и пр. Потом у нас при волости открыли земскую библиотеку-читальню. К одинадцати годам читал классиков. Я был как глухой, слепой. Не видал окружающей жизни, да она и черезчур страшна была, — день и ночь читал все подряд, что давали в библиотеке; меня пытались заставлять работать, я и сам пытался помогать; но как-то неладно выходило.

Меня не заставляли насильно работать. Я был один у отца с матерью; быть может, это заставляло их жалеть меня, а, может быть, им нравилось, что я учусь. Кончив свою приходскую школу, я стал ходить верст за пять учиться в двухклассную, тоже церковно-приходскую. Там впервые узнал о существовании географии, истории и т. д. Это меня привело в такой восторг, что я просил учителя, чтобы он сразу рассказывал мне все науки, какие знает, и давал все книжки, «какие есть на свете». И в эту полосу своей жизни я был застенчив, сторонился товарищей, так как ходил в лохмотьях, от которых пахло копотью курной избы, а там учились дети лавочников, дьячков, богатых мужиков. Учитель начал отдельно заниматься со мною,—это было хорошо. Я не умею передать радости, какою я горел в ту пору. Я боялся, что ему

надоест со мной заниматься. Крал у отца последние копейки, покупал учителю водку, чтобы он учил меня; мать закладывала свои тряпки и давала мне деньги. Месяца через три, четыре уже учиться у него было нечему; «все книжки, какие есть на свете» по истории и географии, были прочитаны. Тощенькие патриотические учебники... Читать больше было нечего. Еще три года ходил в эту школу, все надеялся узнать что-нибудь новое, но не узнал. Зубрил катехизис, псалтырь, порядок богослужения. Увял за это время. Никто-никто не хотел или не мог помочь... 14- лет поступил помощником учителя в приходскую школу верстах в тридцати от родины. Учителем был дьякон, который почти не посещал школы. Ребят было много. Учеба сводилась к заучиванию молитв, чтению и переводу на русский Евангелия. Не любил я этого. Стал учить истории, географии. Пособий не было никаких, даже учебника. Многие не верили и говорили: «брешешь ты, Иван Егорыч». Я, бывало, божусь им, что не брешу, что так в книжке написано, требуют: «покажи книжку». Книжку не показываешь, значит, брешешь». Не раз плакал в классе, просил верить, что земля меньше солнца, что она кругла, что на ней набиты «железные обручи»,—паралелли и меридианы... Стал было учить их языку офеней, которому выучился у рязанских шерстобитов,—дьякон пригрозил прогнать из школы. На следующий год отказался: самому нечему было учиться.

«Получал я за это ученье пять рублей в месяц жалованья, но отдавал отцу, а сам жил в церковной сторожке, и если, бывало, поповы работники позовут пообедать, — сыт, а то и натощак ложился. Помню, среди учеников у меня был товарищ-одногодок, сын нищей. Нищая весь мясоед и пост болела. После занятий в школе товарищ надевал сумку и шел побираться. Принесет несколько кусков, пообедаем, накормим его мать и—хорошо. Мне, как помощнику учителя, ходить по селу побираться было неудобно. От 14 до 17 лет занимался хлебопашеством. Летом, кажется, 1900 года получил от родственника письмо, что можно ехать учиться в Курск, в учительскую семинарию, в которую принимают и мужицких детей. Отец дал три рубля, и я попал на конкурсные экзамены. Дико было первый раз в городе. Он мне показался раем. Ночевал, где попадется. Решил непременно поступить. На улицах около каждой церкви становился на колени, долго молился, чтобы поступить. А сам—пыльный, в больших чужих сапогах, лохматый. Горожане останавливались, рассматривали меня. Помню, на экзамене по русскому языку предложили написать пересказ: «Голубь» Пушкина. Я целиком переписал его на память. Директор на

следующий день спросил, почему я написал самое стихотворение, а не пересказ. Я ответил: «лучше не написать». Пожал плечами, засмеялся, похлопал по спине... На экзамене естественной истории предложили мне «рассказать что-нибудь по естественной истории». Я никогда не слышал, что такое естественная история, «отчибучил» им по библии историю царя Соломона, все с мельчайшими подробностями. Поп, член комиссии, пришел в восторг: «Это, знаете ли, лучше козявок да тараканов». Я думаю, при чем тут козявки с тараканами. «Аль что напутал?» — спрашиваю. Одни смеются, естественник морщится, а поп: «Ничего, очень хорошо. И всю священную историю этак знаете?» — «Всю, говорю. Библию, евангелье и апокалипсис, и катехизис»... Меня приняли.

«Учился много, но ненавидел учителей, которые брезгливо относились к нам, называли нас чуть не хамами, на каждом шагу подчеркивали, что мы неучи, неотесы, едим, как животные, сопим и чавкаем, как свиньи, обовшивели, как арестанты, и т. д. Какая мука им, воспитанным людям, возиться с нами! И ни один из них никогда не показал нам, как надо ходить, пить, есть, одеваться по городскому. Издеваясь над нашей неотесанностью, они доводили учеников до того, что те стыдились своего мужицкого происхождения; приезжавших проведать их отцов выдавали за работников.

«Я перестал учиться: противна стала их наука. Правда, все легко давалось мне — урывками, удачами застревали в голове сведения. С этими поверхностными сметками наук так и остался жить: революционная работа не давала возможности пополнить знаний. Остались воспоминания о словеснике Кашенском: он первый познакомил нас с Чеховым, Короленко, Гаршиным, Горьким. Вскоре стал бывать у земцев, читать нелегальную литературу... 1903 год был уже поворотным в моей жизни. Почувствовал, что есть то дело, которое я должен делать: жизнь деревни была лучшим пропагандистом, толкнувшим меня в революционную толчею. Отдался ей всей душой и всеми мыслями, стал ею жить. Это стало Евангелием. Снова стал читать, учиться. Стал думать: всякий грамотный, имеющий возможность читать, в состоянии отличить зло от добра, правду от кривды, белое от черного—он должен стать социалистом, и если он не социалист, он враг мой. Должно быть, вся рабья злоба и ненависть моих предков жили во мне в эту и последующие полосы жизни моей.

«В 1904 году ходил под нищего, безработного по деревням Орловской губернии с сумочкой нелегальных книг, организовывал братства. Осенью того же года назначили сельским учителем в Белгородский уезд. Через несколько месяцев был арестован.

Мужики чуть не сожгли меня вместе со школой. В марте 1906 года был освобожден. Снова ходил по деревням, организовывал братства. После разгона первой думы был пойман отрядом казаков, жестоко избит, сидел в Орловских арестанских ротах до мая 1907 года. В мае организовал побег оттуда, не удачный, с жертвами. В конце ноября освобожден на поруки... Пошел опять, как нищий, по Орловской губернии. За время тюрьмы много думал о работе, строил планы, а вышел на волю — дело стало круче. Уже была пора, когда революционная пена с обывателя слетала, 75% моих бывших «соратников» решили «учиться» и «отдохнуть», «собраться с силами»... иные «обратили внимание на кооперацию» и т. д. А я видел, что они лгут, не верят божкам, которым поклонялись. Раньше желанный гость, теперь я стал для них пугалом, от которого прятались; со мной можно было попасть в тюрьму. В чужой деревне, у чужих я заболел воспалением мозга. Выздоровел в 1908 году, когда уже в тюрьмах начались истязания, а на родине у нас образовался «Союз русского народа». Председатель «Союза» вскоре был убит. Союз рассыпался. Истязания в тюрьмах все усиливались. Я поехал в Донецкий бассейн, организовал там боевую дружину. Задача: истреблять всех, причастных к тюрьме, казням, пыткам, которые производились там. В отряд вошли матросы-очаковцы и часть моих учеников-куракинцев. В феврале—по дороге в Орел—заболел воспалением легких; выздоровев, через три недели опять заболел воспалением легких. Отряд действовал слабо, мог быть активнее. В июне 1908 года—во время моей попытки застрелить мценского исправника—я был арестован, бит, пытан. Арестован по фальшивке, после опознан «шпиками», перевезен в Орел, предан военно-окружному суду. Много видел казнимых, пытаемых, истязуемых, забитых до сумасшествия. Среди них много близких, дорогих. Этот период сиденья в Орловской тюрьме 1908—1910 г. г. самый страшный в моей жизни по тем ужасам, что пришлось мне наблюдать.

В конце 1910-го года я бежал. Бежал из Сибири заграницу. Жил там до 1917 г.—главным образом в Италии. Был во Франции, Англии, Швейцарии, Германии, узнал, как по городскому «сморкаются».

«Писать начал лет с десяти, стихи давались мне поразительно легко. В деревне их пели. Хороши ли они были, не знаю — не помню ни одного. Вероятно, плохи, потому что потом уже взрослым, когда я пытался писать стихи, выходило неудачно. Лет с 15-ти пытался писать прозою, но не умел ни одного рассказа кончить. Потом в тюрьме большую часть времени проводил в сочинении

рассказов. Письменных принадлежностей не давали, поэтому сочинял в «уме». Происходило это от безделья, я не верил, что смогу написать рассказ. В Сибири в ссылке отдавал все время сочинительству. Они все, помню, были по одному шаблону: слюнявые, «светлые личности» из революционного лагеря и «злодеи»—слуги реакции и правительства. В Цюрихе в 1910-м году попал в компанию русских студентов, издававших рукописный журнал. Я с рвением усердствовал в нем. Студенты меня похваливали, а я чуть не задыхался от усердия. В январе 1911-го года, затесавшись на Капри, показал Максиму Горькому то, что я писал в Цюрихе. Все приставал к нему с вопросом, следует ли мне писать дальше. Просил, чтобы «честно» мне ответил. Горький ласково обходил вопрос, щадя мое самолюбие. Все, что я показал ему, было плохо. Но напечатал это в Амфитеатровском «Современнике» за 1911 год. Амфитеатров впихнул туда не мало и отсебятины. Это мои первые шаги. После этого я совсем сорвался с цепи. Думал, испишу всю итальянскую бумагу стихами в прозе. Мучил Горького, таская рукописи на просмотр. Он исправлял, заставлял переписывать и бросать в сорный ящик. Как-то он стал расспрашивать о прошлом моем. Послушал и предложил написать это и именно так, как я рассказывал. Я год писал. Когда кончил, принес Горькому. Понравилось. Он выбросил все лишнее, остальное же составило «Повесть о днях моей жизни». «Юность» написана уже самостоятельно. Вплоть до от'езда в Россию в 1913 году Горький возился со мной. Заставлял читать, исправлял рукописи. На Капри встретился с Коцюбинским, Буниным, Андреевым, итальянскими и немецкими писателями, русскими художниками, артистами Художественного театра. Встречи, беседы оттесали меня чуть-чуть на время.

«Теперь мечтаю добиться техники Бунина. Добьюсь,—в это верю. Но все, мною написанное, детский лепет, от которого краснею. Главное же впереди. Много у меня гирь на ногах, семейных, родственных и других. Они мешают жить, работать. Но все это до времени... После Горького много, премного сделал для меня В. С. Миролюбов. Горький слишком мягко относился ко мне, часто во вред мне. Теперь я так думаю об этом. Тогда, быть может, это так и было нужно. Миролюбов был суров. Учась писать, я был между ласковой матерью—Горьким и суровым, но справедливым наставником—Миролюбовым. Потом зимами приезжал на Капри Бунин с своей крепкой и чистой любовью к литературе и языку и беспощадной критикой начинающих. Его отзывы о написанном мною доводили меня до отчаяния, но когда боль затихала,

всегда находилась крупица золота, обволоченного ядовитой слюной, и это золото делало свое дело. Не давало зарываться, как глупому, молодому жеребенку.

Написал я, кроме «Повести», немного. Точный список не могу дать,—не помню. Радостно писать,—остальное уже хуже. Кое-что помню. «Давыд» («Современный мир»), «Ботя» («Современник»), «У креста» («Северные записки»), «Прошка» (там же), «Устя» («Речь») и т. д. Остальное забыл... быть может, потому что стыжусь его.

С работами последних лет не повезло... В 1917 году я был избран членом Учредительного Собрания. В 1919 году я был арестован в Орловской губ. Благодаря вмешательству В. И. Ленина, был освобожден и через неделю уехал с эпидемическим отрядом на тиф в Самару. Работал там больше года. Со дня приезда в Россию записывал все, что «видело око мое, слышало ухо мое», собрал много ценного. Но у меня все отняли при аресте. Тут уже и В. И. Ленин не помог, хотя и посылал телеграммы в Орел, чтобы все было направлено в Москву. Вместе с материалами пропали и рукописи. Таковы были—в черновиках—роман «Северные огни» и хроника « Огонь и воды». Хронику писал свыше четырех лет. Был и ряд рассказов.

Теперь уже два года живу в деревне, пашу землю. Не читаю ни газет, ни книг. Ведь у меня неисчерпаемый источник наблюдений. Но трудно писать, когда полна изба народа. Главное же, писать некогда... Работать по ночам не позволяет здоровье...

VII.

Г. Д. Гребенщиков.

«Отец и мать мои—крестьяне села Николаевского Томской губернии в предгорьх Алтая, на берегу прекрасной горной реки Убы. Отец—крестьянин по духу, по положению горнорабочий из инородцев. Бился он всю жизнь и не видел отдыха, пока все мы —четыре сына и две дочери—не выросли. Большак теперь зажиточный мужик, старшая моя сестра и младшая за местными крестьянами (оба в солдатах), я, как видите, на «легкой вакансии», подо мной один в солдатах, второй еще дома. Мать—из казачек с реки Иртыша, хорошо умела петь простые песни, рассказывать сказки, и в голове моей поселялись странные мечтанья. Мечтанья

детства моего построены по сказкам матери... Теперь я припоминаю, что рисовалось что-то цветное,—то невидимые города, подвешенные к небу, то голубые, беспредельные пустыни, в которых терялись грустные мотивы ее песни.... Когда мне было восемь лет, я вышел в школу в материных сапогах, в отцовской шапке и братовой сермяжке. «Собственного» было у меня рубашка и штаны.

«В школе я служил посмешищем, и ребятишкам было забавно подергать меня за сермяжку, утащить и спрятать отцовскую шапку, сдернуть и забросить в снег сапоги. Однако же, учиться стал хорошо, так хорошо, что не одну конфетку с‘ел от купеческого сына, которому решал задачки. В учительницу был влюблен и все ее слова запоминал, как заповедь. Выйдя из школы, я очень цеплялся за книжки, но читать их было некогда, да и старший брат за это сердился. Надо было помогать ему. Не хотелось мне работать, рвался я хоть куда-нибудь, только бы уйти из дому. Почему-то верил я, что там, за гранью деревенской тошноты, свершится какое-нибудь чудо, и я ,,выйду в люди‘‘. Сообщницей моей была мать. Но ее заступничество за меня только сердило отца. Он терпеть не мог разную ,,присударь‘‘, ,,с легкой вакансией‘‘ ,,белоручек‘‘, которые всего и умеют, по его словам, что ,,платочком помахивать‘‘. Однажды зимою, в скучный день—с уговора с матерью—ушел я к одному сапожнику и начал сапоги тачать. Тачал с неделю. Отец узнал, не рассердился:—«Рукомесло полезное». Но надо было ему меня взять с собою в город с «перевозкой» 120 верст, в Семипалатинск. Ухватился я за этот случай и исчез. У знакомой бабы, жены пожарного, переночевал. Остался. С неделю искал,—нашел в аптеке—бутылки мыть; на заводе фруктовых вод, в подвале, мыл бутылки три месяца, девять рублей сберег да отцу «откуп» послал, чтобы для пахоты не отобрал меня. Тогда в 1896 году еще деньги можно было пересылать в закрытых письмах. Написал конверт, пошел наверх к помощнику аптекаря показать: правильно ли. Посмотрел помощник (еврей, дай бог ему здоровья, наверное, где нибудь теперь аптеку свою имеет) и говорит: «Кто писал-то?» —Сам. «Как сам? Ты так хорошо пишешь?» Я взял бумажку и написал еще почище. Удивился он. Перечел письмо. И взял меня под свое покровительство—перевел меня из подвала в аптеку за те же три рубля, но на работу чистую. Помню, порошки развешивал, репейное масло разливал по пузырькам, касторку, ступки мыл и прочее, по указанию. Старался, на крыльях летал. Пожил я тут с год. Должно быть, приглянулся городскому врачу. Сманил он меня в больницу город-

скую—фельдшерским учеником. Иодоформом на меня пахнуло там. Язвы, гной, бинты, микстуры, мази, мертвые—все пестро пошло вокруг. Здоров я был на удивление. Меня запрут с рожистыми или с «сибирской язвой» или с пятнистым тифом, а я хоть бы подумал об опасности. Теперь я с ужасом думаю, что триста раз мог заразиться и умереть. Однако, бог хранил. Приходилось мне резать трупы—помогать при вскрытиях. Ужасное впечатление производили на меня изрезанные мертвые тела. Тогда я очень верил в бога, в бессмертие души, и вид изрезанного человеческого тела оскорблял меня. Не выдержал я больничной обстановки. Год пробыл в больнице и уехал домой.

«Дома меня опять впрягли в крестьянскую работу. Не понравилась мне эта работа. Прожил лето, а к осени ушел в село Шеменаиху, верстах в девяти от нас, к подлесничему в писарки,—снова за три рубля в месяц. Унизительная была эта служба. Но тут у подлесничего я впервые увидел хорошие книги и на досуге стал в них рыться. Напал на «Записки Охотника», и точно с глаз моих повязка спала. Вся эта цветущая природа—вот она за окном, за рекой Убой. Как же я ее не видел! Раньше для меня это была лишь «пашня» с тяжелой работой. Теперь это—красивый божий сад. Отсюда и пошло расти то любопытство к жизни, к природе, к литературе, которое в следующие десять лет сделало из меня начинающего писателя. В 1898 году поступил в полицию писцом—с трех рублей сразу на семнадцать. Но приехал мировой судья и взял меня к себе письмоводителем. Я был старателен, работоспособен. Судья это увидел, полюбил меня и занялся моим образованием. Он хотел сделать из меня хорошего письмоводителя, но так как был человек одинокий и добрый, то любил меня, как сына. Проработал я у него четыре года и, когда он стал уже присяжным поверенным, я призадумался о дальнейшем. Предложили лесную работу. Это мне нравилось. Я хотел иметь службу в лесу. Ведь я уже читал Льва Толстого, выписывал журнал «Север», Мордовцева и Данилевского прочел—влюбился в природу навсегда. Но тут — в дни своего распутья—получаю письмо от нотариуса из Семипалатинска. Я поступил к нему и по пути женился. Служба у нотариуса была «университетом» для меня. Здесь я увидел много людей, работал над собой. Если у мирового судьи я сталкивался с тысячами мужиков и пестрых людей, то у нотариуса я стал лицом к лицу с городским населением, выслушивал их секреты, отношения, интересы. Здесь я уже много писал по ночам. Завел крестьянское хозяйство, в сорока пяти верстах от города, и работал на четыре фронта: для семьи,

для души, для службы и родителей, которых устроил на своей земле.

«Теперь оглядываюсь на работу, которую я тогда физически преодолевал, и удивляюсь: как я ее исполнял! И писал, писал, писал... Особенно много и охотно писал разным людям. Философствовал...

«Подошел 1905 год, и даже в захолустьи все закопошилось, всплыло, и вынесло меня в ряды «кореспондентов». Я написал ряд бытовых картин в «Семипалатинском Листке». Потом стал сочинять пьесу в шести картинах под названием «Сын народа». В начале 1907 года попал в качестве служащего на золотые прииски в Устькаменогорске. Там пережил много внутренней борьбы. Я вынужден был, волей неволей, стоять над рабочими и угнетать их. К тому же у меня умерли девочка трех лет и мальчик около года. Это меня надломило. Когда рассорились мои хозяева, я ушел с приисков совсем и поехал в Москву, а отсюда заграницу. В Монте-Карло мой приятель проиграл мои деньги, и осенью 1907 года я голым пролетарием приехал в Питер пытать счастья в литературе. «Сын Народа» был одобрен Е. П. Карповым. Я провел его через цензуру и в следующем году поставил в Устькаменогорске, потом в Семипалатинске, потом в Омске в хорошей постановке. Попутно стал печатать рассказы в «Сибирской Жизни». А осенью 1908 года 14-го декабря выпустил первый номер «Омского Слова». Весной «Омское Слово» закрыли, нас продержали вместе с издателем две недели в тюрьме и разогнали. Лето я проскитался по Алтаю. Осенью поехал в Томск секретарем журнала «Молодая Сибирь». Одновременно «Сын Народа» ставит литературно-музыкальное драматическое общество и издает Петербургский журнал «Театр и Искусство», хотя и литографическим способом.

«Весною 1910-го года еду в Алтай для этнографических и бытовых наблюдений. Здесь перевожу с польского с помощью своего друга—поляка—поэму Густава Зелинского «Киргиз», вышедшую в хорошем издании в Томске. Печатаю стихи, два, три очерка в «Сибирских Вопросах» в Питере, еду по городам Сибири с лекцией об алтайских материалах, сделав о них предварительно доклад в ученом обществе. В 1911 году снова еду в Алтай и посылаю Максиму Горькому часть своих напечатанных рассказов и рукопись «В полях». Горький отвечает: «Рукопись послал редактору «Современника» В. С. Миролюбову, а рассказы готов издать отдельной книжкой, хотя советовал бы обождать с год». Миролюбов рассказ принял.

Вот первые шаги мои. Осенью 1912 года—уехав из Алтая,—приехал я в Петербург и выпустил книгу своих рассказов: «В просторах Сибири» в издании товарищества писателей. Вслед за ней в том же издании вышла вторая книга. А дальше все пошло глаже.

VIII.

Семен Под'ячев.

«Родился я в 1866 году от крепостных—графа Олсуфьева—родителей, в селе Обольянове Московской губернии. Учился в сельской школе. Учил нас о. дьякон, приходивший в класс «выпимши». Но человек он был хороший, между прочим, любитель литературы. Через него впервые и я полюбил литературу. Помню, как он читал нам «Тараса Бульбу», «Князя Серебряного», «Вий», прослушав которого я не спал по ночам. Родители были «рабы» в полном смысле слова, к тому же приучали и меня. Помню отец говорил мне: «Семка! Так служи господам, чтобы у тебя трепет к ним был». Но «служить» господам не пришлось мне, ибо я с детства питал к ним да и теперь питаю не то что бы презрение, а хуже этого—ненависть какую-то. Рос я и—не помню уже каких лет—зарекомендовал себя так, что «господа» от меня отвернулись (поняв, очевидно, мой «дух»), что очень огорчило старика-отца. И пошел я мыкаться по «местам». Где только не был, вспоминать не хочу... Много бродяжил, служил наборщиком в типографии, сторожем на железной дороге, рабочим в имении, дворником, работал на торфяных болотах, жил в монастырях в качестве рабочего и послушника.



Семен Под'ячев.

«Много пил. Нужды, всякого горя и гадости видел и перенес несть числа. Кому охота знать мою жизнь, пусть прочтет сочинения мои. Наконец, водворился в своем селе. О жизни здесь — смотри «Страницы из жизни народного писателя», — пишет Под'ячев.— Дорога, по которой я нес и сейчас несу свой писательский крест скоро, кажется, кончится... Вижу уже впереди просветы... Скоро выберусь... Отдохну... Устал я от долгого пути. Болит все тело... Дорога тяжелая, грязная, плелась все больше по сплошному, темному лесу, и мне страшно оглянуться назад, страшно думать, как я, ощупью натыкаясь на деревья, спотыкаясь и увязая в грязи, шел по ней настойчиво и упрямо, думая только о том, как бы выйти, выбраться из темного леса,—на волю, на простор, на свет божий. Если писать о том, как я шел этой дорогой, то получится книга, которую можно озаглавить одним словом «Жуть». Книга с таким заглавием уже готова, написана в моей душе кровяными, облитыми слезами буквами... Выдираю из этой книги странички и посылаю вам.

«Это было не так давно: лет шесть-семь назад осенью. Жил я тогда все так же, как и теперь, в деревне, в своей ткнувшейся вперед восьми-аршинной избенке, с детьми, с женой и сестрой. Работать, заниматься своим писанием я мог только, как и теперь, ранним утром, когда все мои спят в повалку: кто на полу, кто где придется. Вставать себя я приучил рано, часов с трех. Встану, зажгу лампочку, сяду потихоньку. Зимой в феврале, когда телилась моя корова, и когда нельзя было теленка оставлять на дворе, он обыкновенно был наблюдателем моей работы. Работа иногда двигалась быстро. Серые мои герои беседуют со мной, и я вижу их и живу с ними. А иногда дело не ладится... Сидишь, ничего не выходит... на сердце ложится грусть, вспоминается прошлая жизнь... встают заботы... пугает бедность... скорбит и плачет душа о детях... являются и встают вопросы: зачем пишу? Какая польза от этого? Дело ли это или только так себе—пустая забава... Является недовольство, и кажется, что все, что было написано, написано плохо, слабо, не интересно. Долго и нудно тянется время .. Прислушиваешься к завыванию ветра... Хочется что-то сделать, большое и важное... Рвется что-то... Но ничего не выходит, и тоска, как камень, давит душу.

Самое тяжелое, что переношу я,— это постоянная, так сказать, хроническая нужда. Сколько унижений, сколько обид, муки душевной, приносила и сейчас приносит мне эта проклятая нужда! Эти ненавидимые, окаянные деньги!

Года два три тому назад это было... Осень стояла мокрая, гнилая... Для меня это время выдалось особенно трудным: не было денег и не было ничего написано, за что бы можно было их

получить, а издатель моих рассказов в Петрограде слезные мои письма прислать сколько-нибудь не удостаивал даже простым ответом. Семья буквально голодала. Кормились кое-как картошкой... продавали за безценок грибы и на эти деньги покупали «чайку, сахарку». Коровы не было. Ее еще весной пришлось продать. В лавке не верили. Отношение ко мне было самое подлое, насмешливо злобное. Кличка «писатель« произносилась с особенным ядом. Дети, жена и сам я были разуты, раздеты и походили на нищих. Мне не в чем было выйти... не было сапог. И вот в это время заболел у меня любимый мой четырехлетний мальчик. Заболел, как выяснилось, скарлатиной. Я не знал, что делать. Земская больница от того места, где я живу, находилась неподалеку в селе, версты за полторы, и я, наконец, видя, что ему все хуже и хуже, решил снести его туда.

— В чем же ты пойдешь-то? На ноги-то что наденешь? — плача спросила жена.

Итти приходилось через поле. Навстречу дул ветер. Я торопился, но, дойдя до больничного глухого забора, не мог дальше нести его. Какая-то невыразимая скорбь терзала душу, и я— остановился. Я передал жене больного и побежал от них прочь через поле домой. Дома было пусто. Убожество, теснота, грязь как-то особенно, точно я первый раз увидал все это, ударили меня в сердце. Я не мог быть в избе. Сел на канаве у дороги, ведущей в село. Не знаю, долго ли я сидел так, только вдруг оттуда, где находилась больница, показался мой сын. Я сразу догадался: все кончено. Дико и невероятно было: любимого моего мальчика, так недавно игравшего, нет, и не услышу я больше никогда его голоса. Но вот уже и жена, как-то шатаясь и путаясь, точно пьяная, идет мне навстречу... Я понес его домой. Ветер усилился, сыпалась какая-то колючая крупа, и тут в поле под открытым небом, на ветру, кто-то кричал мне в уши:

— Что же ты будешь делать теперь? Как похоронишь его?

«И началось такое, чего еще я в своей грустной и грязной жизни так мучительно не переживал. У меня точно открылись глаза, и я как будто только теперь понял и увидал, что я один, и что то дело, которое я делаю, т. е. занимаюсь писанием, сидя здесь в деревне, привело меня к тому, что я, ушедши, так сказать, в него, довел свою семью да и себя до нищенского состояния. Презрительные насмешки от тех, кого я люблю, о ком болит моя душа, кличка «писатель», («жрать нечего а туда же», «обломать бока, чтобы не врал, тогда узнаешь» и т. д.), — все это встало предо мной, и мне сделалось вдвойне больно, и малодушное

отчаяние, усугубленное, так сказать, смертью сына, смешавшееся в один клубок с издерганными нервами, с мелочами, с нуждой, совсем было завладело мною... Вместе с принесенным в избу телом мальчика вошла нужда, которая до этого как-то пряталась, что ли, а теперь, наглая и голая, разинула свою пасть. Тело надо было, как водится, положить в гроб, а где взять его?

— Господи, царь небесный! — вопила жена. — Завернуть не во что... выйти в церковь не в чем... О, о, о! О, о, о! Сыночек ты мой желанный!

Нашел во дворе ящик старый, кое-как сколотил из них другой, похожий на гроб. Утром, — только что стало рассветать, — захватил заступ и пошел могилу рыть. Под ногами хлюпало и, когда кончил, на дне уже собралась вода, мутная и желтая. Вдруг как-то особенно ясно, с особенным ужасом понял, для кого и зачем вырыл эту сырую, глубокую яму. Я забыл о близких. Желая как-нибудь утешить это кричащее от боли «я», отправился не домой, а в деревню, в шинок, к бабенке, по прозванию «Сучка», просить в долг водки. Шатаясь, босой, грязный, мертвецки пьяный, поплелся я от нее вниз под горку к овинам, и здесь, в первом же омете соломы, свалился и сразу точно провалился куда-то в черную яму, — уснул. Когда я проснулся и открыл глаза, был вечер. Я сразу понял, где я и что сделал. Я вскочил, весь трясясь, и побежал домой. Еще издали в оконцах своей избушки я увидел огонек. Прежде, чем войти в дверь, я подошел, подкрался к окну и заглянул. Сердце во мне упало. Сделанный мною гробик стоял на скамейке в переднем углу. Пригляделся хорошенько и увидел, что на полу, перед гробом, лежит ничком жена, видно, как вздрагивает ее тело. Не помня себя, я вбежал в избу. Она услыхала, что я пришел, и не поднялась, но сразу как-то громко и пронзительно завыла.

— Разбойник! — кричала она. — Ни один самый последний золоторотец не сделает так, как ты сделал... Тебе бы издохнуть, а не ему... Что я за тобой жила, видела? Рубашки и той смениться нету .. Всех детей погубишь с писанием-то со своим...

Утром пошел к священнику.

— В чем дело? — спросил он.

Я помолчал и, собравшись с духом и стыдясь, сказал на счет денег.

— Ну что ж! — воскликнул он. — Не важно это, нету и нет... Я ведь тебя за глотку не беру.

И видя, что я пошел от него, остановил меня и, глядя мне в лицо, сказал:

— У тебя, что же, денег нет, а? Ты уж очень что-то чуден... Ты говори — я выручу. Много не дам, трояк найду. Отдашь, небось. Я слыхал стороной, знаю, пишешь ты... печатаешь что-то... Я, признаться, ничего твоего не читал... не охотник я до этого вообще... Чепуха, по моему, а? Ты не обижайся... О чем писать-то! Хы, писатели тоже... Поэты... чудно... Ну, иди с богом, оторвал ты меня от дела только... Приноси — отпоем...

Из избы гроб я вынес на руках. Обезумевшая от горя жена упала на крыльцо и билась там. Босая, растрепанная, она было схватилась за гроб и не пускала... потом упала на землю...

Уже совсем смеркалось, когда засыпали могилу... Надо было уходить... Но я не мог уйти. Весь я ослаб, и все во мне кричало и плакало, и нестерпимая грусть, как камень, давила сердце.

Я бросил заступ и сел рядом под елку, напротив только что зарытой могилы. Елка шумела надо мной вершиной, и мне казалось, что она нашептывает что-то сердитое... Я сидел скорчившись, а темнота с каждой минутой все больше и больше окутывала и меня, и все, что было вокруг. Малодушное отчаяние заползало в душу, и мысль умереть, покончить все начинала забирать меня в свои лапы... Это было просто... Но, благодарение богу, я не поддался. Не-е-е-ет! Недаром я мужик, недаром родители мои и родители моих родителей умели терпеть и не такие беды и передали это терпение и то, что «хуже того, что есть, не будет», нам...

Я вскочил и, стиснув зубы, пошел домой, где меня ждали, как всегда, горе, слезы и нужда...

Писать я начал с детства — стихами. Первое стихотворение мое было про Адама и Еву. Помог мне Короленко, принявший в «Русское Богатсво» мои «Очерки работного дома». Помогли мне еще Горький, Якубович. Эти люди всегда живут в моем сердце».

IX.

Шесть томов Под'ячева вышло в свет. Особый том в издании «Огней». Раз в год печатался в «Русском Богатстве». Позднее печатался и в других органах. Все же на гонорар этот и крестьянину не прожить. Касаткин писал в сборниках «Знания»; здесь гонорары были значительно выше журнальных. «Знание» было первым издательством, высоко поднявшим оценку литературного труда. Но сборники выходили редко, а еще реже появлялись

рассказы писателя. Рассказы Чапыгина принимались в журналах охотно. Но «благодарным и верным источником заработка» они были и для него в столь же малой степени.

Причина скудости в том, что художник-демократ не дождался внимания. Нам известны рецензии на книги наших писателей. Но была ли хоть одна статья о людях «страшной жизни», рассказывающих нам свою правду? Мы таковой не знаем. Нельзя об этом не пожалеть.

«Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художественном слове, уже не помещичьего, хотя и выражают в безобразном виде»,—писал когда-то Страхову Достоевский. Под'ячева, конечно, что-то роднит с протоколистом-разночинцем. Но другие уже не Решетниковы.

ГЛАВА VII.

О них же.

(Литературные характеристики).

I.

Отдав себя всецело изучению народной жизни, Н. Н. Златовратский, служивший своей задаче и в качестве художника, и в качестве исследователя, в конце концов беспомощно отступил перед сложностью ее. Конечно, не как исследователь, но как художник. Автор «Устоев» пришел к убеждению, что не было художника, уделявшего внимание народу, который—независимо от степени талантливости, отзывчивости — дал бы что-либо глубже и реальнее, чем дано было сто лет тому назад, и об'яснение, по его словам, в том, что художник-интеллигент—«ветхий культурный художник»—совсем не годен для воспроизведения народной жизни ни по приемам своего творчества, ни по свойству своей художнической натуры, столь чуткой к проявлениям культурного быта и столь глухой к могучим звукам народной массовой жизни. Хуже деревни он ничего не воспроизводил потому, что, гоняясь за психологическими сюжетами близкой ему привилегированной среды, он те же приемы переносил в сферу изображения народа и тем самым отрывался от почвы, в которой вырастает и действует народ.

Златовратский явно не дооценивал здесь работы той группы беллетристов, с которой он вошел в историю русской литературы.

Не воворя о даре художественного проникновения в народную массовую стихию Глеба Успенского, сам же Златовратский—при всем своем интеллигентском романтизме—живое подтверждение того, насколько «ветхий культурный художник» ушел вперед в изображении народной жизни по сравнению хотя бы с эпохой «Антона Горемыки». Еще рельефнее станет это движение вперед, если мы от «деревенских будней» нашего семидесятника обратимся к «Мужикам» Чехова, к «Деревне» Ивана Бунина... Однако, не дооценивая того, что сделано беллетристом-народником [1]) доброго старого времени в меру отпущенной ему «художнической натуры», Златовратский вместе с тем об‘ективно подходил к проблеме народного художественного творчества, как таковой, проблеме, в основе своей психологической. Указывая, что воспроизведение массовой жизни требует новых художественных приемов, что они станут возможны лишь тогда, когда в сфере искусства будет сказано «новое слово», Златовратский утверждал, что новое слово скажут лишь дети народа. Только они, выходцы из недр народной стихии, «могут вызвать непосредственно из своей души образы этой жизни; только им—уверял он—возможно будет в полном об‘еме осуществить идеал на социологической подкладке, если можно так выразиться, о котором мечтают современные философы. Народная жизнь и в характерных величавых картинах исторической борьбы, и в своих современных буднях представляет неисчерпаемое богатство для вдохновений истинно-социального художника». Чтобы воспроизвести жизнь народа в подлинных ее глубинах, нужно быть человеком из народа, нужно носить в себе плоть и кровь его, уметь вдохновляться тем, чем вдохновляется он.

Так намечал Златовратский оригинальную задачу, разрешение которой так сложно для «художника из культурных людей» и так «выполнимо во всем об‘еме» для «художника из народа», которого еще тогдашняя действительность не давала. Теперь уже художник из народа—факт нашей литературы. Он дает возможность нам судить о том, как писатель из народа воспроизводит массовую жизнь, каковы свойства его художественной натуры.

Что же мы видим? Мы видим, что в идее Златовратский был прав. Ал. Чапыгин, Ив. Касаткин, Сем. Под‘ячев, Ив. Вольнов, Г. Гребенщиков—вот приход нового «я». Каждый из них воспроизводит жизнь народа не так, как мы, наблюдатели со стороны,

[1]) Старый литературный термин, обозначающий писателей-разночинцев, бытописателей народа и народной жизни.

воспроизводит в подлинных ее чертах. Но все же действительность сложнее наших идей. Доживи до наших дней старый беллетрист-народник, нашел ли бы он в «Повести о днях моей жизни» Ив. Вольнова или «Белом Ските» Чапыгина ту «социологическую подкладку», которая составляет, по его словам, особенность «социального художника»?

II.

Сложность вопроса, между прочим, в том, что настоящий художник творит не умом, а интуицией, и в то время как писатель из народа совершает свой крестный творческий путь, мы склонны ему приписывать свою сознательность, ту «социологическую подкладку», которая шла и идет в ущерб его художественной цельности.

Что представляли собой «Подлиповцы»? «Этнографический очерк из жизни бурлаков», неприкрашенную правду—правду о мужике, высказанную, если не самим мужиком, то человеком во всяком случае своим. Решетников не исходил из каких-либо идейных мотивов. Он просто описывал то, что видел: нищету, невежество дикарей. Но он попал в больное место тогдашней интеллигентской психологии, и вышло что-то в духе момента дворянского покаяния, момента, в какой «Подлиповцы» увидели свет.

Начиная с Кольцова, сторона идейная и эмоциональная как-то несоразмерно развиты в народном творчестве. Кольцов пережил два периода развития—до знакомства с Белинским, когда он творил бессознательно, сознавая душу своего коллектива, и после знакомства с критиком и его кружком, которое, казалось бы, должно было расширить и углубить круг понятий Кольцова, а вместе с тем поднять его поэтическую индивидуальность. Так казалось бы... В действительности влияние Белинского сказалось, как известно, понижением художественной цельности поэта. Подняться до Белинского и его друзей настолько, чтобы идея сливалась с образом, Кольцов не мог; с другой же стороны, и взгляды первого периода его не удовлетворяли. В результате создалась трещина, которую так ясно начинаешь понимать, когда перечитываешь его письма.

Те же провалы художественного «я» дают себя знать в Максиме Горьком. Пока его образы, чувства, обобщения жизненных явлений питались подсознанием, корни его творчества были крепки, и он легко и свободно клал свои краски, считаясь лишь с своей художественной натурой. Но как только автор «Матери» и «Лета» подчинял образ идее, которая с ним—в интересах художественной цельности—не сливалась, так писатель терял свою первоначальную красоту и силу.

Беллетрист из народа по своей природе—«беллетрист-социолог», в этом Златовратский не ошибался. Во всех художнических попытках этого рода эстетика и общественность в той или иной степени ищут своего гармонического синтеза. Но до социального художника еще далеко писателю из народа. Мы нередко придаем преувеличенное значение изображению массовых явлений, предполагая, что в этом и состоит специфическая особенность социального художника. Конечно, последний с жадностью обращает свои взоры к массам, к массовой жизни. Но отличительная черта его состоит не в том только, что он изображает массы, а в том, что он изображает их не так, как изображал их, скажем, индивидуализм, в том, что многообразие и сложность тех массовых явлений, которые он выливает в законченные образы, отражают многообразие и сложность его собственной психологии.

В русской народной действительности этого еще нет, потому что нет в наличности той психологии, той культуры, которая для этого необходима. Даже класс, который духовно значительно опередил крестьянство,—пролетариат в общем и целом не освободился от мещанских традиций. При таких предпосылках «социологическая подкладка» сводится чаще, чем мы думаем, к подчинению образа идее в произведениях беллетристов из народа. Творческую же роль играет в них инстинкт угадывания, проникновения в народную жизнь.

В художнике зрелом, завершившем свое литературное развитие, борьба двух сторон—идейной и эмоциональной—не должна себя давать знать. Но процесс еще не завершился, и две черты пробивают себе дорогу в народном творчестве, два начала живут в душе художника из народа—начало самодовлеющего искусства, не связанного ни с какой идеологией, и засилие идей, воспринятых умом, но не связанных с плотью и кровью его художественной души. Отсюда несколько неожиданный для нас итог: чем выше художественная ценность произведения, тем дальше оно от сознательного творчества, и, наоборот, чем сознательнее зависимость автора от коллектива, тем скорее он беспритязательный рассказчик, тем меньше заботится о форме, об архитектуре произведения, тем меньшую сумму ценностей несет он нам, как художник.

Этим не умаляется роль сознания в искусстве, которая может быть необычайно велика. Нужен ли высший контроль сознания, чем тот, что имеет место в «Господах Головлевых» Щедрина? Роман остается образцом художественной прозы, ибо интуиция не перестает служить интеллекту, а интеллект интуиции на всем протяжении романа. Художник же из народа страдает не столько

от идейно-психологического развития, сколько от недостатка этого развития, понятого во всей эмоциональной глубине, недостатка, направляющего его—в поисках формы через содержание—на путь наименьшего сопротивления.

III.

В чем же поворотный пункт, тот новый художественный прием, который, без сомнения, вносят с собой Чапыгин, Касаткин, Под'ячев, Ив. Вольнов, Гребенщиков в изображение народной жизни?

В свое время Чернышевский выяснил нам психологическую подоплеку литературной смены дворянского народолюбия разночинным правдолюбием. Отголоски дворянского покаяния портили даже «Записки Охотника»—что уже говорить о барском жалении мужичка Григоровича, Марка Вовчка и Кохановской. Идеализация, закрывание глаз на мужицкие недостатки сами собой вытекали из настроения людей сороковых годов. Решетникову, Левитову, Успенскому каяться, конечно, было не в чем; никакой «вины перед народом» чувствовать они не могли, ибо—хотя «кухаркиными детьми» они в действительности не были—жизнь их, как и жизнь тех слоев мещанства, из среды которых они вышли, немногим была сытее жизни самого народа. И они уже хотели правды, «трезвой правды», бесстрашно шли за ней, и никакие укоры совести не мешали им говорить «правду», только правду, ничего, кроме правды.

Казалось бы, после ужасной в простоте своей повести о дикой, кошмарной жизни Пил и Сысоек, бьющей в глаза отсутствием «выдумки», после неожиданно-мрачных, пугающих картин Николая Успенского—реализмом не удивишь. Но реализм (как и правда, которую он выражает)—прием о двух концах; эта истина преисполнена особенно живого значения, когда речь идет об отображении народа. Вот как характеризовал вдумчивый А. Г. Горнфельд бытописателя народа Вик. Муйжеля: «Вы чувствуете, что это правда. Он заставляет вас верить, что это так и есть, как он изображает: другой правды и не знает искусство». Но в то же время «во всех его рассказах нет ни одной человеческой фигуры, которую хотелось бы запомнить, как нечто особое, индивидуальное, как отдельный образ, которая оставалась бы в мысли, как портрет».[1]) И то же приблизительно писал о «Мужиках» Чехова П. Б. Струве

---

[1]) А. Г. Горнфельд. Книги и люди (Птб. Изд. «Жизнь». 1908 г.), стр. 168—174.

*

в известной статье того же названия. По его словам, Чехов отчетливо изобразил отдельные действия, но «не дал характеристики личностей во всей их определенности, т. е. не очертил индивидуальности. Мужики у него выведены без психологии или с совершенно упрощенной психологией. Он рассказывает нам больше об их телодвижениях, чем о движениях их души. И потому не прав будет тот, кто на основании этого изображения станет отрицать существование довольно сложной душевной жизни даже у Бабки и Кирьяка. В действительности не все так просто, как в рассказе г. Чехова» [1]). Струве метко схватил художественный недочет «Мужиков» Чехова; но по роду оружия далекий от вопросов искусства, он вместе с тем пытался об'яснить его тем, что «это и невозможно в рамках маленького рассказа», что Чехов и не намеревался в своем очерке исчерпать «всю психологию своих мужиков». Глубже и тоньше об'ясняет этот дефект А. Горнфельд. «До тех пор, пока крестьянский мир будет находить изображение только извне—писал он,—пока к нему будут—по необходимости—подходить с категориями, созданными для других явлений, пока в искусстве его будут об'яснять другим, а не он сам будет разбираться в себе при посредстве художественных образов, до тех пор, конечно, возможна только сплошная его характеристика». Вот эту сплошную характеристику и представляет «трезвая правда» беллетристов-народников, как ни различны те цели, которые они себе ставили.

Нельзя усомниться в том, что мир, созданный Гл. Успенским, живет во всей своей конкретности и красоте. Но в то же время Иван Ермолаич — не индивидуальность: он безличен. Так, вообще, живет и умирает русский мужик, и об этой общей судьбе, общей психологии читали мы у всех писателей этой группы. Это была художественная этнография, и народ был материалом для познания. Теперь же мы впервые чувствуем в русской литературе личность мужика, личность рабочего во всей ее сложной определенности — вот, что несут нам беллетристы из народа при всей несоразмерности сторон их творческого бытия. Разночинцы-художники показывали нам народный быт и человека — естественную жертву его; вся вина была в быте, в бытовой нашей некультурности, в язвах социального строя; Иван Ермолаич не был самодовлеющим предметом изображения. Художник из народа, ощутив в себе залежи всяческой «психологии», пытается об'ективировать эту психологию в искусстве. В об'ективировании

[1]) П. Струве. На разные темы (Спб. 1902 г.), стр. 130.

духовной личности народа весь пафос наших беллетристов из народа. Различны территориальные пласты, изображаемые ими, как различны темпераменты авторов, но все они — и близкие, и далекие своим предшественникам—идут дальше их, ибо вы видите не только «быт», но и человека, правду более интимную, чем правда народников-разночинцев. Вы видите не только быт, но живую душу народа, ее подлинное горение, ее падения и достижения; начинаете и понимать, что веками варварства отдает не только от быта, но и от души, от психологии народа, что зол быт, но и зла та воля, которую нужно ощутить в себе, прежде чем от него освободиться.

Это,—думаем мы,—поворотный пункт в изображении народной жизни. Обратимся же — с этой высоты — к художникам из народа в отдельности, отразившим одно и то же в состоянии массовой души, но не сходным между собой по свойствам своих талантов, по бытовому своему опыту.

IV.

Начнем с А. П. Чапыгина.

И в «Белом ските», привлекшем впервые внимание к писателю, и в «Нелюдимых», прошедших незамеченными, как и в книге «По звериной тропе» отчетливее всего выступает то, что отделяет беллетриста из народа от народника-разночинца.

В «Нелюдимых» перед нами город, пришлый люд, загнанный в водоворот городской сутолоки. Здесь — в непосильной борьбе за жизнь — по новому перестраивается деревенская душа. В «Белом ските», «По звериной тропе» — серая упрямая глушь деревни севера. Вы переходите от сюжета к сюжету. Нищета крестьянская, пьяная, с ее беспросветным трудом и беспросветным озорством, каторжная жизнь рабочих кварталов... Вот брат Афони Креня, былинного богатыря «Белого Скита», Ивашка, задумывает братоубийство; он заманивает Афоню в угарную баню спать и там его запирает. Но угоревший Афонька своей тяжестью вышибает дверь, в рукопашной схватке валит Ивашку и, в свою очередь, сует его головой в горячую печь. В «Нелюдимых» отец колотит сынишку кулаком, а сынишка шарит руками по полу, ища ножа, чтобы сунуть его отцу под ребро. Мужики Чехова «живут хуже скотов», «жить с ними страшно», а мужицкая психика «Белого Скита» сводится к двустишию:

Ну, а Сидор водки купит, ну, и что ж?
А не купит, бок налупит, ну, и что ж?

Что же тут нового после Решетникова? Не десятки ли раз это рассказывалось? Да, это та же правда, которую рассказывали нам разночинцы-народники, но рассказана она по иному.

Беллетрист-народник, сколько бы ни говорил о «голой зоологической правде», всегда что-то доказывал, во что-то укладывал живую жизнь. Даже Глеб Успенский, подошедший к власти земли в качестве прозорливца, до которого другим было далеко, отдал дань «таблице умножения», становясь втупик каждый раз, когда дважды два давало не четыре, а «нечто неожиданное и невозможное», «то стеариновую свечку, то свиную морду». В этих случаях Успенский не выходил из схем. Чапыгин не знает схем, ни одной мелочью не поступится ради каких-либо внешних целей. Какой-то критик по поводу «Мужиков» Чехова сказал, что они по мрачности далеко оставляют за собой «Власть тьмы», так как в «Мужиках» нет даже Акима. Так вот и у Чапыгина нет даже Акима. Его реализм, не связанный ни с идеологией, ни с направленством, иными сторонами подходит к Чехову. Но он не только наблюдатель, блюдущий свою эстетическую созерцательность: переживания его героев—его собственные переживания.

Это уж не тяга к групповой психике. Там вы читали о том, как живет и умирает обстрагированный, обобществленный Афоня Крень; здесь вы видите, как живет и умирает подлинный. Только с личностью имеет дело Ал. Чапыгин — только она привлекает его внимание. И все его три книги не столько книги о быте, сколько книги о душе — вот, что сообщает интерес новизны и Афоне Креню, оберегающему красоту господню, мечтающему о белом ските; и иконописцу Аггеичу, пораженному безобразием жизни («Образ»), даже подростку Федьке («Минога») — всем его людям, которых не отличишь от зверей («Лесной Пестун», «Последняя дорога», «Навождение»). Все это — особое, индивидуальное—остается в памяти со всеми своими личными признаками.

«Большие Пороги»—та же Подлиповка, и жизнь их жителей та же жизнь подлиповцев. Но во всей сложности встает крестьянин в этом «Белом Скитe». И весь из противоречий. Тут и зверский инстинкт, и справедливость, и моральное одичание, и неизреченная красота духа, и причудливее всех Афоня Крень, лелеющий в душе старые идеалы мирного общения с природой, темный и жестокий и вместе с тем таящий где-то в глубине души смутное влечение к высокому, «надежду к богу притти». Сколько черт роднят его с Пилой из Подлиповок, и в то же время как многоцветен он по сравнению с Пилой, выведенным с упрощенной психологией! Уже в языке это чувствуется. Своеобразна мужицкая речь при всей видимой простоте, еще своеобразнее речь северянина, полная старинных слов и оборотов. Но Афоня Крень всем нутром своим чувствует изгибы и оттенки этой старины с ее былинами и сказаниями. Даже животные и растения одухотворены, индивидуализированы Чапыгиным. Вспомните беременную лосиху: «Неясно думает она. Не вспоминая, помнит этот день, когда ее кольнуло, как острым суком, и в тот же день она услыхала непривычный для нее новый запах навоза и крови». «Ки-ви... киуви!..» скрипели седые деревья. «Это свои... это кормушки». Деревья ей казались кормушками, потому что лосиха часто кормилась от них, об'едая молодую кору. Но вместе с знакомыми звуками все ближе и ближе катилось, хрустело визгливое чужое. «Он?» Только что родив мертвого лосенка, лосиха уставила вперед лба мохнатые уши, шатаясь, зажмурила глаза, как бы готовясь к страшному... То был охотник.

Лесная жизнь, мерзлые ночи, дикая природа севера с ее пейзажами и обитателями,—все это сжато, но как-то извнутри схвачено Чапыгиным. Не изменяя себе, художник будто неспособен сам увлечься своими переживаниями. Но так нам лишь это кажется. Прежде, чем набросить свой рисунок, он в действительности им переболел. Оттого он не только живописец, — пейзаж Чапыгинский живет той же индивидуальной жизнью, что и человек.

Излюбленный тип Чапыгина—мечтатель, «нелюдимый», втайне выносящий свое чувство или свою идею в сером подвальном углу, в сутолоке незаметной жизни. Описывая наш народ, слепой и темный, Чапыгин то и дело выискивает нам какого-либо поэта этой тьмы, этого одичания, прущего куда-то на пролом к северу. Афоня Крень — мистик и эстет, и такие же мистики и эстеты все «нелюдимые» Чапыгина вроде Игошки, старого иконописца, живописца, врага антихриста. И посмотрите только, как ищут они красоты во тьме, жестокой и безрадостной; во тьме, которая их же душу варварски изуродовала. «Прочна суровая среда, где поколения людей живут бессмысленней зверей...» Победа слепого, безличного начала неотвратима, и в этом личная драма Чапыгинских героев.

Если бы наблюдатель со стороны взялся за Чапыгинский сюжет, мы бы имели нечто от ума. В драме, в трагедии из крестьянской жизни, имеющей смысл лишь в своей индивидуальной полноте, проявили слабую индивидуализацию не только беллетристы-этнографы, но и Писемский, и Лев Толстой. И совершенно верно отмечает А. Горнфельд, что «Горькая Судьбина» или «Власть тьмы»—это высокое напряжение в познании крестьянина

«с того берега»—дают изображение крестьянской жизни только в своих жанровых элементах, а не в фигурах героев. Ананий и Никита—кто из читателей видит в них мужиков?» Значительность Чапыгина и состоит именно в том, что трагизм жизни—драму простого человека—изображает он в фигурах своих героев.

И чем глубже драматический смысл этих повестей, тем шире глядит с их страниц, вместе с душевным миром самого писателя, наш народ, непонятный в быте своем, но еще более непонятный исконным духом своим, в одно и то же время и влекущим, и пугающим. «Социалистической» подкладки здесь искать приходится менее, чем у кого-либо из художников из народа. Жизнь деревни, в которой старый быт отживает, а на смену ему идет хищник Артамон Ворона, и уродуется природа, и спиваются люди, мила Чапыгину—говорили мы—независимо от какого-либо идеологического отношения к ней, мила потому, что это его жизнь, что влюблен он в ее язык, в ее природу.

Кто-то сближал его с Максимом Горьким. Есть у него обороты, напоминающие Горького. В стиле последнего обращения Афони Креня к лесным елям: «Шумят вот... Што-то говорят, милые!» Есть и горьковская фигура—мельник-колдун Иван Титович, который держится того мнения, что «ежели человек верит хоть в прясельный столб, то его душе бывает легче». Вот как укреплял он Афоньку в мечте о белом ските, в котором будто бы сам побывал в былые годы, но который Афоня Крень увидел лишь в предсмертных грезах своих. «Будто острова белые, там по озерам лебеди плавают, в иных гуси плодятся, утицы крякают, пришлой птицы живет много! Божья служба кажинный день. Часовенки иконами старого письма увешаны—есть иконы красоты неописуемой. Есть «чудодейный ключ» и т. д. Это Горьковский Лука. Но все же сближать Чапыгина с Горьким не больше оснований, чем сближать его с Ремизовым с его «Бурковым домом». Что-то привычное родное, в одно и то же время и милое, и противное, роднит Чапыгина с обоими. Но едва ли—думается нам—можно тут говорить о каком-либо влиянии. Слишком уж своеобразен наш художник в своем большом жизненном материале, добытом на месте.

Чапыгин—индивидуалист. Уже внешность этого хмурого сына севера говорит об индивидуализме. В рассказах его также много теплоты, как мало радости, но дает он ее хмуро, не улыбаясь. Хмурость—его манера, как и черта его героев, чьи нередко богатырские силы пропадают так пусто и бесследно. И стиль его, четкий и строгий, в «Белом ските» почти целомудренный, стиль индивидуалиста. Даже пейзаж Чапыгинский глядит на нас неприветливо-строго, сквозь туман... Разумеется, тут целый быт, социальная группа с ея коллективной психикой. Но к идейному сдвигу нашего времени Чапыгин нас не приобщает. Трагизм жизни притягивает его, очаровывает той красотой, зародыши которой рассыпаны всюду и везде в народной жизни — это ли не открытая книга жизни? Но до «идей» Чапыгин не охотник. Ссыльный Егор, единственный в повести «Белый Скит» интеллигент, изображен как-то малокровно... Подняться к целому, охватить сложный процесс жизни сверху до низу — для этого не хватает у него «идей», да и настроение не то. Есть у него «любовь к тому, куда идут, чему верят бедняки, пахнущие потом и лохмотьями», но в то же время он сознается в «Воспоминаниях»: «нет у меня ни надежды, ни веры»...

Но художник не дает больше того, чем то, что заложено в его натуре. Настоящий эпик с несравненным знанием народа, с крупным запасом наблюдений, как Чапыгин, в то же время далек от переживаний, которые всколыхнули рабочих и крестьян после 1905—6 годов! Творчество его охватывает период бурь, но в его произведениях эти бури и эти настроения почти не отразились. У него свой мир, который он доподлинно *чувствует*, из которого не желает выходить, не умея рисовать то, что им не пережито: старый сложившийся быт оживает, а на смену ему плохо идет новое. В творческие силы его плохо верится. И та серьозность, то честное отношение к искусству, которое так свойственно Чапыгину, не признающему никаких требований, кроме тех, что вытекают из интересов мастерства, подсказывают ему, что не надо изменять себе.

V.

Чапыгина открыл ни кто иной, как Н. К. Михайловский. «После того, как ему была передана моя рукопись, он пригласил меня письмом к себе и познакомил с В. Г. Короленкой». И с появлением «Нелюдимых» и «Белого Скита» «Русское Богатство» отнеслось к ним благосклонно, хотя и с холодком. Хотя первый очерк нашего автора появился с исправлениями Короленко, все же, если мне память не изменяет, произведения Чапыгина в «Русском Богатстве» не появлялись...

Но определенно отрицательно отнеслись органы нашего народничества к И. М. Касаткину, произведения которого собраны в сборнике, изданном товариществом писателей в Москве,—«Лес-

ная быль». «Его мужики если темны, то уж чернее чернил», ворчали и «Русское Богатство», и старейшие «Русские Ведомости»: «спору нет, много жестокости, тьмы, тупости заключает она (деревня) в себе, но и тут все-таки есть мера». Отсюда вывод: «добрые намерения» Касаткина не вызывают сомнений, но уж слишком наивным представляет он себе читателя, пуская в ход такое сгущение красок. Нет, пристрастно отнеслись наши народники к Касаткинским рассказам, нежным и грустным, полным дорогих мелочей, благодаря которым каждый образ живет своей индивидуальной жизнью.

Народная жизнь мила автору «Лесной были», как и Чапыгину, независимо ни от какого идеологического отношения к ней. Если отвлечься от формы, а все внимание сосредоточить на сюжете, на литературном замысле, то подчас забываешь, какой из обоих авторов повествует вам свою лесную быль. Чапыгин описывает нам север, Олонецкий край, Онегу, Касаткин—восток, Каму да Керженец. И здесь на сотни верст «расхлестнула дремотная глухомань море лесное, спрятавшее буревалы, кочи и поры в снегу и инее». И здесь все как-то «сплющено, грубо, вывихнуто, скрючено и придавлено звериной жизнью и бесплодным трудом на земле» этих «коренастых бородачей» с лицами, «сплошь обросшими волосами», с «мохнатыми руками», с «звериным рычанием» в рукопашных схватках. И уже общность жизненного материала—однородный по социальной сущности момент—роднит обоих авторов.

Но еще более, чем общность жизненного материала, роднит писателей подход к художественному осуществлению своих замыслов, прием раскрытия сложного в простом. Нужны ли более примитивная среда, более первобытный склад души, чем то, что изображает нам «Лесная быль»? В этом смысле типичен первый же рассказ, название которого автор взял для всей своей книги, рассказ о том, как Настю, веселую, как птичку, невиданный в деревенском убожестве живой цветок, в присутствии которой даже у самых озорных парней язык не повертывался выпалить для форса похабщину; как Настю, так непохожую на всю эту жизнь, столь мутную и тяжелую, что, казалось, не будь ее песенки, ее приветливости, точно окошко какое захлопнулось бы; как эту Настю,—в отместку за своих тупых, блеклых баб и скуластых дочерей,—все-таки заклевали мужики, как воронье, зацапали лапищами. Что тоньше всего выписано в этом рассказе с его захватающим драматизмом? Самое элементарное. Посмотрите, это сложный мир душевных переживаний, и чем элементарнее, беднее

герои «Лесной были», тем менее выглядят они сплошной бесформенной массой, тем выпуклее выступает из-под пера Касаткина скрытая для нас сложность. Ведут ли старухи разговор в тусклый зимний день, «медлительно переваливая одна к другой, будто камни тяжелые, грехи и тяготы долгой жизни»; мечутся ли босяки на барках, речные волки, «вольные, ничем не связанные», которые лишь после трескучей зимы оживают, «пьяные от водки и побоищ»; «веселый ли батя» веселит у вас на глазах своих голодных детей, поднося им вместо куска хлеба ржавую деревянную солонку с солью,—всюду простое раскрывает свою сложность.

Конечно, по силе, законченности замыслов Касаткин не чета Чапыгину. Вполне законченных вещей в «Лесной были» почти нет. Даже произведения, на много страниц растянувшиеся («Дорога», «На барках»), представляют собой точно отрывки одной широко задуманной поэмы, которая, быть может, будет написана, а, быть может, и не будет. Когда читаешь отрывок за отрывком, отдыхая душой от вещей, на которых лежит печать такой усталости, надлома, то хочется верить, что эта отрывочность лишь временная форма авторских произведений; что мы получим от него ту большую, законченную вещь, которая зреет где-то в его душе. Нет и суровости в нашем авторе. Он не скуп на краски, пишет весело, и не мало в нем юмора, рассыпает характерные словечки и выражения, подслушанные то здесь, то там, и поражает как-то умиротворяющее настроение, разлитое по всей книге. Вот баба, забирающая огрызки пряников у дифтерийных чужих детей, чтобы отравить собственных. Она жалеет, что огрызки обманули ее ожидания. «Скормила все до крошки, а они, милай,—вот они. Ищо просят». Вот мужик, возвращающийся домой с заработков. «Кабы холера на вас, окаянные,—думает он по адресу своих,—так нет». Невылазный лошадиный труд и нужда, граничащая с голодом; мрак, из которого выхода нет, о котором жутко читать, звериная жизнь,—ведь все это надо было пережить; ведь гнет этой среды—гнет, испытанный много болевшей душой автора. Но все же этот гнет не убил ни жизнерадостности, ни смеха, заложенных в его натуре.

В этом различие двух темпераментов писателей.

Сходство и различие особенно выступают в описаниях природы. Яркостью рисунка пленяет здесь Касаткин. Описывает ли он, как весенняя земля греется под солнцем, и «таятся от солнца грязно-грязно ноздреватые кучки снега, с шуршащими вздохами оседая, холодными снежинками уходя в землю»; как в оврагах разноголосо лепечет и бурлюкает вода, «затевая безудержный бунт,

молодой и веселый»; как колосится рожь в поле под ветерком, и царит мудрая лесная тонко звенящая тишина с знойным маревом полдня; рисует ли белые, белые снега, белую-белую пустыню, в просторе которой тешится неведомый седой метелью, наигрывает жуткие, шипящие мотивы,—все расцвечено, пестро, чего нет у Чапыгина. Но в то же время все одухотворено, живет человеческой жизнью, как в северном пейзаже Чапыгина.

Но в то время как краски Касаткина ярки, все кругом монотонно, серо и бедно. Менее всего удаются ему светлые явления, положительные типы деревни. От новых мужиков Касаткина отдает Горьким. Недаром большинство рассказов, вошедших в «Лесную быль», и напечатаны предварительно в сборниках «Знания». Конечно, приискивая форму таких произведений («В уезде» или «Село Микульское»), автор не остановил своего выбора сознательно на Горьком. Сблизило их и настроение, и запас юмора,—защита обнаженных нервов от острых уколов действительности. Но подобно тому, как хорошо прочувствовано и, следовательно, выписано у Касаткина все то, что так не по душе нашим народникам—картины голода, пьяного угара, каторжных дум и чаяний мужицкой души—так без полутонов и светотени вышли у него и швец Изот, раздающий мужикам книжки-листовки, и кузнец-просветитель Суслов, и мужик Митраш с его поисками «Евангелия Ренана». Та эстетическая ценность, о которой мы говорили,—раскрытие сложного в простом—здесь ему изменяет, и изменяет потому, что—по данным своего писательского «я»—он тот же индивидуалист, что и Чапыгин, что Горький. В очерке, носящем глубоко-интимный характер («Из жизни скитальца»), автор рассказывает нам, как его, всегда сознательно заточавшего себя туда, где нет гущи человечьей, которая, как ему казалось, «только и делает, что месит в грязь подлости своей здоровье душ и тел всех, кто выскакивает из ее строя»; как его, отрезанного от живого мира, в глухом лесу, в зимнице, убаюканной зимними вьюгами, вдруг потянуло от своего одиночества, от своего мудрого молчания, которым он упивался, как медом, к людям, к жизни, к тысячам ее дорог. «Нет, на земле не должно быть так называемого одинокого человека,—восклицал он, не смыкая глаз до самой морозной зари,—жизнь, жизнь, люблю тебя!» И склонен был думать, что это была решимость победить все, что есть темного на земле.

Мы думаем, что это была жажда жизненного материала, без которого художник умирает. Никто иной, как художник—и «нелюдимый», не связанный ни с каким коллективом—пел в Касаткине эти слова: «к людям, к людям! Втиснуться в кипящую людскую жизнь клином, насторожить ухо и глаз на все голоса и движения ее, слиться с ней сердцем».

Надвигающуюся новь ему не удалось воспроизвести, ибо социальным художником мы автора «Лесной Были» вправе считать не более, чем автора «Белого скита».

VI.

Г. Гребенщиков—описатель Сибири. В «Просторах Сибири» не мало рассказов, не имеющих отношения к сибирякам, но от всего, что он пишет, веет тем, что так поэтически вложено им в «Посвящение», сопровождающее книги:

> Как тайный клад, давным-давно заклята,
> Лежишь под спудом ты, любовью не почата.
> Спят слуги-сторожа...
> Уныло все, и залежи сокровищ
> Во власти темных и глухих чудовищ
> Грызет слепая ржа!

Сибирь очаровала автора, очаровала ширь и девственная красота, и «Просторы Сибири» полны тайн, скрытых в них. Достаточно сравнить их с книгами людей, заброшенных в Сибирь в силу тех или иных причин,—в ее степи и леса,—например, Тана, Серошевского, чтобы оценить всю тонкость авторских приемов. Те сегодня здесь, завтра отряхают прах с своих ног. Все их интересы на западе... Гребенщиков же напоен дыханием тайги, видит, слышит не только быт, но и душу Сибири.

Оттого так интимны уже краски природы Гребенщикова. Холод снежной степи, шорохи леса с его тайной жизнью, язык зверя, населяющего его,—вы чувствуете: писатель роднит вас с воздухом, солнцем и землей. «Осень с задумчивой улыбкой ходила по горам»; «к утру пал иней, теперь видимое пространство степи похоже было на огромный ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью»; «лес молчал и точно слушал что-то важное, таинственно севершавшееся в природе. Эта давно знакомая тишина в лесу напоминала Михаилу Григорьевичу о вечном молчаливом покое, таком вдумчивом и бесконечном»... Природа как-то слита у Гребенщикова с человеком. Он не далек от своего Батырбека, которому было так не весело, но которого так успокаивала всегда степь, ибо звала куда-то далеко, звала и без слов говорила много такого, что в ауле не приходило в голову. Вот едет он по степи, и она рассказывает ему сказки, а навстречу ветер, мягкий и про-

хладный,—врывается в камзол, щекочет смуглое тело за пазухой. Так и сам художник: душа природы—душа человека...

И у вещей та же душа... «Посреди села, на горке, как пастушка среди стада, возвышается пестрая раскрашенная под кирпич церковка»; подняла кверху полинялый крест, и свет луны переливается в нем, «как уголек, который раздувает чье-то невидимое дыхание». «На косогорчике стоит некрытая изба, уставив на луну два окошка—два мутных темных глаза»; «к избе прижался плетеный садик»; «коренастые амбары расселись важно, как бояре, с туго нахлобученными тесовыми крышами. И посреди амбаров, как древний царь среди бояр, возвышается суровый, серый, крепкий дом в два этажа». Такова душа вещей... Не навязывает писатель своих ассоциаций и чувств,—он переводит язык вещей на язык, доступный человеку, убедительный для всякого, кто сжился с ними...

Ярких проблем, острых моментов нет в «Просторах Сибири». Но наблюдения разнообразны. То перед вами—волчья жизнь, то жизнь киргиза, для которого вольная степь—одно прошлое; то работа в шахтах, то драма лесных людей, то любовь сельского дурачка. В темах интеллигентских и аналогичных им Гребенщиков обнаруживает чувствительность, шаблон. Такова «Лебедь». Жандармский офицер убивает лебедя. Вдруг ему начинает казаться, что не лебедь лежит на льду озера, а собственноручно подстреленная им совесть. Такова и «Дорога». Психология отставного полицейского изображена в таких тонах: «пугливо и беспомощно заметалась душа его, пытаясь отыскать цель и оправдание жизни». Это не сфера Гребенщикова. Его сфера—деревня, киргиз, горнорабочий, лес и степь. Примитивный быт, примитивная душа—вот ткань, по которой вышито лучшее Гребенщикова, в чем больше всего движения и красоты.

Чем примитивнее сюжет, тем сложнее развертывает его он, раскрывая простое. Это сближает его с Чапыгиным, с Касаткиным. Прочтите «Волчью жизнь», «В горных далях». Это ли не язык инстинктов, которыми живет марал, волк? Целый мир душевных движений, своеобразного звериного лиризма и в этом марале, которого отняли от подруги, воздуха и гор и заперли за изгородь, который вырывается из толпы людей, тает где-то в горах в одно из ранних утр, и несется его протяжно-певучий звук. песня одиночества, призывающая потерянную подругу; и в старой и тощей волчице, которую киргиз Чеке считает «соседкой», «лучше мужиков», перегрызающей глотку «темному» врагу своему Митьке.

Так тонки внутренние черты животного. В изображении человека не дифференцированного,—так сказать, родового—Гребенщиков еще тоньше.

Вот смерть. Архип был один на полосе. Услышав лебедей, он поднял широкую и длинную полуседую бороду и вдруг глубоко вздохнул, устремив взгляд на окованное в золото осеннее поле. Песня лебедей будто разбередила что-то забытое и сокровенное.

— Сердце вещует, знать,—подумал Архип.

И упорно держал в памяти звуки лебедей, как нужный вопрос, о котором надо подумать. Спутал лошадей и пошел к стогу, чтобы с ним наедине побеседовать о новой заботе. Но не привыкшая удерживать непонятное, мысль не могла остановиться на новой заботе, а носилась по длинной веренице уже прожитых годов и рисовала давно забытые картины Архиповой жизни. Все они были так похожи одна на другую, и по всему полю труда прошла такая изнурительная торопливость. Некогда было даже подумать, так ли все это, есть ли что лучшее.

Вот поднялась луна и посмотрела «широким лицом» Архипу в душу... Смотрела и молчала... Всякий бугорок, всякий придорожный камешек, что так знакомы ему, как и его деду, лежали и смотрели на заботы Архипа. Зачем это он сегодня думает о том, о чем никогда не думал? Вдруг Архип поднял кверху бороду и прислушался. Откуда то издалека доносилась песня, раздольная, одинокая, исчезая где-то бесследно... Звала куда-то далеко. Архип вспомнил, что ведь и он, когда жизнь была еще впереди, пел в этих полях эту песню... И вдруг понял, почему так просилась в душу осенняя песня лебедей... И заплакал Архип, что не запоет больше этой зовущей куда-то песни...

Не запоет... Умер Архип,—застигла мятель в степи. Лежит в своей избе с каким-то новым лицом. Впервые не торопится он; свободно опустив мозолистые руки, смотрит куда-то далеко... [1]).

Вот «Ханство Батырбека»... Дни вольных ночевок по ковылям—где вы теперь? Наехали чиновники, наставили столбов, и в привольной киргизской степи закопошилась чуждая киргизам жизнь. Киргизы оказались как-бы загороженными в своих просторах внезапно выросшими деревнями и стали копить в сердцах злобу. И дни идут ровно, одинаково; точно ритмически капают похожие одна на другую капли, полные безразличия к окружающему. Первая же гололедица, и «конец» «Ханству Батырбека». Погибает весь скот... Это бы перенесли киргизы, если бы очи не были

[1]) «В просторах Сибири» (Издание т-ва писателей. 1913 г. С.-Петербург), т. I.

огорожены и стеснены... Но куда итти дальше? Тяжко всем, тяжко теперь в степи... И вот те, что помоложе, уже в кривых лабиринтах шахт, в недрах тех степей, где они еще так недавно кочевали в ковылях... Вот лесная драма; в ней сочетаются те две души, о которых писал когда-то Горький.

Все это интимно. Грустный лиризм разлит по всем рисункам, и ценнее всего раскрытие сложного в простом. Порой одна какая-либо подробность уясняет весь образ извнутри. Вы уже дополняете воображением остальное.

VII.

Жестокий реализм, анатомическая правда, беспримесный эпический рассказ Под'ячева ближе к жизненному материалу Решетникова, чем к эстетическим ценностям Чапыгина.

Уже двадцать лет прошло, как кошмарным очерком начал он свою литературную деятельность в «Русском Богатстве». Уже и шесть томов собрания сочинений его вышли в свет, и, вчитываясь в эти книги, раскрывающие нам русский народный быт,—всю дикую разноголосицу мнений, весь многоцветный, причудливый темперамент масс,—вы выносите впечатление, что по широте захвата и знанию жизни, обилию явлений действительности, типов и характеров Под'ячеву нет равного среди беллетристов из народа. Огромный запас наблюдений, знание самых разнообразных пластов народной жизни—вот отличительная черта, по которой можно узнать любую повесть Семена Под'ячева.

Обезземеление деревни, психология полукрестьян-полупролетариев, порвавших с землей, но в городе еще не акклиматизировавшихся, анархия босячества,—все это преисполнено бытовыми деталями; и что бы Под'ячев не изображал: семейный ли развал («Разлад», «Семейное торжество», «Тьма», «У староверов»), безработную ли голь («По этапу», «Очерки московского работного дома»), недоверие и злобу к господам («Карьера Дрыкалина») или монастырское житье-бытье («У тихого пристанища»),—тут подлинная сегодняшняя Русь. Точно это не беллетристика, а действительность, живая правда ее. Наших народников коробят черные пятна мужиков в Касаткинской «Лесной были». А вот «светлые» тона Под'ячева:

— Сидит кошка. Взял я бревно—раз... Убить не убил, только спинку перешиб.

Другой увидел гнездышко во ржи. Птенчики маленькие. Взял за ноги одного да и разорвал пополам. Любопытно. Другого взял, разорвал. Так со всеми и прикончил. И то же отношение человека к человеку.

— Бил я жену, смертным боем... Мытарил всячески, отраду себе находил. Раз я что с ней сделал... Не поверишь, а правда... Распял ее. С пьяных глаз, конечно. Вывел ее на двор, привязал ноги к столбу, а потом руки прикрутил... Повисла она... Голову на грудь свесила, глядит на меня... Взял я кнут да и давай ее полыхать...

— Подожди,—перебил я.—За что же ты собственно ее бил?

— За что-о? Не знаю. Так. Стоит, бывало, мне ее только раз ударить, то и пойдет. И начну, и начну...

Невежество, дикость, снохачество; мастеровой, запутавшийся в потемках противоречий, патриархальные отцы и психически перерождающаяся молодежь, зависть к городу с ее легкой жизнью и пренебрежение к деревне со стороны побывших в городе—на все глядит Под'ячев прямо и открыто.

Конечно, «быт» наложил свою печать на бытописателя. Не ищите у него того стиля, четкого и строгого, того художественного целомудрия, которое так значительно в Чапыгине. Вы сразу чувствуете, когда перед вами беспритязательный расказчик, когда—художник, претворяющий жизнь в художественное обобщение. Длинноты, утомительное изложение не оставляют сомнения в том, что жизнь берется, как она есть, как бытовой жизненный материал, и этот бытовой материал держит Под'ячева в своей притупляющей власти. Сам того не замечая, писатель становится столь же грубым, вульгарным, как самая его тема, как те свойства русской народной действительности, с которыми он имеет дело. Это дает себя чувствовать уже в языке.

Мы не ждем здесь того мастерства, которое так характерно для аристократов слова, холодно чеканящих слова, не освященные трепетом сердца. В царстве вшивых, пьяных и грязных, «полуголодных людей, из'еденных насекомыми, опостылевших друг другу» в этой жизни, «закиданной грязью, залитой сивухой», реализм требует этих бесчисленных: «вмазывай», «пошел к кобыле под хвост», «что б ты сдох, окаянный!». В этих «мурцовках на семнадцати винтах» жестокий колорит правды. Но от чего нужно отучиться Под'ячеву—так это от режущих ухо словечек, обойтись без которых можно, нисколько не погрешив против правды. В языке Чапыгина нет утрировки, ничего лишняго нет. Под'ячев же хватает через край этими «сейчас издохнуть», и это тем более жаль, что утрировка эта носит характер поверхностный; что настоящия свойства языка Под'ячева—крепость, почвенность, с тру-

дом укладывающиеся в рамки установленной нашей речи. Поистине особый словарь какой-то нужен, чтобы разобраться в языке его. До того Под'ячев знает речь простонародья.

Из-за этого быта так и глядит Решетников, которым уже больше занят историк литературы, чем читатель. Однако, едва ли мы ошибемся, если скажем, что рука времени, отметая все временное, незначительное в художественном отношении, не так легко пройдется по произведениям Под'ячева. Не так легко потому, что «быт» не погасил у него личности, индивидуальной жизни ее с волнениями и катастрофами.

В этом невежестве, распаде, дыхании кабака, в безземельной бесшабашности, в новой цивилизации со «спинжаком», граммофоном, самоваром дрожит и мечется индивидуальность. Уже в раннем своем произведении—«Московский работный дом»—бытописатель наш предстает перед нами и в своей слабой, и в своей сильной стороне. Достаточно сопоставить это произведение с «Белым скитом», чтобы почувствовать, как часто богатство образов уступает место протокольной правде. Но вместе с тем как много видит автор в интимной книге жизни! Как полно захватывает процесс переживаний этих людей, замученных и задавленных! Голых переходов чувств, поверхностных эмоций не увидите вы даже в таких бытовых очерках, как «По этапу». Вот «Тьма», «Разлад», «Семейное торжество». Каждый из этих рассказов ведет к красному петуху, к петле, к убийству — нет исхода из борьбы, есть лишь внешняя связанность. Но драматизм Под'ячева не только пугает. От него, в самом деле, страшно.

Наш автор более внешен, элементарен, менее культурен, чем Чапыгин. Но герои его освещены тем же внутренним светом. Оттого-то как ни кошмарны они, эти рассказы-исповеди,—они полны бесед по душе, богатство психики в них поражает нас. Как и у Чапыгина, родник народности состоит у него из противоречий. Тут и простота, и хитрость, и темнота, и напряженность интеллекта, всей психической жизни, подчас весьма богатой, и зверский инстинкт, и благородное движение души,—все то, что используется им не для обще-типичного рисунка, а для индивидуального портрета. Словом, Под'ячев—наблюдатель, описатель и рассказчик. Но в передаче факта он психологически глубок, совсем того не замечая и ничуть о том не хлопоча, и вы видите не только быт, но и личность мужика, личность рабочего во всем ее многообразии.

Заставляет автор читателя и «мыслить». Один из его «героев» так об'ясняет недоверие мужика к «господишкам»:

«Не товарищ ты мне. Мое дело, где можно, облапошить тебя, обобрать, потому деньги у тебя шалые. Кормим то мы тебя, а не ты нас. Свое у тебя взять, каким ни на есть манером, не грех... Так—то!» Другой чуть не проблему алкоголизма разрешает: «Не потому пьем, что принято пить.—Где уж! Пьем потому, что не уверены в своей жизни, оттого, что боимся жизни нашей. Если бы, допустим, у меня было все хорошо, т. е. знал бы я, что и сегодня, и завтра буду сыт, обут, одет, в чистой избе, и что впереди мне бояться нечего, я не пил бы так или даже совсем не пил».Это, конечно, не раз высказывалось в более блестящем изложении. Но справедливость требует заметить, что в этого рода экскурсии пускается наш автор редко.

И очень хорошо делает, ибо то, что по силам его таланту, не по силам его развитию. Малообразованность писателя, беспомощность в области идей бросается в глаза. С верным художественным тактом понял он, что сила его там, где обыденная жизнь народа; где же надвигающаяся новь требует от него «идей», помощи анализирующей мысли,—там он не подготовлен, как ум, и бессилен, как художник.

VIII.

Иван Вольнов — беллетрист, пришедший к нам из нового мира, человек новой психики—связан с молодым поколением деревни средней полосы России (Орловской), и его «Повесть о днях моей жизни», состоящая из двух книг (Детство—Юность),— первое произведение о крестьянском новом мире.

Сельский батрак, изведавший всю прелесть наемного труда у сельского кулака, он побывал в городе, прежде чем вернуться в свое Осташково с новыми открытыми глазами. «Я вспомнил, как давил меня город, этот ненасытный зверь, лежащий на хребтах измученного простонародья,—говорит Вольнов в своей «Юности»,— как я, простой деревенский человек, живя в нем, тосковал по цветущим просторам полей, ярким зорям, простым отзывчивым и близким людям. Не скрывая злобы, я позорю его. А в уме неотступно стоит: плохо, тесно там и не уютно, люди злы, жестоки, низы маются и стонут, и грызут друг друга, но ты же в городе прозрел, осмыслил жизнь, городские люди научили тебя уму-разуму; не побудь там, ты исчах бы в батраках, у таких мерзавцев, как Сазонт Шавров, кулак; как собака, замотался, опаршивел бы в их цепких «лапах»[1])

[1]) Курсив мой. *Л. Кл.*

Молодой батрак рвется из рабьей философии отцов, а в это время в самой деревне веет уже иным духом — коллективная мысль делает первые шаги, ища нового пути; в сердца людей, отравленных многими обидами, западают семена не звериной правды. Как-то вдруг «в сердце каждого вырос клубок запутанных ниток мыслей». Люди приносили «много злобы с собой и много новых дерзких слов и, бросая их пылающими головнями в вековую тьму народного разума, опутанного паутиной рабского незлобия, горели сами великим пожаром, одухотворенные своей ненавистью и криками истерзанного сердца своего, тоскующего по божьей правде». Как будто все к чему-то готовились, что-то смутно предчувствовали, во что-то глубоко верили. Часто в мелочах, в незначительных событиях, словах—там, где меньше всего можно было подозревать что-либо,—невольно бросалась в глаза эта печать нового настроения деревни. «А порой (казалось), как будто завтра большой важный праздник, к которому люди готовятся деловито, серьезно, чтоб с честью встретить и отдохнуть. Тут же рядом—серые будни».

Молодая правда противопоставляла себя старой. Смутны и робки были ее очертания,—в перспективе только намечался 1905 год,—но процесс выделения из «мира» собственной мужицкой интеллигенции начался, и вот, сам все это пережив, Иван Вольнов показывает нам, как «по песчинке, по крупинке перестраивается на новый лад» «забитая и запуганная» крестьянская душа. В этом различие между Ив. Вольновым с одной стороны, Чапыгиным, Касаткиным, Под'ячевым с другой. Ни Чапыгин, ни Касаткин, ни Под'ячев, собственно говоря, не подходят к деревне с меркой культуры. Жизнь идет, совершаются где-то перевороты, а деревня сидит в своих сугробах, немая, беспросветная. Где-то электричество горит, стучат машины, движутся поезда, а здесь неподвижный оплот азиатчины—вот источник их вдохновения. Чапыгинский богатырь озирается назад, к каким-то болотам, где затерян Белый Скит. Иван же Вольнов, наоборот,—в будущем деревни, в тайной работе ее, в той искре, из которой возгорится пламя.

Но вот, чего не утаишь. Художественное дарование Вольнова не подлежит сомнению (о степени этого дарования, конечно, можно спорить). Тем не менее, первое произведение его, повесть о новых мужиках, о растущей интеллигенции из крестьян, показавшая, как и почему так переплелось божеское и дьявольское в восстании мужика, недаром названа в подзаголовке «крестьянской хроникой». Сопоставьте «Повесть» эту с тем же «Белым

Скитом», и вы почувствуете, что перед вами автобиографический рассказ—не более. Конечно, вымысел сплетен с правдой; их, быть может, не легко и разграничить. Свежесть, простота и сила сообщают жизненным сценам убедительность. Никого не убедили заключительные слова Горьковского «Лета». А «Повесть о днях моей жизни» вливает в эти слова недостающую им жизнь: «с праздником, великий русский народ, с близким воскресеньем, милый». Но все же это повесть-хроника.

В. П. Кранихфельд правильно отмечал преобладание слуховых восприятий над зрительными у нашего автора. Вот, например, описание природы путем звуков, а не красок: «ш у р ш а т по берегу сухими метелками серые камыши, будто старики на завалинке р а з г о в а р и в а ю т о прошлом. В заводи п л е щ е т с я рыба, у х а е т выпь, ф ы р к а ю т стреноженные лошади, жалобно б л е е т забытый пастухом ягненок. Чутко насторожив у ш и, дремлют собаки. З в е н я т на молодых жеребятах колокольчики. В Борисовке, верстах в трех от табуна, в плотной вечерней тишине с о ч н о ш л е п а е т в а л е к»...

Точно не высмотрел, а подслушал Вольнов все то, что рассказал... Очевидец и участник всего описанного, он не шлифовал своих страниц и, каково бы ни было его дарование, будни деревни, преображенные общественной правдой «Повести» скорее документ эпохи, чем художественная ткань.

Но такова тайна значительного произведения: «Повесть» все-таки нас убеждает, мы принимаем ее, как истину. В чем же сила автора? Мы видим п о д л и н н ы х крестьян, слышим подлинные их речи. Каким-то сном золотым обвевает «Лето» будни деревни: из-за сказки не видно то, что бывает, что непременно будет. В «Повести», напротив, все буднично, просто, и проще всего эта «тайная и непрерывная работа души, напряженная и тоскующая».

Нельзя сказать, что люди Вольнову одинаково удаются. Так, фигура кулака Сазонта Максимовича отнюдь не из удачных. Еще острый ум Гл. Успенского мучился над вопросом: что такое кулак? Он находил, что кулак в деревне—явление не наносное, а внутреннее, что «для кулачества необходимо быть очень умным и талантливым человеком. Иногда блещут в деятельности кулаков подлинно гениальные способности». Вольнов и пытается слепить Сазонта Максимовича из черного и белого теста, но эта задача ему не по силам. В изображении Прохора Галкина просвечивает романтизм. Возвратился Прохор с войны с глубоко израненным сердцем, с ненасытною злобою в душе. «Каждый солдат для них

сперва человек... Это, братцы, большое дело—уважение к другому» и т. д. Вообще, слишком уж «захватывает дух» и «темнеет в глазах» у наших мужиков от смелых слов какой-нибудь прокламации. Но вместе с тем и Ваня, от лица которого ведется рассказ, и Прохор Галкин, и весь кружок их—это то, что было, чему нельзя не верить. Шаг за шагом развертывается жизнь начинающих сознавать себя крестьян, первые думы их, первая жажда перейти от слов к делу,—автор умеет уловить внутренние голоса людей, раскрыть психологическую их необходимость. Рисует он их—Ваню, Галкина, в которых многие крестьянские интеллигенты себя узнают—на фоне «дикой и мучительной жизни, которой живут они.» Власть тьмы и правда молодых пробудившихся душ своей противоположностью оттеняют одна другую, и что примечательнее всего—н и з д е с ь, н и т а м н е т б е з л и ч и я.

Вспомните Мотю или Петю: их о щ у щ а е ш ь, их чувствуешь. Вспомните историю Васи-дворянина: здесь прежде всего личность, индивидуальное, а потом уже группа, групповое. Вторая часть бледнее первой. Но и Прохор Галкин, и Прохорова старуха, и сестра Прохора Настя, и члены Прохорова кружка выхвачены из жизни со всеми их особенностями. Из-за всех их похождений, тоже выхваченных из жизни, глядит д у ш а, каждая на свой простой, но вместе с тем сложный лад.

Стремление личное об'яснить групповым, коллективным, оправдать так называемым бытом дает себя знать в большей степени, пафос самобичевания в меньшей, чем у писателей, о которых выше речь. Но и здесь сплошного вы не видите. Мир Вольнова, художественно незавершенный, все же—в пределах доступной автору изобразительности—освещен н е и з в н е, а и з в н у т р и.

IX.

Давно ли ставился вопрос в нашей литературе: быть ли быту? Не изжит ли реализм? «Быт умер»—ликовали символисты, поэты творимой легенды. Из художников из народа, о которых у нас речь, учится писать у символистов один Чапыгин. Но, очевидно, весьма далек он от тех «чистых» идей, во имя которых готовили у нас: «смерть быту». Можно ли художественно мыслить о народе и в то же время отвлекаться от бытовой канвы, в которой он живет, от многообразия бытовых единиц, из которых он состоит? Ведь до сих пор так много неразработанного, нераз'ясненного в народе, такое обилилие лабиринтов... Ведь до сих пор не можем мы

осмыслить эту сложность, потому что «сущности» заменяли нам живых людей; точно в пределы девственной тайги входим мы... И лишь мастерству письма учится Чапыгин у символистов.

Но знаменательно,—думаем мы,—что Чапыгин, как и большинство поэтов из народа, не чужды в наши дни новому искусству. Прозаический натурализм, без сомнения, пройденная ступень для наших авторов. Из полосы реализма потянутся они не вширь, а вглубь, ибо реализм собственно есть прием, и на ряду с тем, что ощущается, как реализм, целесообразно и иное, дополняющее реализм. Нашим реалистам-бытовикам—при всей их жадности к колориту места и времени—не миновать влияния символизма, как не миновали их поэты рабочие и крестьяне.

Правда, демократия, творя новые формы жизни, лелеет мечту о новых формах искусства. Изжитость старого искусства ставится ею в связь с классовой природой последнего. Но признаков нового искусства в этом классовом смысле слова у нас на лицо нет; те слои, от которых ждут, что они откроют новые пути в эстетике, в художественном творчестве, еще творческих традиций буржуазного наследства не изжили. Недаром «социологическая подкладка» не в ладу с художественной интуицией у наших художников: нет наличия той культуры, той психологии, в которой лишь и мыслим с о ц и а л ь н ы й художник в «классовом» смысле этого слова.

В поисках стиля, в области формы наши авторы на пути от ученичества к мастерству, не выходящему из рамок буржуазных. Тут только не мешает вспомнить слова Эртеля: «я разночинец,—писал он,—но во мне помяловщины нет ни на иоту»; это, в самом деле, было так. Отчего же нашим художникам не отрешиться р а д и к а л ь н о от реализма прозаично-описательного и перейти к новому реализму, реализму художественному, которому так отвечает индивидуализация, об'ектирование духовной личности народа?..

Итак, у беллетристов-н а р о д н и к о в быт стал целью вместо того, чтобы стать средством. Искусство выродилось в этнографию, в «гипертрофию быта» в искусстве. И художники из народа—реалисты, бытовики. Чтобы изобразить индивидуальное, надо начать с группового, что они и делают. Обстановке, в которой люди живут, коллективной психологии, которой они дышат, наши авторы уделяют не меньше внимания, чем беллетристы-разночинцы. Но живой человек у них сложен. Простое представить в сложном, исходя из этих бытовых моментов, бытовой окраски живых людей,—вот их творческий прием. Но вместе с этим приемом старый реализм отступает, подходя к новым, более сложным приемам мастерства.

ГЛАВА VIII.

Новые силы.

А. Новиков-Прибой, А. Неверов, М. Волков, Ф. Гладков, П. Низовой, А. Демидов.

I.

Художники-реалисты, выступавшие до и после революции 1905 года, умолкают после 1917-го г. Если не считать перепечатки книг Чапыгина и Касаткина, то что они дали? Ни Чапыгин, ни Касаткин, ни И. Вольный, ни Под‘ячев не подарили нас новой книгой. Время от времени появляются их вещички, но ставить их рядом с их прошлым не приходится; выделив «Сувенир» Чапыгина, написанный в 1917 году, мы имеем перед собой лишь мелочи.

А вместе с тем вырастает горка новых книг. Ряд сил от станка, от прилавка, от чернозема идет на смену «старикам». Не посторонились ли те, чтобы дать место «молодым»?

Правда, молод лишь Волков. Новиков-Прибой свой первый рассказ («По темному») напечатал в «Современнике» еще в 1913 г. Печатал рассказы и в «Современном мире», «Северных Записках», «Жизни для всех». Неверов дебютировал в «Современном мире» («Музыка»); печатался и в «Русском Богатстве», в «Жизни для всех». Гладков в большую прессу попал в 1917 году, появившись в журнале «Летопись» («Единородный сын»), и лишь Волков, Демидов и Низовой—дети революционных лет. Волков «писательских намерений» не питал до 1918 года, когда попал в литературную студию. Последнее и пробудило в нем писателя. Низовой пробует себя с 1911 года, но находит себя лишь в наши дни. Однако,—как ни различно время их вступления в литературу,—всех их об‘единяет одна черта: «расцвет» их относится к нашим дням. Недаром Неверов—в одном из писем ко мне—просит не судить о нем по произведениям до-революционных лет. «Посылаю вам и рассказы до-революционные,—пишет он.— Самого меня они не удовлетворяют своей обработкой. Но что было, то было».

Ни один из них до 1917 года не издал книги. Даже «Морские рассказы» Новикова-Прибоя, в которые вошли рассказы

до-революционных лет, появились в этом году, остальные же сборники—уже позднее. Таковы: А. Новиков-Прибой. 1) «Море зовет» (Барнаул, 1919 г. издание «Сибирского рассвета»); 2) «Две души» (того же издания); 3) «Море зовет»,—морские рассказы, книга вторая (2-ое издание «Кузницы». Москва 1921 г.). Не следует смешивать с Барнаульским изданием, в которое вошел лишь один рассказ; 4) «Подводники» (издательство «Круг»); 5) «Вековая тяжба» (Москиа. 1922 г.). А. Неверов. 1) «На земле. Рассказы. Том I (Москва 1922 г. издательство «Жизнь и Знание»); 2) «Лицо жизни». Рассказы. Том II (того же издания); «Новый дом». Рассказы (Москва 1921 г.); «Поросенок». Рассказы (Самара 1922 г.); «Гуси-Лебеди». Роман (Москва, издание «Кузницы»). Ф. Гладков. «Пучина» (Москва 1923 г., издание «Кузницы»). М. Волков. 1) «Заковыка». Рассказы и сказки (издание «Кузницы». Москва 1923 г.); 2) «Петушок» (того же издания 1921 г.), 3) «Чудо» (издание Всероссийской ассоциации пролетарских писателей), 4) «Червяк»; 5) «Летропикация» (издание Московского Пролеткульта). П. Низовой. 1) «Язычники«. Повесть. Предисловие Ю. Айхенвальда (вышло на Дальнем Востоке; второе издание «Жизнь и Знание» в Москве); 2) Первый том рассказов (того же издания); 3) «Чернозем». Повесть (издат. «Круг». Москва). Алексей Демидов. 1) «Жизнь Ивана». Издательство «Земля и Фабрика». 1923 г. Москва. 2) «На шахте». Рассказы того же издания.

Обратимся к авторам. Что толкнуло их на путь литературы?

II.

А. Новиков-Прибой.

«Я родился в 1877 году в селе Матвеевском в Тамбовской губернии. Отец мой из кантонистов Николаевского времени, прослужил солдатом двадцать пять лет. В родное село он вернулся с женою—привез с собой польку, плохо говорившую по-русски, чем удивил своих односельчан. Отец был широк костью, физически силен, весь от земли, прожил девяносто лет. Мать имела мечтательную душу, увлекалась сказочным миром, в мыслях устремлялась к небу.

«Село наше глухое, отсталое, окруженное темной зеленой стеною дикого леса. Школы не было. Грамоте меня начал учить

отец. Старинную азбуку я выучил шутя, но когда дошел до складов, дело затормозилось. Мне настолько опротивела грамота, что потом никакими мерами не могли заставить меня учиться. Отдали дьячку. Это был крупный человек, в лохматом седом волосе, всегда угрюмый. Внешностью своей он напоминал мне саваофа, и это пугало меня. Но и с ним я нисколько не подвинулся вперед. Потом молодой священник составил из мальчиков группу человек в двадцать и начал нас учить в церковной сторожке. Каждый день я возвращался домой с красными ушами. Меня удивляло, что небольшие руки священника могут причинять такую боль. После этого я попал в школу соседнего села. Напрасно засидевшаяся в девицах учительница злилась, старалась наказаниями заставить меня учиться. Мое сопротивление росло, увеличивалось. Я стал мстить ей озорными выходками; наконец, сбежал домой. Мать плакала надо мною, а отец сокрушенно качал головой.



А. Новиков-Прибой.

«В продолжение трех лет мучился я над складами. Каждое печатное слово вызывало во мне отвращение. Я проклинал тех, кто выдумал азбуку. В этот период моей жизни я мечтал лишь о том, как бы попасть в шайку разбойников и вместе с нею разрушить все школы на свете. Но где найти такую шайку? Сколько ни шатался в своих лесах, не встретил ни одного разбойника. Родители мои отдали меня в другое село, находящееся от нас верст за десять. Учительница, молодая и скромная девица с белокурыми локонами, при первой же встрече хорошо улыбнулась мне, по-матерински обняла, обласкала. Я сразу почувствовал, что в груди моей растаял ком накопившейся злобы и потянулся к ней доверчиво. И в две зимы кончил эту школу первым учеником. Проснулась сильная жажда к знанию, но на дальнейшее образование не хватило средств.

«Запрягся в земледельческую работу. Вместе со старшим братом Сильвестром, постоянным спорщиком с попами, читал все, что попадалось под руки: приложения к журналам, по астрономии, о Джеке Потрошителе, но больше все книги религиозные. Мать моя, как женщина религиозная, готовила меня в монахи. Может быть, я и был бы в монастыре, если бы случайно не встретился с матросом. Благодаря этой встрече, моя жизнь сложилась по иному. В мыслях я жил морем, а на двадцать втором году осуществил свою мечту, назвавшись охотником в военный флот».

«Этот случай, решивший мою судьбу, рассказан в рассказе того же названия»—пишет Новиков-Прибой. Пользуемся им, чтобы прибавить несколько штрихов.

Мать, состарившаяся в тоске о родине, смотрела на землю, как на юдоль скорби, и с любовью посещала монастыри, настраивая и мальчика на тот лад, что здесь, в обители, пройдет его жизнь.

— Тихо и скромно пройдешь ты путь земной,—говорила она ему, возвращаясь как-то из монастыря в тихий летний вечер, по высокому берегу реки.—Обрадуется и бог, как увидит, что душа твоя чиста, как свежий снег,—ни одного пятнышка порока.

И мальчик, в ушах которого еще звучал голос монаха, словно на крыльях уносивший его душу к небу, уже привыкал к этой мысли.

Так они идут под звон колоколов, и мальчику кажется, что—в тон колоколам—все поет: и тихая река, и зеленые луга, и дремучий бор, и прозрачный воздух. Но в это время нагоняет их, поглядывая в даль, человек такой странной формы,—он еще такой не видал. Это матрос. Он прислушивается к разговору матери с сыном.

— Это что же божьей дудкой хочешь сделаться?—Смеется он, обнажая белые, как сахар, зубы.

— Вовсе не божьей дудкой, а монахом,—отвечает мальчик, немного обиженный насмешкой.

— Ты сначала поживи на свете да погреши, а потом уж в монастырь пойдешь...

И матрос начинает рассказывать ему про море.

— Да ты, малец, хоть бы одним глазом взглянул на море, так и то ахнул бы от удивления.

Мать недовольна разговором. Но матрос утешает ее.

— А вы, мадам, не сердитесь на меня. Я и сам к духовному званию касательство имею.

— Неужели!—обрадовавшись, восклицает мать.

— Ну, а как же! Во-первых, я учился грамоте у дьячка, а, во-вторых, мой родной дедушка только тем занимался, что церкви обкрадывал.

Повернувшись к мальчику, он на прощание жмет ему руку, щуря веселые глаза:

— Эх, молодец, из тебя, я вижу, хороший бы моряк вышел...

От такой похвалы замирает сердце мальчика, и вдруг взбудораженным мозгом, пьяными мыслями он начинает думать о море. Нет, он уже не закиснет здесь. Его будущее там где-то далеко-далеко, на синих морях, на беспредельных океанах, куда на орлиных крыльях уносит его юная фантазия.

Но продолжаем рассказ автора.

«Попав матросом в Балтийский флот, я усиленно занялся самообразованием. На каждую книгу я набрасывался с остервенением. Но чтение это было бессистемное, в голове получалась мешанина. Часто попадались книги с таким содержанием, которые были для меня неперевaримы. И только тогда, когда я достал каталог Панова и «Энциклопедический Словарь» Павленкова, мое умственное развитие пошло быстрее. Эти две книги были для меня, как две профессорских головы; из одной я получал указания, что нужно читать, а другая поясняла непонятные слова. Впоследствия еще более полезными оказались для меня указатели Н. А. Рубакина: «Практика самообразования» и «Среди книг». Одно время я посещал в Кронштадте воскресную школу. До сих пор я с благодарностью вспоминаю о ее преподавателях. Через них я впервые познакомился с нелегальной литературой; здесь началось мое социальное пробуждение, как и моих товарищей. Из этой школы был направлен в мрак царского флота яркий луч прожектора. Но это продолжалось не долго. Вскоре школу закрыли, некоторых преподавателей арестовали. Начались аресты и во флоте, и вместе с другими матросами я попал в дом предварительного заключения.

«На литературный путь меня натолкнули биографии таких писателей-самоучек, как Кольцов, Суриков, Решетников, Максим Горький. Ознакомившись с их жизнью, я понял, что можно и без высшего учебного заведения быть писателем, и начал марать бумагу. Первая моя статья, в которой я призывал матросов посещать воскресные школы, была напечатана в «Кронштадтском Вестнике». Это меня окрылило. Я начал мечтать о литературной деятельности всерьез. С этой целью, когда шел к Цусиме, вел дневник, но при сдаче в плен японцам пришлось сжечь его, так как боялся, что он попадет в руки неприятеля.

«Потом меня постигло еще большее несчастье. Находясь в плену у японцев, я очень ретиво занялся собиранием литературного материала о разгроме нашей эскадры при Цусиме. Несколько месяцев работал я сам над этим материалом, работали мои товарищи. О каждом судне были собраны подробные сведения: что делалось во время боя в боевой рубке, батарейной палубе, в башнях, в машинном отделении, какие отдавались распоряжения и т. д. Таким образом накопилось рукописей у меня целый чемодан. Это был очень ценный материал: в нем подробно и правдиво изображался бой и, кроме того, освещался этот бой с точки зрения не командного состава, а матросов. Но он весь погиб, погиб очень нелепо. Дело в том, что через меня проходила и распространялась среди пленных нелегальная литература, которую я получал от старого народовольца Русселя. Сухопутные офицеры, узнав об этом, повели против меня агитацию, доказывая, что царю все известно о пленных, развращенных политиканами; что он теперь от них откажется, и что им никогда уже больше не видать своей родины. Кончилось тем, что однажды утром около трех тысяч солдат окружили наш барак и потребовали выдачи меня. Я понял тогда, что ничего нет страшнее на свете, как раз'яренность толпы. Цусимская бойня мне показалась пустяком. Даже теперь мне тяжело вспоминать об этом. Около меня оставалось верных товарищей человек пятнадцать. В самый критический момент мы рискнули на отчаянный шаг: с кинжалами в руках бросились на толпу. Толпа с ревом шарахнулась от нас. Это дало нам возможность убежать из лагеря в город, где мы были арестованы японской полицией и посажены в тюрьму. Солдаты, озлобившись, собрали все мои вещи и чемодан с рукописями и подвергнули все это публичному сожжению на костре. Так погиб весь мой материал. Впоследствии лишь кое-что удалось восстановить из него в памяти, и в 1906 и 1907 г.г. выпустил я две небольшие книжки о Цусимском бое. Но они были тотчас конфискованы.

«С 1907 по 1913 год скитался заграницей, как политический эмигрант. В Англии прошел «потогонную систему»; потом плавал матросом на коммерческих судах, работал в конторах. Писал мало—лишь в часы отдыха. А во время империалистической войны и в первый период революции не занимался литературной работой. В 1914 году книгоиздательством писателей в Москве была приготовлена к выпуску моя первая книга «Морских рассказов». Но нагрянула война, а по военному времени книга оказалась нецензурной.

III.

Александр Неверов.

«Я родился в 1886 г. в селе Новикове Самарской губернии. Отец из мещан города Симбирска, мать-крестьянка, неграмотная. Чуть ли не с пяти-шести лет я уже начал чувствовать и через чувства воспринимать мир, меня окружающий. Помню, как во сне, передо мной просторная горница в дедушкином дому. Дед был добрый гостеприимный крестьянин, вышедший из крепостного ярма, имел в селе небольшую бакалейную торговлю, и просторная горница в его дому всегда была полна народом: заходили нищие, странники, монахи с «Афонской горы», продавали кипарисовые крестики, раздавали чудесные камешки, чудесную воду из «реки Иордания», чудесные стружки от гроба господнего. И никто, вероятно, не видел в этом столько чудесного, как я. Мои чувства тогда расцветали странным цветом красоты, страха, радости и грусти перед тем, что входило в меня помимо сознания. После монахов заходили мужики, родственники деда, старушка Назарьевна, бакалейная торговка, пили водку, пели грустные мужицкие песни, пели веселые, размашистые песни, и это угарное, и иногда недельное, пьянство опять-таки входили в меня своеобразной красотой, дававшей пищу моему чувству, полетам моей фантазии, развитой не по годам и не в меру.



Александр Неверов.

«А рассказы деда и бабушки о том, как они жили у барина в крепостное время, как барин менял мужиков на собак (отец деда, между прочим, был вывезен из Симбирской губернии, как проигранный Лазареву-барину другим барином); как бил барский староста дедушку, и как била старостиха бабушку за то, что

плохо караулила барских гусят,—все это обостряло мои чувства. Я уносился мыслью в далекое для меня прошлое, а, главное, я его чувствовал, носил в себе; оно распирало мне сердце радостью и грустью, уводило в недетское раздумье. Злобы, неприязни у меня не было, было только любопытство, желание представить их живыми, проникнуть в их души и узнать, что они чувствовали и как чувствовали. Помню такой случай: за селом в пору моих детских лет сохранилась еще барская, полуразоренная усадьба на винном заводе. И с дедом, и один я не раз бывал в этой усадьбе, уже не раз перечувствовавший крепостничество, преломленное через призму воображения. Я видел изразцовые печи, уцелевшую мебель, куски стекла, пыль, паутину по углам, но это были не пыль, не паутина, а родник, из которого я пил непонятную для меня поэзию. Именно поэзию. Пусть это определение теперешнего языка моего; но то преломление мира, какое тогда происходило во мне, было нутряное, исходящее не от разума, а от чувства, которое давало мне прежде всего образы. Даже в эти минуты я жил вымыслами.

«Годам к десяти я не раз ездил с дедом в Тетюши Казанской губернии. Переплывали Волгу на пароме, целыми днями ехали лесом, полем, и ощущения мои становились богаче, и работа мысли сложнее. Лежа в передке телеги, я смотрел на далекое небо, на плывущие по небу тучки и думал о том, зачем и откуда пришло все это и куда уйдет. Тягостное впечатление производили на меня полевые часовенки на раздорожье. Едешь-едешь, бывало, и вдруг наткнешься на такую сиротинку под черным повихнувшимся карнизом, с криво посаженным крестом, с черной безликой иконкой, полинявшей от дождя и ветров. Кто когда ее поставил! Кто когда останавливался около нее, о чем просил бога, и помог ли он ему? Нужно отметить, что монахи, перебывавшие в дому у деда, и по своему набожная бабушка, около которой я вырос и провел детство и отрочество, сделали меня очень религиозным в ту пору. Я знал, что на небе есть бог, но я не любил его, а боялся, ибо считал себя большим грешником и всегда ждал себе наказания, особенно после смерти. Иногда в пьяной компании мужиков, гулявших у деда, я и сам пил водку, воровал у деда в лавочке пряники, деньги для товарищей, курил табак потихоньку и в минуту раздумья о боге, представляя себе раскаленный ад, куда пойдут грешники, сердце мое готово было лопнуть от страха, от нестерпимой физической боли, какую я ощущал в своем теле. Уже потом, будучи лет четырнадцати-шестнадцати, я не мог отделаться от этого ужаса, и когда, например, мылся в бане, я глядел на горячие уголья в печи и все

думал: во сколько раз в аду будет жарче, чем в этой печке. Смогу ли я вытерпеть, если сяду сейчас на горячие уголья? Нет, не смогу. А что будет там? Взрослые и ребята говорили, что в аду огонь горячее обыкновенного в семьдесят семь раз, и, пораженный воображаемой болью, я начинал молиться, прося бога, чтобы он простил меня.

«Помню: поехал я однажды в ночное с лошадьми. Ехал один, солнце уже село. Кругом стояла тишина. Особенно резко представился мне момент моей смерти и неизбежного наказания за грехи. Сидя верхом, я так горько неожиданно расплакался, что совершенно не мог успокоиться. Особенно мучили меня рассказы о страшном суде, когда сойдут ангелы, потекут огненные реки, встанут живые и мертвые. По ночам меня давили кошмары... Коснувшись меня так рано, суеверие так и осталось во мне до сих пор. Как не смешно, но я верю в сны, и сны у меня бывают особенные, повторяющиеся через промежутки. Есть сны, радующие меня, укрепляющие бодрость и энергию. Есть сны огорчающие. Привык к этому.....

«Я занялся хлебопашеством и стал бы мужиком, точно таким, как дед. Но вышла другая полоса. Попал я как-то в Самару, где в то время отец служил городовым. Увидел я половых трактирных в белых фартуках с белыми салфетками на плечах, услышал неслыханную музыку чайников, стаканов, подносов, и представилась мне жизнь трактирная самой лучшей на свете, полной поэзии, звуков, криков, шумов. Захотелось тут и мне быть половым. Это не удалось. Попал я в типографию, в общество колес, ремней, тусклых лампочек. Сначала понравилось какой-то красотой внутренней, которую я тогда осмыслил по своему разумению. Взялся за работу охотно, научился работать на бостонке, печатал конверты для волостных правлений. Постиг это искусство в три-четыре дня; скучно стало, а дальше меня не пускали. Оглядел я ремни с машинами—бежал. Вернулся в село. Опять потянуло к крестьянству, к земле, ибо в ней меня питала своя поэзия.

«Вдруг захотелось быть приказчиком да так сильно захотелось—терпенья никакого нет. Ушел в соседнее село торговое «Старая Майна», поступил в галантерейную лавку. Нитки, ленты, иголки, булавки меня очаровали, а меня заставили стоять около дверей и зазывать покупателей, бегать за чайником, за кипятком, мести полы. Но моя поэтически настроенная душа требовала не этого, и я бежал из галантерейной лавки. Пожил дома немного, ушел в посад Мелекес, поступил в мануфактурный магазин. Но и там получилась та же история. Мне хотелось за прилавок,—работать аршином, укладывать куски материи, опьяняться запахом красок, а меня поставили около дверей. А было мне шестнадцать лет, и я чувствовал, как стыдно стоять у дверей большому парню и говорить мимо проходящим мужикам и бабам: «пожалуйте к нам, пожалуйте к нам».

«Здесь повторились у меня приступы литературного творчества». Еще в одиннадцать-двенадцать лет я написал стихи. Вышло это удивительно и неожиданно. Увидел на стене картинку со стихами и попробовал сам. Это было роковое начало. Смех мужиков и баб, вызванный моим первым стихотворением, определил мой дальнейший путь. Потом это угасло. Теперь на кухне, за печкой, я писал стихи и читал их кухарке Аксинье. Аксинья от радости плакала, тронутая моей лирикой, а я чувствовал: на кухне, за печкой, мне становится тесно. Тут, как на грех, услыхал я за столом хозяйским, что в Мелекесе есть поэт-крестьянин самоучка Денисов, который печатает свои стихи в Петербурге. Не долго думая, иду к Денисову, чтобы поразить его своими стихами. Принял он меня хорошо, ласково. Но не я, а он меня поразил в самое сердце: мне надо учиться, я не знаю рифмы, размера, ударения и т. д. Посоветовал ходить в читальню общества трезвости и прочесть там Никитина, Кольцова, Некрасова. Страдала тогда и грамматика моя. Добыл я синтаксис Кирпичникова, но от него без посторонней помощи разболелась голова, и я пал духом.

Много было мученья напрасного, все описывать долго. Натолкнулся я еще на одного человека—старика-живописца в Мелекесе. Был он души чуткой, доброй, и я ему обязан дальнейшей судьбой моей. Хотел он меня отправить в учительскую семинарию, но я был неподготовлен, готовиться некогда. А как верил в ту пору в помощь небесную, то отслужил молебен в посадском соборе и с сумочкой за плечами отправился на экзамен в Озерскую церковно-приходскую второклассную школу. Поступил, три года проучился и вышел с свидетельством учителя школы грамоты. Будучи учеником, бросил стихи писать, перешел на рассказы, и первый мой рассказ «Горе залили» был напечатан в петербургском журнале «Вестник Трезвости», за что и получил первый гонорар—десять рублей.

Весной 1906 г. поехал в Самару искать счастья. Торговал газетами, убирал мусор на постройке дома, напечатал, между прочим, стихотворение в Самарской газете. Затем отправился в Оренбург. Пробыл там все лето у брата-кондуктора, писал куплеты для кафе-шантана. Мне пророчили блестящее будущее кафе-шантанного поэта, звали с собой в путешествие, но мне вдруг стыдно стало писать для кафе-шантана. Заработал я пять рублей золотом,

поместил в Оренбургском юмористическом журнале «Кобылка» свое стихотворение, получил рубль гонорару и поехал домой. Получил место учителя школы грамоты в деревне и пробыл таковым до тех пор, пока меня не потребовали в армию с начавшейся войной. Так с этих пор и от учительства оторвался.

«Начиная с 1903 г. и до сего времени многим обязан я другу моему П. Яровому, с которым мы писали стихи, лежа у него на полатях. За неимением бумаги, писали иногда прямо на потолке карандашиком. Мы прошли с ним одинаковый путь писательских ошибок и радостей.

«Литературных встреч не было до последних лет, ибо жил я в деревне. Потом в Самаре я впервые познакомился с писателями Н. А. Степным, А. К. Гольдебаевым и другими. Был организован кружок «Звено», оставивший влияние на мои технические приемы. Там же познакомился я с И. Е. Вольновым и случайно заехавшим драматургом Н. Г. Виноградовым. Наибольшее влияние в смысле чистки языка и выработки приемов оказали на меня беседы с ними, хотя и очень краткие. Это было в 1919—20 г.г. До того времени я меньше чувствовал слово, меньше обращал внимание на форму. Я теперь не удовлетворен своими прежними писаниями, ибо вышел из полосы бессознательного отношения к слову; для меня слово—великая вещь, чего я раньше не чувствовал, и все мои прежние вещи кажутся не моими, и я готов всех их похоронить или переработать снова. Виноградову обязан я раскрытием незнакомых или малознакомых мне до того законов технического построения пьес. Пьесы «Богомолы», «Смех и горе», «Захарова смерть» написаны благодаря под'ему, который мне дал этот в высокой степени культурный человек. До этого я переписывался, не будучи знакомым, с покойным теперь В. Я. Муриновым, бывшим членом редакции журнала «Жизнь для всех». В то время, когда я в этом нуждался, сидя в деревенском углу, письма его спасали меня в минуты сомнений и отчаяния. Он первый нашел меня, прислав мне письмо после получения рассказа моего «На земле». Письмо было в высшей степени теплое, и с того времени переписка наша продолжалась вплоть до революции, когда он помер в Калуге на почве голода. Ему я многим обязан. Письма его были для меня манной небесной, ибо укрепляли меня верой в себя, успокаивали в минуты безверья. Это был единственный человек, который не знал меня лично, любил меня, берег и ободрял дружеским словом. Очень хорошо влияли на меня и отзывы таких писателей, как В. Г. Короленко и П. Ф. Якубович. Короленко во всех своих письмах указывал мне мои недостатки в тех рассказах, которые не могли быть приняты редакцией «Русское Богатство». Больно было получать отказы, но ошибок во мне было много, и добрые, несколько суховатые советы я оценил только впоследствии. Петр же Филиппович прислал мне открыточку, где скупо, коротенько, но с присущей ему теплотой указал на имеющееся у меня дарование. Эти несколько строчек были мне дороже большой статьи в пору моих первых шагов.

В 1915 году у меня завязалась переписка с Максимом Горьким. Я получил от него три—четыре письма, где он писал, что прочитал несколько моих рассказов и предвидит, что «я могу и буду писать лучше». «Поверьте, я не ошибаюсь», писал он. Услышать похвалу из уст такого писателя для меня было очень значительно; она имела на меня большое психологическое воздействие. Я стал строже относится к себе.

Вообще, если я имею какие-нибудь достижения, то пришел к ним лишь путем осознания своих ошибок, которых были миллионы. Не успеешь, бывало, отделаться от одной, уже другую замечаешь, третью и так — без конца. И до сих пор учусь. Выражаясь образно, я прошел целый университет своих ошибок, редко-редко получая указания со стороны. Бывало, пошлю рассказ в Петербург из какой-нибудь деревушки и думаю: должны напечатать. А как получу через месяц рукопись обратно, загляну в нее и хлопну себя по лбу: тут плохо, там не хорошо. Упрямство у меня большое. Решил пройти все испытания и тернии самоучки и шел из года в год, иду до сих пор. Рукописи переписывал от руки сто раз. Живу в Москве, где я написал большой роман из жизни революционной деревни «Гуси Лебеди» и повесть из жизни деревенских ребят голодного Поволжья, отправившихся за хлебом в Ташкент.

Из переписки с друзьями я не указал на переписку с писателем-крестьянином Ив. Власовым, работавшим в «Жизни для всех». Мы не были с ним знакомы, не удалось увидеться. Но письма наши были дружеские, теплые. Он разбирал мои рассказы напечатанные, давал на них отзывы. Эта «капля» тоже не пропала даром, и память об этом друге жива во мне.

IV.

М. Волков.

«Родился в селе Скнятине, Тверской губ. в 1886 г. Семья наша была старая патриархально-крестьянская, состояла из 20 слишком человек: дед, бабушка, отец, мать, два дяди, три тетки,

*

братья, сестры, родные и дворовые, внуки, внучки и правнучки. Управлял всей семьей дедушка. Дедушка некогда бурлачил на Волге, ходил «коренным» на барке. Старик строгий, степенный, внешне очень похожий на Л. Н. Толстого, особенно по бороде и лысине. В деревне пользовался авторитетом, как человек, всегда поступающий «по божески». Семейные от мала до велика трепетали от одного его взгляда. С синяками на лбу от дедушкиной науки ходили и не одни ребятишки—ходила и взрослая молодежь, и женатые сыновья.

Пяти лет я уже работал топором, долотом, — построил скамейку. Из семейных работ на мою долю выпадало: загон скота по пригоне из поля; помогать бабушке сидеть с ребятами, т. е. пичкать хлебной соской, качать в зыбке, если заревут. Конечно, старался, по возможности, скорее увильнуть на Волгу. Волгу я любил и люблю больше всего в жизни. Потом, в тяжелые жизненные минуты, когда падал духом, стоило побывать на Волге, и опять являлась энергия. Зимой забьешься к деду на печку вечером и слушаешь сказки про «Емелю-дурачка», про «царя Берендея». Дед знал только сказки. Поступил в сельскую школу. Школа стояла на самом берегу Волги; я занимал место у окна, часто с бою. За окном волжская панорама: хлопает колесами пароход, гремит цепью туэр, чуть движется барка по течению, ковыляет рыбак в челноке, а дальше—зелень, желтизна полей, темная полоска леса на горизонте и, словно куры на нашести, пристроились на берегу избенки деревень. Так засмотришься, что не услышишь приказание учительницы: «читай дальше». С удовольствием слушал только рассказы учительницы о разных странах и чудесах на белом свете. Первым удовольствием для меня было сойтись с кем-либо на кулачки: в одиночку—«на любака»—или группой — «в стенку». От такого удовольствия не проходили синяки на глазах и скулах.

Вообще, в мою жизнь, как и всех в деревне ребят, из взрослых никто не вмешивался ни указаниями, ни советами; все события и явления приходилось воспринимать «своим умом» и давать им ту или иную оценку; вмешательство родителей, дедушки, старших заключалось исключительно в одной порке, значит, каждый поступок, хороший, плохой ли, я должен был познать эмпирически. Поэтому я чутко прислушивался и присматривался к тому, что говорилось и делалось вокруг старших, и уже 8—9 лет все знал «про аиста»—подглядел раз роды женщины в «подклете». Иногда—после порки—«бегал топиться на Волгу», т. е. стращал мать, что иду, мол, топиться. Летом иногда ходил

с теткой Афросиньей на богомолье в Макарьевский монастырь, в Калязине. Там на ночевках, в монастырской слободке или в «страннoприимном доме», собирались богомольцы со всей России. Меня интересовало не само богомолье, а рассказы богомольцев про житие угодников. Любил почитать и читал все, что попадалось под руку. Тут были и «Капитанская дочка», и «Еруслан Лазаревич», и жития святых в лубочных изданиях. Одиннадцати лет, кончив сельскую школу, помогал учителю учить младших. Дома стали уже серьезно приучать к полевым работам,—возил на поля снопы, подавал снопы в овин, сушил сено, боронил поле.

Но вот дядя по матери прислал письмо, что в один мануфактурный магазин требуется мальчик. Испекли мне подорожников, благословили «Прасковьей-Пятницей»; перекинули через плечо лямко котомки и отправили в Москву. Быть мальчиком тогда было не легко. Рабочий день тянулся с 5 утра до 12-ти ночи. Метешь пол, смахиваешь пыль, тащишь пудовый чайник с кипятком, а потом пойдет торговый день: «подай то-то, достань другое, отвори дверь покупателю, снеси покупку». И прешь пачку пуда в два мануфактуры за покупателем чуть ли не пол-Москвы: покупателями магазина были портные, мелкие торговцы готовым платьем. Часто приходилось бегать в ренсковые погребки; бегал охотно, так как в некоторых погребках выдавалась премия,—карамелька или грошевая книжечка. Я предпочитал книжечку карамельке, так что скоро составилась у меня целая библиотека: «Как львица воспитала царского сына», «Разбойник Чуркин», «Битва русских с кабардинцами», «Первая ночь новобрачных», «Сонник», «Песенник» и пр. Мальчикам читать не разрешалось. «Зачитается»—не будет следить за делом. Читал тайно ночью при свете уличного фонаря. К счастью или несчастью, против моей койки за окном пришелся газовый фонарь. От такого чтения несколько раз заболевали глаза. Читаешь, а кругом храпят приказчики. Если проснется кто — подзатыльник с нравоучением: «зачитаешься, паршивый черт». По вечерам—кроме выпивки—приказчики резались в карты. Если кто брал в руки книжку, долгое время над ним потешались. Часто читались под дружный хохот рукописные и печатные скабрезные книженки («Лука» Баркова). Слушали и мальчики, их даже заставляли повторять пикантные места.

На второй год моего «мальчишества» случайно узнал про воскресные классы рисования при политехническом музее. Сговорился с одним из мальчиков. Вот стали вместе убегать рисовать. Занятия происходили от 9 до 11 утра, а в половине 12-го откры-

вался в воскресенье магазин. Требовалось много изворотливости, чтобы не попасться кому-либо из приказчиков на глаза. Мальчикам без разрешения нельзя было выходить за ворота. Был еще один мальчик, который имел несчастье писать стихи и не сумел скрыть к ним свою страсть. Мальчик был чуткий и не глупый. Но довели его до того, что он травился нашатырным спиртом; выздоровел, но потом—уже приказчиком—спился и пропал на Хитровке. Быстро культивировался и шел в гору только тот, кто усваивал приказчичью культуру: крахмальный воротничек, пробор с косым зачесом, белая манишка, пестрый галстук, прибавка к окончанию каждого слова «с». Если же умственные запросы были выше этого, грозила гибель. Рисование мне нравилось, но через полгода пришлось бросить. Хозяин начал выводить в магазин и по праздникам всех служащих еще задолго до открытия его. В эти часы разбирали товар [1]).

Один из хозяйских детенышей заленился учиться,—провалился на экзамене. Взяли к нему репетитора, а меня приставили «дядькой», — следить, чтобы он учился. «Дядька» с учеником быстро сошлись, — дело происходило на даче. Валяясь на траве, я кое-когда заглядывал в его учебники, почитывал; он об'яснял, и в результате к осени я «мороковал» по грамматике, арифметике, а он остался в том же классе. Потом помог разобраться и в других учебниках один из конторщиков магазина. Он стал давать мне книги. Из его книг я прочел: Чехова, Пушкина, Толстого, Достоевского и много исторических романов.

«Прошло три года,—от «дверей» и «побегушек» меня стали ставить за прилавок, приучать к «делу», да я что-то не задался по приказчичьей науке: «передернуть аршином», т. е. на вершок в аршине обмерить, или мерить так, чтобы аршин «выжигать» из материи. «Старшой» махнул рукой: толку не будет. Из-за прилавка я убегал в подвал разбирать товар, и там—лежа на кусках сукна с другим любителем чтения—почитывали книжки. Осталось всего полтора года до срока, когда и я мог бы надеть «гаврилку» и стать за прилавок приказчиком, но такой жизни не вынес и сбежал. Поступил в церковный певческий хор мальчиком на жалованье. Отпевал покойников, пел на свадьбах. Пел «соло», что давало мне некоторый перевес перед другими «мальчиками» в ухаживании за девочками. Временами нападало вдохновение пропеть так, чтобы прослезились старухи, в особенности за панихидой. В хору пробыл

[1]) Портреты хозяина, старшего и некоторых приказчиков точно даны в рассказах «Волчий зуб».

около года, пропал голос. Поступил на завод в упаковочное отделение, затем поступил на курсы бухгалтерии. Меня уже серьезно потянуло учиться, а конторы закрывались на час-два раньше, и конторщиком легче было поступить на место. Захватил 1905-ый год. Ходил по митингам, пилил телеграфные столбы, строил баррикады; на Тверской, Пресне, в Грузинах во время стрельбы собрал «на память» осколки разорвавшейся шрапнели, вообще, болтался и мешался, как и все, в ту романтическую революцию. На митингах узнал, что такое «эсеры», «эсдеки», заслушивался речей выступавшего на митингах, только что выпущенного из крепости, оратора «Седого». Меня интересовал под'ем масс; на каждой улице, несмотря на стрельбу, толпились кучи народа, все веселые, оживленные, как в праздник.

В 1906-ом году кончил курсы и поступил конторщиком в скобяную торговлю. Внешняя обстановка та же, что и в мануфактурном магазине. Только здесь я уже был служащим и мог после закрытия магазина располагать временем по своему усмотрению, а это мне только и нужно было. Стал посещать группу студентов, готовился на начального учителя. Быть учителем в деревне—моя тогдашняя мечта. Все гроши, оставшиеся от мизерного жалованья, тратил на покупку книг, преимущественно классиков, часто сидел из-за книг без обеда. Экзамен на учителя не держал, стал готовиться на аттестат зрелости. Учиться приходилось трудно: после конторской работы от 9-ти утра до 9-ти вечера, ошалелый бежишь в группу, там занимаешься до 11-ти час., ночью дома готовишь еще уроки. Представилось место в технической конторе, в которой кончали работу на два часа раньше, и я с радостью перешел. Из проходимых предметов мне больше всего нравились литература и русский язык, математику не любил. Подготовку переменил на «домашнего учителя»—мечтал, как и прежде, уехать учителем в деревню.

От переутомления заболел туберкулезом, в 1910—1912 г.г. было кровохарканье; пришлось на время подготовку отложить. Занялся лыжным спортом и пешеходством по окрестностям Москвы. В 1914 г. поправился, снова принялся за подготовку, несколько изменив порядок: теперь служил, копил деньги и по накоплении некоторой суммы бросал службу, занимался исключительно подготовкой; когда капитал иссякал, снова поступал служить, такие перерывы происходили несколько раз в год. Приходилось помогать отцу (дедушка помер, семья наша разделилась). Обзавелся и семьей, но ученье не бросал. Аттестат не интересовал, интересовали знания. Читал много, и это чтение было причиной того, что не держал

экзамен. В поездки в отпуск в деревню принимал участие в полевых работах.

В 1916 г. был мобилизован. Прослужил полтора года. Этот период оставил в душе много горечи... Никакими привиллегиями я не пользовался, перенес всю тяжесть солдата старой армии. На фронт направлен не был по болезни легких. Все-таки раз попал в переделку не хуже фронта. В Тамбов привозили с фронта трофийные снаряды, разбирали и вновь отправляли на фронт. Снаряды сваливались за городом на открытом месте. Вокруг стояли лагерем три полка. Произошел пожар, стали рваться снаряды. Все разбежались, а я имел несчастье попасть на глаза баталионному командиру. Он отправил трех солдат (в том числе и меня) на место взрыва принести ему из офицерского барака его вещи и ордена. Барак находился в 150—200 шагах от места взрывов. Взрывы были настолько сильны, что одним сотрясением воздуха валили на землю. Мы все трое случайно уцелели, возвратились с вещами. Поле, по которому мы шли, было сплошь усеяно осколками разорвавшихся снарядов..

В февральской революции принял участие, состоял полковым делегатом в совете солдатских депутатов местного гарнизона, принадлежал к группе «ленинцев». Октябрьская революция застала в уездном городке, где переворот совершился безболезненно. После переворота перебрался в Москву, поступил на службу в прежнюю техническую контору, а потом в хамовнический совет инструктором.

В августе 1918 г. попалось об'явление в газете об открывающейся в Пролеткульте первой литературной студии. Поступил в нее для изучения литературы. Писательских намерений у меня не было. Первая студия и не носила характера «писательской», как последующие. Этой студией выпущены Обрадович, Санников, Казин, Александровский, Полетаев и др. Руководили студией Андрей Белый, Вяч. Иванов, Н. Шварц, М. Столяров, проф. Сакулин. Сильное влияние на студийцев, особенно поэтов, оказывал А. Белый. Он прямо «заряжал» творческой энергией всех, так что каждый студиец невольно работал в той или иной области литературы. Он раскрывал подсознательные глубины поэтического творчества. По два часа без перерыва его лекции слушались, не утомляя. М. Столяров много давал прозаической группе на семинариях по изучению формы путем анализа образцов. Много дали и проф. Сакулин, и Вяч. Иванов; Шварц замечателен, как инициатор студии.

Первое произведение мое «Ефрейтор в раю» написано в ноябре 1918 г. под влиянием А. Ремизова. Я увлекался его сказками, от

них перешел к непосредственному изучению народной поэзии: сказок, пословиц. Из прежних опытов моего вращения среди масс я видел, что любимая поэтическая форма их—сказка. Среди масс существуют два языка—повседневный и поэтический; моей задачей было, пользуясь формой сказки, дать новое содержание. Таким методом написаны мои сказки и первые рассказы. Я исходил от понятий масс, знакомых им форм и языка. В дальнейшем начал отходить все более к форме новеллы, сказа, уже находился под влиянием Чехова, Мопассана, Бласко Ибаньес, Келлермана; если прибавить к ним еще Гоголя,—то вот мои любимые писателя до настоящего времени. Ремизовский «русский модерн»—так назвал бы я его стилизацию—больше меня не интересовал. Центром занимательности рассказа я ставил не фабулу, а живописность, красочность слов. Рассказ должен быть анологичен с живописной картиной. Когда же я приступил к более обширным вещам, то увидел, что без фабулы, как основания произведения, обойтись нельзя. Не получается цельности, а только отдельные мазки (эпизоды). С конца 1922 года принялся я за работу над фабулой, над содержанием. Для меня стало важно не как, а что сказать. Ученический период закончился. Произведения позднейшие пока не печатаю. Даю им отлеживаться. Работы же ученического характера по 1921-ый год включительно вошли в книжку «Заковыка», выдержавшую два издания.

В литературной студии много давали мне собеседования о произведениях не только молодых пролетарских писателей, но и тех, что выступали и прежде в печати. В студии я впервые лично познакомился с писателями-рабочими и крестьянами: Н. Ляшко, М. Проскуниным, Низовым, Новиковым-Прибоем и др. Молодежь из студийцев группировалась тогда около журн. «Гудки». Даже редакционная коллегия его состояла из студийцев. В нее входили Герасимов, Казин, Александровский, Волков, Обрадович, Киселев, Дегтерев, Полежаев. В 1920 г. часть «молодых» разошлась с Пролеткультом. В него начинал проникать футуризм, захвативший студии: театральные, изобразительные. Литературная студия не пожелала служить материалом для футуристических экспериментов, почему на нее смотрели косо. Все средства Пролеткульта уходили на театрально-музыкальную работу. «Футурспецы» и погубили студии театральную и изобразительную. В 1922 г. и студийцы изобразительной студии отказались работать с футуристическими руководителями. Театральная же до сих под находится под их влиянием. Из писателей ушли из Пролеткульта: Герасимов, Казин, Санников, Обрадович, Дегтярев, Полетаев. Остались Волков и Кириллов. Вышедшие образовали группу про-

летарских писателей «Кузница». Мы с Кирилловым, оставаясь в Пролеткульте, также входили в «Кузницу». В 1920 г. я приступил к организации новой литературной студии (4-ой), из которой потом образовалась группа «Твори». В «Твори» я принимал деятельное участие.

«Заведывал и литературным отделом Пролеткульта с 1920-го по 22-ой год,—до момента «нэпа», когда Пролеткульт стал на коммерческую ногу, и я вышел из него вместе со всей группой «Твори». На с'езде пролетарских писателей избран членом правления ассоциации; состою в президиуме группы «Кузница» и группы «Твори».

V.

Ф. В. Гладков.

«Родился в 1883 году в бедной крестьянской семье в с. Черновке Саратовской губ. В раннем детстве покидаю деревню. Кочевая жизнь родителей в течение пяти-шести лет по рыболовным ватагам Волги и Каспия, по фабрикам и заводам Кавказа. С 12-ти лет осели в Екатеринодаре, где отец работал на паровой мельнице, а мать—на поденной. Учился грамоте еще в деревне у старообрядческого начетчика (наша семья была старообрядческая); потом в начальной школе. В Екатеринодаре определяют мальчиком в аптеку, откуда сбегаю. Попадаю в ученики в типографию. Много и без разбора читаю. Хочу учиться. Имел смелость пойти в гимназию, но там не приняли: бесплатно не пожелали учить оборвыша. Добился поступления в городское училище. Отец часто бывал без работы. Голодали. Питались в базарных обжорках. Жили жизнью босяков. С 14 до 18 лет испытал весь ужас голодного бесприютного житья. Для отца эта жизнь кончилась катастрофой—каторжными работами.

«С 1902 г.—в Забайкалье. После освобождения с каторги родных еду в Москву; мечтаю поступить вольнослушателем в университет. Вместо Москвы попадаю в Тифлис. Там впервые—активно в движении. В 1906 г.—в Ейске. Активный социал-демократ. Бегу от арестов в Забайкалье. Осенью там арестован и выслан в Лену. Через три года уезжаю опять на юг России. Укрепляюсь в Новороссийске. Занимаюсь мелкой работой в газетах, учительствую. С первых же дней восстания,—активно в революции. Как коммунист, на ответственной работе до 1921 г. Осенью—в Москве, где живу по сие время.

«Помню себя мечтателем еще в раннем детстве. Мистицизм старообрядческой среды с ее апокрифами, религиозной фантастикой, имел большое влияние на мою детскую душу. Певучие женщины,—старинные стихи и песни,—аскетизм, чтение писания пробудили любовь к музыке и художественным вымыслам. Уже восьми-девяти лет читаю и пою в молельнях. Суровая, нечеловеческая жизнь на ватажных промыслах, муки и гибель людей, постоянный надрыв и истерика истерзанных душ потрясают меня. Я одинок и часто плачу на груди матери, которая рыдает вместе со мною. Тосковал по деревне, по полям и перелескам. И муки человеческие, ужасы социального порядка терзали сердце болью и жалостью к людям. Хотелось что-то узнать, вычитать из книг, услышать от людей разгадку несправедливой жизни. Был в услужении,—читал, был мальчиком в аптеке, типографии, на поденке—читал... Знал всех классиков, но не узнал ничего. И над книгами плакал, как над жизнью. Никто не руководил мной, а толкали к исканию истины ни кто иные, как люди обездоленные, друзья отца.

«Очень неудачный изобретатель какой-то «воздушной машины»—рабочий—говорил: «Добивайся и учись, познай не меньше, а больше тех, кто пьет из нас кровь»... Другой вечный странник постоянно писал в растрепанной книжке не то бесконечную повесть, не то философский трактат о «челноке, ныряющем в волнах житейского моря». Тоже рабочий. Говорил, долбил, брызгал слюною о том же, читал свой странный бред и говорил с огнем безумия в глазах: «такова наша жизнь, а ты научись смешать ее болтушкой и сварить в котле, а потом... видно будет». Третий—пьяница, босяк, с которым мы сдружились,—бесновался и кричал: «Друг мой милый Федя! Учись всеми поджилками и разгадай все премудрости... Ты—рабочий сын и не забывай никогда. И не забывай: все должно быть новое, старое бить, рвать, сжечь до седьмого пласта»... Этих наставников сменил редактор «Кубанских Областных Ведомостей» Л. М. Мельников, принявший трогательное во мне участие. Он старательно пичкал меня книгами и пламенными словами. Он остался другом моим до самой своей смерти. Он же впервые ввел меня в среду местной интеллигенции. В Сибири дальнейшее образование от каторжников в Горном Зерентуе, где был отец. Потом—в среде социал-демократических рабочих железнодорожных мастерских. Тут впервые много прочел по марксизму, по истории и т. д. Но систематическое чтение так меня и не коснулось.

А потом самым важным моим руководителем была подпольная работа, ссылка, революция. Особенным обаянием в моих глазах

было окружено имя Максима Горького. Первое знакомство с ним— его рассказы, которые тогда только что вышли (в 1901 г. —два тома). На меня они произвели необычайное впечатление: я был весь захвачен ими. Долгое время ничего не мог читать. Это совпало с тем периодом моей жизни, когда пребывал (вместе с семьей) в трущобных низинах. Был перелом в моей душе. Старых богов я потерял. Деревенские и старообрядческие образы были разбиты городом. А новые еще были не ясны. Анархический бунтарский протест городской бедноты, еще неорганизованной, отравленной алкоголем и трактирным отчаянием в разгуле, был протестом против существующего социального порядка. Я это чувствовал, хотя и смутно. Помогли этому и книги, которых я на половину не понимал. А книги я читал очень глупо—жадничал и отравлялся ими. Рисовались мне иные, сказочные страны, иные люди. Я был романтик, поэт. Заражался легко и песней, и слезами. Видел в жизни одно истязание человека, бесконечную голгофу. Марксизм мне тогда еще не был знаком. А когда один полубосяк-полуинтеллигент-полурабочий сбивчиво и пьяно, потрясаемый яростью, из'яснил мне что-то подобное, я ничего не понял, но мудрить сам стал до одурения.

«Впервые тогда пришел к мысли о нелепости, бесмысленности жизни и стал думать о самоубийстве. Спас Горький. Почувствовал, что он, вышедший из низин,—родной мне, что его легенды и романтика—это моя душа. Тогда я уже писал в газетах. Вообще, писать начал с 15 лет. Сначала упражнялся в стихах, а затем и до сих пор в беллетристике. Первый рассказ напечатал в «Кубанских Областных Ведомостях», когда мне было семнадцать лет. Это был рассказ из жизни подонков—«К свету». Теперь, под сильным влиянием Горького, я написал рассказ о «босяке Максютке» (напечатанный в газете) и что-то вроде повести «На ватаге» (сюжет послужил для пьесы «Ватага»). Последняя была послана Горькому. В ответ он написал мне большое письмо. Письма не помню,—оно погибло в пожаре. Но такие фразы остались в памяти: «Писать вам нужно, у вас есть уменье наблюдать жизнь, есть любовь к людям»; «Пишите так, чтобы читателя точно палкой по башке»; «Бейте верно, метко: читатель хорошо защищен броней привычек и предубеждений; в литературе он ищет развлечения, надо безжалостно сдирать с него нарост житейских мелочей». «Пришлите все, что напишете», просил писатель, одобряя меня и советуя работать, не щадя сил. Уже из Сибири посылаю еще рассказ (не помню заглавия). Рукопись получил обратно с пометками на полях и опять в том же духе. Уже по

возвращении из ссылки (в 1913 г.) послал ему повесть «В изгнании» (теперь «Изгои»). О многих местах повести он отозвался хорошо, но герои ему не понравились. Это, однако, не помешало ему рекомендовать ее в «Заветы», где она была принята, хотя и не была напечатана вследствие закрытия журнала. Рукопись была передана в «Современник», но этот журнал был закрыт. Другой рассказ Горький обещал устроить в «Мире божием», но он был, очевидно, слаб и тоже не появился. В 1916 году посылаю рассказ «Единородный сын» («Пучина»), о котором Горький отозвался очень хорошо; напечатал в «Летописи». В письме писал: «Пишите же, не щадя сил, и шлите мне». Был у него лично в 1917 г. на Кронверском. Встретил радушно. Много расспрашивал меня о моей жизни, о работе и все повторял: «Ведь я вас знаю давно... никогда не пишете скучно». В письмах обстоятельно отвечал на мои вопросы, много говорил о рабочем движении и наставлял: «Рабочее движение это то самое движение, в котором всякий мыслящий человек найдет ответы на все волнующие его вопросы и выработает программу личного поведения». С 1917 г. я уже не имел с ним связи. Но в душе у меня он крепко и любовно засел с 1901 года, кажется, навсегда. Знаю впрочем, что пьесу мою «Бурелом» он рекомендовал А. В. Луначарскому.

«Что сказать о моей литературе? В газетах меня печатали охотно. Редакторы шли навстречу, но плохо оплачивали труд. Эксплоатировали страшно, а я был застенчив и никогда не заикался о гонораре: мне казалось, что я буду мерзавец и скот, если буду требовать деньги, ибо писания мои—не товар, а творчество. Материалистическое миросозерцание мне тогда было не по плечу. Хуже обстояло дело с журналами. Миролюбов именем божьим благословлял меня, принял рассказ «Беспокойный», но не напечатал его. Арцыбашев (из «Журнала для всех»), указывая на отсутствие глубины в психологии действующих лиц, на этом основании забраковал рассказ. Я был в отчаянии. Мучился в одиночестве до истерики и рефлексировал. Куприн из «Современного Мира» писал по поводу рассказа «Удар» (1908 г.): «Перо ваше нечего складывать; говорю не для утешения, а от сердца. Обманывать в таких случаях считаю нечестным. Но в рассказе есть и стороны минуса: мало подчеркнут быт, много громких слов, заглавие незначительно и не об'ясняет сути. Но все это искупляется внутренней теплотой, хорошим языком и искренностью. А писать вам нужно, если даже, паче чаяния и наших стараний, теперешний ваш рассказ и не пройдет. Верьте мне, что я лично толкался по годам в двери редакций и отчаявался и злобствовал, и плакал... но все

образуется.» Короленко писал мне, что он с интересом будет встречать мои рассказы в редакции «Русского Богатства», но с раздражением прибавлял: «другие журналы к таким рассказам, как ваши, относятся иначе: я же лично страдаю идиосинкразией против модернизма. Ищите простоты—это трудно. Жаль, что свое дарование вы портите модернизмом». И рассказы возвращал. То, что считал плохим («идиосинкразия!») Короленко, находил хорошим Иванов - Разумник. Впрочем, я сам и посейчас не знаю, был ли это модернизм или что другое — писал так, как писалось. Уже здесь, в Москве, когда я пришел в редакцию толстого журнала, я встретил не ласковый прием. А приехал я из далекой провинции, откуда стремился сюда пятнадцать лет... И что же? Когда я пришел через месяц с целью взять рукопись, редактор выразил удовольствие от рассказа. Но и до сих пор у него осталось осторожное, я бы сказал, холодное отношение ко мне, как и ко всем писателям «Кузницы». Обычные его слова: «Вы ничего не можете сотворить нового, пролетарские писатели! Мы пока будем пробавляться мелкобуржуазной литературой. Идеалы коммунизма отодвинулись от настоящего дня в бесконечность. Вам нечем питаться, и вы будете писать о Джимми Хигчинсах. А вот Пильняк, Вс. Иванов, Малышкин—люди, которые пишут так, как не писал никто за эти 15—20 лет». Вообще, в вопросе об оценке своих произведений я нахожусь в положении человека, который попал в толпу людей с разными настроениями, характерами и эмоциями: толкают, тянут, кричат в уши... Иные убеждены, что я писатель больной; иные, напротив, утверждают, что я здоровее всех самых здоровых бытовиков. Но бытовиком меня никто не считает.

«Есть мнение, что писатель меньше всего знает себя и самое неверное мнение о писателе—это его собственное. Правда это или нет, но о себе сказать хочется так. Человек—я бы сказал—это трагедия, ибо нет обособленной радости и обособленной скорби, нет плюса и минуса: каждый плюс имеет в себе минус и наоборот. Я только знаменую этот процесс диалектики и поэтому я—постоянная обреченность. Боль, одержимость, глубина чувства, любовь до надрыва, вопрос без ответа—вот для меня ценность, определяющая жизнь. Я видел смерть, видел массовые убийства, кошмарные истязания и, наряду с этим, трогательные моменты счастья. Это я знаю. Разве это вопросы, которые имеют ответы? От этого люди становятся немножко мудрецами».

VI.

Павел Низовой (П. Г. Тупиков).

«Родился я в Костромских медвежьих лесах. Помню, в нашу деревню из 18-ти избушек с оголенными крышами зашел медведь и на улице, на виду у нас, мальчишек, задрал корову... А волки по сие время шляются стаями; нынешнею зимой я стрелял в них с крыльца дома моего дяди.

«Образование мое началось у старого николаевского солдата-инвалида: целую зиму учил он меня книжной премудрости по самодельной азбуке. Вторую зиму я набирался письменных знаний у своего родителя бомбардира-наводчика, Егора Никитича. Этим и закончилось официальное учение. Отец сказал: «довольно на собаках шерсть бить. Пора в работу». И взял с собою в Москву по малярному делу. Мне было тогда около двенадцати лет. Работал вплотную крепко до 25-ти летнего возраста. Был маляром, стекольщиком, кровельщиком, живописцем, фотографом, делал мыла и краски. В промежутках работ читал «Космографию»— первую пленившую меня книгу, — «Бову Королевича», стихи Кольцова и ходил с матерью по пивным разыскивать загулявшего отца. Когда он приходил домой, начиналась война, и мы с матерью всегда терпели жестокое поражение. Лет, кажется, семнадцати думал покончить с собой—повеситься в чулане! Причиной была страшная обида, нанесенная отцом: он, пьяный, разбил электрическую машину, которую я мастерил несколько месяцев, и сильно исколотил меня самого, чтобы не занимался пустяками. Эта машина сделала нас на всю жизнь чужими.



Павел Низовой (П. Г. Тупиков).

«На двадцать шестом году все бросил и с семнадцатью рублями отправился путешествовать. Тянул меня Кавказ. Четыре года чертил Россию. Был и вояжером, и кореспондентом, и просто бродягой. Об'ехал не одну сотню городов и местечек, не одну пару подметок истоптал по Крыму и Кавказу. Под Кутаисом окапывал виноградники, в маленьком городишке Бессарабии читал «лекции по астрономии», в Лодзи три недели состоял учеником «знаменитого всесветно известного графа—психо-астролога, хиромханта и проч. и проч. проф. Лифт.» Он советовал мне открыть в Калише хиромантический кабинет. Потом соблазнял работать совместно; с каждого клиента я получал по 20 коп., остальные он, профессор Лифт.

«Германскую войну провел на западном и юго-западном фронтах. Весной 1918 года поехал с санитарным поездом в Херсон. По Украине тяжело и кроваво ступал немецкий каблук, по путям сновала защита—анархистские летучки. Поезд разгромили, 30 человек персонала арестовали, и с десятью санитарами я бежал. Прибыл на Лозовую—ту окружили немцы. Метались военные и штатские, у вагонов и из-за мест дрались. Мы бежали в Мерефу. Оказалось, и та была под немецким обстрелом. Ночью удалось добраться до Харькова, а под утро Харьков пал. Какими-то судьбами удрали и оттуда.

«Но лучшая глава вписана в мою жизнь Алтаем. Осенью этого же 1918 года с теперешним президентом Ойротской республики инородцем-художником Г. И. Гуркиным сидели мы на скалистом берегу голубой ревущей изумительной Катуни и вслух мечтали. Странно. Мечтали о Каракарумской республике русского и монгольского Алтая, о колонии писателей и художников в горах на Катуни и об издательстве «Алтын Кун» («Золотое солнце»). Конечно, я не думал тогда, что, десять месяцев спустя, сам буду—чем-то в роде президента—ведать территорией в несколько тысяч квадратных верст, буду ходить в самодельных сапогах из оленьей шкуры, самодельных кожаных штанах и такой же шапке. Владения мои простирались от потоков Бии до границ Монголии—непроходимая горная черневая тайга с ледниковыми и каменными хребтами, с бесчисленными горными озерами и реками. И посредине — чудесное, 90-верстное «Алтын-Коль» («Золотое озеро»). А я был всего только об'ездчик—лесник Телецкого лесничества.

«Неделями гостил я в юртах первобытного народа—черневых кочующих татар, дружил с камами (шаманы), пил «священную» араку (молочная водка) и ел жертвенное мясо только что задушенного коня. В одиночестве безумно тосковал по далекой родной

Москве. В иные минуты хотелось надеть шаманскую шубу с девятью парами колоколцев, взять бубен и—кружиться, выть в страшной горной пустынности. Годичный плен мой кончился с приближением партизан. Теперь, когда я в Москве, меня жжет нестерпимое желание поплавать в утренние молочно-розовые туманы по «Алтын-Колю», выпить чашку подогретой араки с дружком моим камом Мамадом.

«Умственное развитие мое шло медленно. Рабочая среда,—строительные рабочие—в которой я проводил дни и ночи, совершенно не интересовалась книгой, наполовину была неграмотна. Толчок дал один из рабочих-маляров, бывший ротный фельдшер: он говорил мне что-то о звездах и о стихах. Работая с ним в одной паре—подмастерье и ученик—и получая на обед по десяти копеек (5 коп. чай в трактире и 5 коп. фунт ситного), мы ухитрялись экономить из этой суммы на газету или на какую-либо книжку-листовку. Вместе читали и обсуждали. Потом, когда денег стало несколько больше, начал покупать на толкучем более серьезные книги. В течение более чем десятка лет наполнял свою голову чем придется, поспешно, сумбурно, не подозревая, что это можно делать по определенной системе. Узнал об этом только тогда, когда стал ходить на Пречистенские курсы, которые, кстати сказать, меня не увлекли. Одновременно с этим я слушал лекции в обществе народных университетов, позднее в университете Шанявского, кроме того принялся за иностранные языки. Но заниматься по плану было для меня трудно—не хватало времени и терпения.

«Главным учителем моим была и есть все-таки книга. О литературных влияниях трудно сказать что-либо. Если говорить о любви к тем или иным авторам, пришлось бы привести много имен, как русских, так и иностранных. Но особого влияния того или иного писателя я почему-то не чувствовал на себе. Начал со стихов. Писал их много и о прозе не думал. В первых стихах был элемент общественности, по форме—подражание Сурикову и Никитину, но без пессимизма; после же знакомства со стихами Некрасова—ему. Дальше перешел на лирику. Первые рассказы были народнического характера. Их никуда не давал: не удовлетворяли. В это время писал фельетоны в рабочих газетах, в беллетристической форме—«Сказки города». Первая связь с литераторами началась со знакомства моего с кружком суриковцев. Состоял он из писателей крестьян-рабочих. Я уже писал, но еще не печатался. Связь эта была тесная. С писателями же из другого мира столкнулся лишь с 1913 г., когда начал редактировать журнал «Живое Слово».

VII.

Алексей Демидов.

«Родился я в 1883 году в селе Бобриках Тульской губернии, в верховьях Дона.

Из окон я всегда видел вверху, на уступе парка, голубую крышу графского дома, шпик колокольни с крестом и золотой шар на усыпальнице. А внизу, против нашей избы, двухэтажное волостное управление. В избе около двадцати душ: дед, его сын-старшина, четыре снохи с детьми, один постоянный работник и два нанимавшихся на лето. У деда были еще три сына, в том числе и мой отец, старший из братьев; но они круглый год под Москвой, в Павловском посаде, на фабрике Бутиковых. Хозяином в доме числился дед, но его, на моих глазах, оттеснил от этого сын, потому что старик пьянствовал и хозяйство разорялось. Отца я видел мало. Он не один раз говаривал при мне матери: «Уж я его сделаю человеком. Непременно отдам в ученье». Отец много читал. Самоучка, он на фабрике пробовал сделать какой-то новый химический состав, но при соединении веществ произошел взрыв, и отца обожгло, отбросило к стене. Он лишился языка и всех волос. Бесполезно мучили его электрической машиной—он топал ногами, а говорить так и не мог. Скрылся с глаз от родных и семь лет скитался где-то без вести. Был в старом Иерусалиме. Возвратился говорящим и с волосами, каким его и помню.

«Я оставался у родителей один: сестру отдали замуж, а все остальные дети—около десяти—умирали в младенчестве. К 12-ти годам я окончил сельскую школу, научился в ней церковному пению и до выезда из деревни пел на клиросе в хору. Уже тогда я задумывался о боге. Но когда мысль погружалась в необ'ятное, я пугался. Но я ни у кого не спрашивал ответов; видел, что все уверены в непостижимости тайн мироздания и об этом не думают. Я боялся этих вопросов и торопливо заминал их в себе. Был совершенно уверен, что каждый поступок видит он, непостижимо премудрый; знает, что за мысли в моей голове. Но как, как проникает он ко мне в мозг? Не один раз задавал я себе вопрос, глядя на небо где-нибудь в поле, куда меня посылали стеречь лошадей.

«Я пахал с 10 лет, косил с 13-ти. В этом деле запоздал маленько: сверстники, росшие побыстрее, начали годом раньше. В год смерти отца кончилась и моя наука. Учитель много раз просил дядю, старшину, послать меня учиться в город, но тетка, его жена, отсоветовала. «Ежели он выучится, не работник он тебе,—говорила она.—Чужих придется нанимать». После того запрягли меня в работу, и мать, видя, что дядя «человеком» меня не сделает, как того хотел отец, упросила волостного писаря взять меня к себе, и я три года переписывал приговоры сельских сходов и в то же время пахал, сеял, косил, лошадей стерег, а то и с мешком ходил за дровами, продуктами для писарихи. Много работы лежало на моих плечах, и меня жестоко бил другой дядя, оставленный братьями в помощь старшине. Я захирел, рост приостановился. Мать частенько вздыхала, но молчала, боясь, что выгонят совсем из дому. А когда я спрашивал, о чем она плачет, отвечала: «Ничего, касатик, ничего: сиротам бог начальник... Авось вырастешь»...

«Никаких книг в Бобриках не было, не было их и в управе. Хотел я почитать как-то «Тульские Губернские Ведомости», но зевал. Заглянул в «Сельский Вестник»—та же скука. И с тех пор никогда в них не заглядывал. Едва исполнилось мне 15 лет, как учитель подыскал мне должность конторщика в имении графа Бобринского при сельце Чифировке, и дядя отвез меня туда. Ведь положили жалованье 10 рублей в месяц, а писарю я помогал бесплатно.

За полтора года в Чифировке я много вырос физически, но духовно оставался ребенком. Однажды я нашел где-то лоскут из журнала «Нива» и, увидев, что описанная в лоскуте местность хуже наших Бобрик и даже Чифировки, я принялся описывать их. Но передо мной сразу встало столько картин, образов, что я не знал, за что браться, и когда начинал, то видел, что выходит во много раз хуже тех картин, что стояли в моей голове, и рвал написанное и опять пробовал... При покупке имения крестьянским банком, я перешел на службу к банку и переехал на жительство за 20 верст в сельцо Батеево, банковскую усадьбу, куда переведена была и контора. В этих двух усадьбах три года я рос, как тополь на жирной земле, быстро и легко.

В конце службы в имениях, уже на 19 году, я случайно узнал, что, кроме церковных книг и школьных учебников, есть множество других книг, и, что всего удивительнее, бывают люди, которые ничего не работают, а только тем и заняты, что книги пишут, и потому их так и зовут писателями. Что это было за открытие! Когда я прочитал Пушкина, Лермонтова, то такое испытал волнение, как будто я раньше был слепой, а теперь прозрел и новыми глазами увидел чудесный мир, который был рядом около меня, но я его не видел.

*

На 20-м году попадаю на службу в Тулу писцом в тот же банк. Первый раз вижу город, да еще такой большой. Изумляюсь величине церквей, красоте домов (это в Туле-то!). Но шум, непрерывные стуки с мостовой до боли бьют в голову, и я тоскую по деревне... Записываюсь в библиотеку и глотаю книги день и ночь, все свободное от службы время. Узнаю, что только мужики учатся в сельских школах, а дворяне и разночинцы—в гимназиях, в университетах. Попадает в руки книга Бебеля «Общество будущего». Прочел и чуть не расплакался за человеческую жизнь. Стал думать, почему люди не живут так, как советует Бебель. Родилась ненависть к власть имущим. Беру Ницше, но, к огорчению своему, ничего не понимаю. Откладываю до времени. Хочу учиться, но не на что. Искал богатого человека для договора: он должен давать мне стипендию на ученье, а я обязуюсь отработать ему столько лет, сколько буду учиться... И удивлялся, что не находил охотников на такую сделку со мной: я был уверен, что «потом» мой благодетель получил бы свой капитал сторицей... Узнаю, что в Вильне необычайно развито дело самообразования на вечерних курсах и, пользуясь случаем, перебираюсь в Вильну. Там служу писцом в банке и в то же время учусь на вечерних курсах в Торговой школе, продолжая чтение русской литературы и разных брошюрок по социализму. Учитель русского языка удостаивает мое сочинение внимания товарищей; и те обещают бесплатно готовить меня в университет. Учитель заметил, что рассказ («Зима в деревне») достоин был бы напечатания, если бы между строк не сквозил социализм. Это подхлестнуло меня, и я дерзнул написать для печати. Но этот опыт, вероятно, был неудачен. «Северо-Западный Край», куда я обратился с ним, рассказа не напечатал.

«Тут подошел 1905 год. Я жил митингами. Поверил в то, что наступило уже время перестройки всей жизни на новый лад, как говорили, «царства божия на земле». Поверил и загорелся. Теперь уже не помню, о чем звенел мой голос на собраниях, в гостинице на Георгиевском проспекте, а потом в цирке, где мы получили угрозу генерал-губернатора открыть орудийную стрельбу по цирку. Помню только то, что, захлебываясь словами, я так махал руками, что надо мной смеялись. Когда восстание было подавлено, на душе остался тяжелый осадок: на моих глазах солдаты стреляли в упор в толпу. Убили, кажется, свыше пяти десятков людей, а все осталось попрежнему.

«На 23-м году прочитал Макса Штирнера и пережил потрясение. Перестав верить в бога, я испытал горечь отчаяния от пустоты душевной. О, как мне хотелось вернуть мое неведение! Я пытался победить Штирнера, Дарвина без малейшей эрудиции, одним желанием. Был момент, когда я проклинал книги, хотя так ценил их, как источник знания. Я рад был бы выдумать себе нового бога, но видел: мудрый Штирнер — настоящий человек, а я — слякоть мещанская. Запало в душу сомнение: для чего мы живем. Откуда и отчего начало всех начал? Что есть истина? Раз неоспоримаго ответа на эти вопросы нет, то нельзя отмахнуться и от такой пустяшной жизни, как моя. Начинаю особенно наблюдать явления природы, непостижимо прекрасное открываю в ней... Все в науке правильно, неоспоримо, но наука доказала лишь, как, что и отчего происходит, а для чего неизвестно. Значит, надо подумать — и подумать, прав ли Штирнер. Зацепившись за сомнение, я года три еще болтал ногами над пропастью. Затем снова пробую учиться. Но уже двое детей, жена и мать на мой заработок живут; дед умер, братья разделились, и моя мать, оставшись одна, хозяйство вести не могла и приехала ко мне жить. Дальше учиться уже не было времени. Почитывал книги...

Еще раз потянуло писать... В 1911 году газета «Русское слово» помещает мой рассказ «Два часа у Толстого». Затем упражняюсь над рассказами «Смерть Ильи Кошелева», «Так жить нельзя», и в 1914 г. их помещает «Тульское утро», в 1915 году «Тульский телеграф» печатает «Старушку Елену», «Кузнеца Василия» и другие. Пишу несколько статей. В 1916 году перевожусь на службу в Петербург. Тогда охватывает меня желание написать большую повесть из быта крестьян, но работа займет 2—3 года времени, и вдруг знатоки скажут, что я не умею писать. Хочу предварительно узнать и отдаю в журнал «Летопись» свой рассказ «Так жить нельзя» на отзыв. Случилось так, что его читал сам Алексей Максимович (Горький). Меня вызвали к нему для об'яснений: «Такого рассказа я не напечатал бы, — начал А. М. и упрекнул меня за содержание. — Но как он написан, говорит за то, что вы можете написать крупное произведение». Я признался, что хотел бы приняться за большую повесть из быта крестьян, но не решаюсь. После того мы с Алексеем Максимовичем условились так: я попробую, пачну, а он посмотрит мою новую работу, и тогда видно будет, нужно ли продолжать. Первые же 60 страниц «Жизни Ивана» Горький крепко похвалил. Просил выдержать до конца и писать тем же языком, как начал. Он думал, что и война кончится, а я все буду писать эту повесть, но я ее окончил, к удивлению Алексея Максимовича, в $1^1/_2$ года во внеслужебное время. Я носил к Алексею Максимовичу через каждые две недели новые главы, а он мне возвращал прочитанные и все более и более

похваливал. На возвращаемых листах были надписи: «Вот это картина», «Вот так и надо писать», «Короче, короче, многословно». Когда я поместил песни, А. М. сказал мне, что они использованы Семеновой-Тяньшанской, и я должен был их вычеркнуть. По его совету прочитал ее книгу и был изумлен: автор хотел написать почти то же, что и я, и главное из быта крестьян соседняго уезда. «Жизнь Ивана» была принята Горьким в журнал «Летопись», но вскоре «Летопись» прекратилась, и повесть мне пришлось взять обратно. Ее приняла газета «Красная Армия и Флот», но — за уменьшением формата — использовать рукопись не могла.

«Уехав из Петрограда на родину, я поступил на каменноугольные копи в качестве заведующего расчетным отделом, а затем стал занимать выборные должности. Жил в течение четырех лет революции в трех верстах от шахты, где изо дня в день работал не менее восьми часов, да на хождение на службу тратил каждый день два часа, а осенью и зимой и того более; возвращался домой или по грязи, или в мятель темными вечерами, по колено в снегу, в голом поле. Литературной работой заниматься уже некогда было, да и требования на нее почти не было. Лишь в последнее время службы на шахте я написал небольшие рассказы, напечатанные в журналах: «Вестник Труда» («Василий Клинов»), «Пролетарская Культура» («Продовольственник»), «Горнорабочий» («Иван да Марья») и др. В 1921 году перебрался в Москву и тут написал рассказ «Золотая Коса», напечатанный с припиской 8 строк без моего согласия во 2 № «Пути Коммунизма», а также рассказы «Аким Чурбан», «Лапоть» (газета «Труд»), «Дискуссия» (газета «Маховик»).

ГЛАВА IX.

О них же.

(Литературные характеристики).

I.

Это — группа «Кузницы», пытающейся вывести певцов завода. (Присоединяем близкого ей Демидова).

Но тот бы ошибся, кто подумал бы, что отличительный признак их — машинизм. По словам самой «Кузницы», «центром, краеугольным камнем всей прозы «кузнецов», и по кровной близости к пролетариату самого писателя, и по глубокой созвучности его произведений рабочей среде», является Ляшко[1]). Вернее, один Ляшко всеми фибрами души связан с фабрикой. Остальные же—чрезполосье. Неверов, как и Демидов, описывает деревню, Новиков-Прибой — море, Гладков — фронт, Волков — прилавок, Низовой— «нового человека» низов.

И «Кузница» сознает это: «Неверов, Низовой, Волков, Яровой, Новиков-Прибой, — пишет журнал, — все они, являясь мастерами разных тонов и сил, одинаково крепко связаны с крестьянством, много уделяют ему внимания и всего чаще рисуют быт черезполосья. Названными писателями почти исчерпывается проза «Кузницы». Но «Кузница» ищет. Она готова вомкнуть в свой круг и попутчиков. «Крестьянин—это не плоть от плоти завода, но это сила, которая должна итти вместе с заводами до полной их победы».

Сам Ляшко,—«краеугольный камень всей прозы кузнецов»,— однако, с тревогой взирает на «поля, наступающие на заводы». «Заводы, эй, заводы! Слышите запах волосатой руки?»—восклицает он. Но любопытен самый факт. Организация делает попытку выдвинуть рабочую прозу, но, кроме Ляшко, может дать лишь... Лазарева-Темного. В общем же идет от корней вне-заводских.

Это вызвало толки о том, что заводской прозы нет, что художники продолжают выдвигаться из среды не рабочей (напр., Пильняк, Ник. Никитин). Но это верно лишь отчасти. Не дав прозы индустриальной, «Кузница» все же дала писателей, ярко отразивших трудовую стихию вообще. И по форме, и по содержанию Неверов и Низовой, Новиков-Прибой и Волков, Гладков и Демидов, без сомнения, новый этап в народном писательстве. Присмотримся к этому этапу.

---

[1]) «Кузница», 1922 г. Октябрь. — «Цветы стали».

II.

Работа над **словом** делается традицией, — вот в чем его сила. Ни один орган народной мысли не выявил эту задачу так, как «Кузница». Ряд статей посвящен ею «путям творчества», по которым идут ее беллетристы, а так как авторы их те же беллетристы (Ляшко, Бахметьев), то перед нами особенности их письма, раскрытые ими же самими.

Вот, в чем достижения наших беллетристов. Они идут по пути образов, самым письмом своим протестуя против протоколизма и «идеологизма» своих предшественников. Писатель-пролетарий,— говорят они—начинал с рассказа, начинал с лозунгов, с выявления требований, ненависти своего класса. Так зарождалась в нем потребность рассказать о пережитом первыми пришедшими на ум словами, не выбирая того, что важнее. Это приучало их творить **понятиями**. Конечно, это было неизбежно. Ведь «рабочих толкает к перу нечто противуположное эстетической алчбе, двигавшей к писательству представителей иных слоев общества». Оттого то содержание писателей из народа и преобладало над формой. Но... «мы стоим перед совершившимся фактом. Часть рабочих-писателей почувствовала себя тесно в пеленках понятий и вступила на путь художественнаго образного творчества. С этого момента теряет силу над писателями-рабочими опека тех, кто искренно верил, что они призваны не только учить писателя-рабочего правильно писать, но и избирать темы, и видеть, и чувствовать. Писатель-рабочий из ученика, может быть, не подозревавшего дремавших в нем сил, на наших глазах превращается в художника» [1]).

Это — путь достижений формальных. «Процесс работы в новом творчестве можно сравнить с трудовыми приемами гранения и шлифовки драгоценного камня: найденный дикарь бриллианта есть первое смутное, огромное охватившее сердце поэтическое чувство, есть взволнованный водоворот вспыхнувших мыслей; от гранения и шлифовки камень в об'еме делается меньше, очищается ненужный шлак, лучистость его сердца,—чувство—содержание—делается ярче, красочнее и содержательнее» [2]).

«Кузнецы» хотят, чтобы их не смешивали с теми, что пишут «для народа». И интеллигенты не плохо писали о народе.

---

[1]) «Кузница», 1920, № 3. — Н. **Ляшко**. О задачах писателя-рабочего.
[2]) Там же № 2. — С. **Обрадович**. Образное мышление.

Велика заслуга разночинцев-народников. Но подлинных образов не дали они нам, ибо ритм жизни их не ритм рабочего труда. Беллетрист-народник рассказывал о жизни рабочего или крестьянина. Писатель же пролетарий должен показывать, приобщать к душе труда и всей трудовой стихии. Чтобы достигнуть этого, общих слов и понятий мало. Чтобы рассказ стал рассказом **художника**, нужно, чтобы бытовой опыт преломился сквозь призму образа, того образа, который входит в плоть и кровь, которого не забудешь.

Таковы задачи, которые намечают «Кузнецы». Разумеется, не «Кузница» родила их. Реалистами-художниками были Чапыгин, Касаткин, Гребенщиков... Да и сами беллетристы «Кузницы» до нее вступили на этот путь. Но заслуга «Кузницы» именно в том, что, об'единив их, она придала им характер школы.

III.

Углубляют «Кузнецы» и содержание. Центром его и прежде была трудовая стихия, ощущение труда. Какова бы ни была тема, в основе ее лежали боль или радость за какой-то коллектив, и душа писателя была созвучна этому целому. Революция—с ее огненным опытом—еще более обострила чувство массового. И вот масса, массовая стихия входит в повествование органически. Нет героев. И в психологическом, и в умственном, и в чисто бытовом отношении это душа коллектива.

«Почему в прежней поэзии такое важное значение придавалось половой любви человека,—пишет «Кузница»,—и такое по сравнению малое значение труду, творчеству человека, между тем как в жизни миллионов людей, крестьян и рабочих, труд имеет огромное значение? Думаю: никто не усомнится в том, что в труде, в самом обычном простом труде, ну хотя бы в труде дворника, подметающего мостовую после дождя, не меньше поэзии, чем в отношениях между полами, а знаете ли вы хотя одно стихотворение, посвященное этому действию человека? Почему такое странное несоответствие? Очевидно, потому, что люди, близкие к труду, были очень далеки от поэзии и как производители ее, и как потребители. Я вчитался, вдумался в произведения Казина, Герасимова, Александровского, Гастева, Родова, Праскунина и др. Они иногда ни слова и не говорят о работе, о труде, но в самом ритме их стиха веет сильная, здоровая, трудовая стихия.» [1])

---

[1]) Н. Полетаев. «О трудовой стихии в поэзии».—«Кузница». №? год?

Это говорится о поэтах, для которых символом такого внутренего значения является слово «мы». «Мы» живет в их поэзии, как живет в ней вещь, созданная их трудом, орудие производства. Этому «мы» принадлежит мир, его необозримые горизонты. Было бы ошибочно, однако, искать этого «мы» у наших беллетристов. Оно сложилось в заводе, где так легко сходятся разные слои пролетариата, и все дает толчек развитию заводских чувств и заводских мыслей. Дух беспокойства, нервозности, вся психическая атмосфера вырабатывают это «мы», полное значения в стихах поэтов фабрик и заводов. Не то наши беллетристы. Однако, сравните образы их хотя бы с образами беллетристов-народников.

Это уже не Чапыгин. Каждый из них пережил революцию, притянувшую новых людей к центрам; пережил войну, гражданский пожар, взметнувший миллионы людей. В каждом из них эти пять лет запечатлелись ярче, чем вся остальная жизнь: «Мы, как волны в бушующем море, коллективною силою пьяны» (В. Кириллов).

И хотя он не скажет, как Гастев: «целый миллион берет молот в одно и то же мгновение», но оперирует все же массой. Труд—основа бытия его, источник красоты и мудрости. Без труда жизни нет, говорит каждая страница его. А труд и масса однозначны. Вот почему такой любовью обвеян коллектив в этих книгах, хотя это и не коллектив завода.

IV.

Первую попытку осветить новую Россию делают писатели-пролетарии, рассыпавшись по городам и селам в качестве силы наших дней.

В потоке современности так все переплелось, перемешалось. Умерла старая деревня, умер и старый город. Тут и там родится новый быт, обозначаются черты этого быта... Однако, старый писатель что-то не делает попытки отобразить этот сдвиг. Один Вересаев подвел итог эпохе ломки, в которой так смешаны любовь и ненависть, в своей повести «Тупик». Остальные же молчат. Даже Горький, столь спаянный с новой Россией, продолжает писать о прошлом, писать в тех тонах и красках, в каких написаны «Детство», «В людях»... Это, разумеется, понятно. Октябрьский переворот слишком остро пережит нашей интеллигенцией вообще, старым писателем в частности. Чтобы переживания его воплотились в образы, он должен остыть, отнестись к ним без гнева и печали, но разве это возможно? Воспитанный в традициях

народничества, он иначе и не представлял себе переворота в России, как при активном участии своем... Ведь «социальный вопрос» создан им. Ведь революция и интеллигенция были одно и то же... Произошло же все совершенно не так, как он предполагал, и в первый раз в жизни сознал он ту пропасть, которая отделяет его от народа. Уже в силу этого старый писатель, всеми корнями уходящий в разгромленный быт, должен видеть лишь хаос, лишь обрывки новой России.

Совсем другое—«Кузнец», не имеющий таких корней, чтобы в душе остался надрыв, сожаление о прошлом. Ни одно произведение его не говорит об этом. «Река играет», заставляет усиленно биться пульс, и писатель, вышедший из недр народа, начинает страницу литературы, отображая современность. Правда, новый быт еще еле-еле намечен; как материал, мало благодарен. Может быть, было бы лучше подождать, пока он отстоится; сам беллетрист не так далек еще от урагана, чтобы быть в состоянии созерцать. Но таков факт: «Кузница» дала нам ряд документов эпохи.

Это не только одна новь. Можно сказать, как правило: чем моложе автор, тем чаще темы его—темы современности. Таков, например, Волков. А. Новиков-Прибой, выступивший в литературе еще до войны, напротив, дописывает старое; старых сюжетов немало у Гладкова, Неверова. «Жизнь Ивана» Демидова то же вся в прошлом. Но вот что характерно. Вчитываясь и в картины прошлого, вы чувствуете разницу в том, как писались они прежде, как пишутся теперь. В сущности, это та же современность. В такой степени уже проникнуты ею беллетристы «Кузницы».

Однако, у каждого из них свое лице. Раскроем же их книги.

V.

Когда вышел первый том «Морских рассказов» Новикова-Прибоя вместе с «Юностью» Ив. Вольнова (1917 г.), Ю. Айхенвальд писал: «Вольнов, Новиков, Под‘ячев—гнетущая правда». Эта правда поважнее литературы, но все же не литература. «Читая Новикова, кладущего очень сильные мазки, дающего незабываемые картины, явственно видишь, как от наших черных дней тянется кровавый след к недавнему прошлому России»,—в этом критик видел значение «Морских рассказов». Бесспорно, в первой своей книге Новиков скорее рассказчик, чем художник. Он умеет быть интересным, рассказывая самый незамысловатый сюжет. Тут нет измышлений. Но это все же—правда, не прошедшая сквозь призму

мастера. В «Двух душах» Новиков делает шаг вперед; во втором же томе морских рассказов («Море зовет»), в «Подводниках» уже выступает перед нами художник со своими вкусами, со своей манерой письма. Это—живописец. Он пишет словами-красками. Живопись неба и морских волн схватывает он прежде всего; затем цвет, светотень, пейзаж всех оттенков вообще. Море слито с бытом, который он изображает, своеобразным бытом моряков. И здесь на первом плане глаз. Заинтересованный жизнью, где бы ни приходилось пить из ее чаши, Новиков охватывает ее глазом, и здесь его сила, непринужденность, здесь и его слабость: психологическая несложность.

Есть и сборник «сухопутных рассказов» его. Но такие рассказы у него редки. Это певец моря; в каждой строке его—любовь к морю. «Будь я королем-самодержцем,—говорит герой рассказа «Море зовет»,—я бы издал суровый закон: все без различия пола должны проплавать моряками года по два. У меня не было бы людей чахлых, слабых, с синенькими поджилками, надоедливых нытиков. Я не выношу дряблости человеческой души. Схватки с бурей в открытом море могут исправить кого угодно лучше всяких санаторий». И далее: «Странно, как оскорбленные дети бегут к матери, так и я, взрослый человек, с крепкими нервами, с сильными мускулами, закаленный в битве с житейскими невзгодами, устремляюсь к морю, словно ожидая, что лишь в нем одном, ласковом и грозном, найду себе отраду».

Поэзия смеха, волнующих женских чар, все, что красиво на страницах Новикова-Прибоя, слито с музыкой волн. Отчего так сочен смех Амелии? «Она смеется, и серебряная трель ее смеха удивительно гармонирует с тихими всплесками волн». В минуты самых пылких увлечений не изменяет автор языку моряка. «Синьора,—обращается мысленно Петрован (в рассказе «Под южным небом») к итальянке,—от одного только взгляда ваших черных очей мое сердце трепещет, как вымпел на корабле во время ветра. Позвольте мне причалить к вашей роскошной груди». «Если бы ты только открыла для меня люк своего сердца, я сгорел бы от счастья». «Подкатываю к ней с правого траверза и барабаню по-матросски: позвольте покрейсировать вместе с вами».

Чтобы этот стиль не казался не тем, что он есть, надо помнить, что эти люди, пропитанные морской влагой, кроме моря, еще любят шутку. «Я сам моряк,—говорит в рассказе «По темному» нелегальный, делающий попытку познакомиться в трактире с матросами,—и знаю, как со своими разговаривать: умирай, а шути». Словом, о чем бы Новиков ни говорил—его мысль, его

чувство устремлены к морю, и это сообщает общий тон его сюжетам, его образам, эпитетам, сравнениям: от них веет воздухом моря, корабельной жизни, того мира, который так отрешен от интересов суши.

Конечно, не Новиков первый открывает нам в него двери. Морская жизнь имела такого изобразителя, как К. М. Станюкович, впервые показавший нам все особенности, весь оргинальный строй этого мирка. Происходя из морской среды, Станюкович «Морскими рассказами» сделал вклад в литературу, получивший исторический вес и значение. Однако, достаточно сопоставления «Морских рассказов» Станюковича и Новикова-Прибоя, чтобы уловить то, что их отличает. Станюкович—народник-интеллигент, пребывавший на офицерской половине корабля; Новиков-Прибой—матрос, живший жизнью матроса, воспринявший психологически его свет и тени. Вот что лежит в основе различия.

И Станюкович—хозяин в своем деле. У него нет измышлений. С полной правдивостью рисует он действующих лиц с их темпераментами, сложившимися в условиях морской службы; дает подлинную жизнь старого русского флота. Однако, командный состав психологически значительней у него, чем масса. Ведь он лишь заглядывал в помещение матросов. Наложили печать и идеи шестидесятых годов... «Морские рассказы» Станюкович писал другой рукой, чем свои романы, но все же в его подходе к Прохору Житину или матросу Шутикову или матросу из евреев Исайке, в его симпатичных, дышащих любовью строках сказывался беллетрист-народолюб, для которого на первом плане жестокость одних и бесправие других. Соединенные все вместе, рассказы его имели общественное значение прежде всего. Иное—«Морские рассказы» Новикова. Он не пишет почти о барской половине корабля. Об'ект его лишь матрос, пролетарий флота и душевные побуждения его. Это та психологическая полнота, которую может дать лишь тот, кто спаян с массой огнем переживаний. Матросы Новикова-Прибоя совсем не те, каких видим у Станюковича. Последний рисовал ведь старый флот. Новиков же рисует душу матроса в дореволюционную эпоху. Штрих за штрихом вырисовывает все то, что подготовило красный Кронштадт. И не в этом лишь различие. В изображении Новикова есть тот внутренний опыт, который не может дать сам по себе талант.

Прочитайте «Две души»—рассказ о самосуде военно-пленных над своим же братом, укравшим «жестяной портсигар, за который в базарный день никто и полтинника не даст». Подняв голову, подсудимый как бы ищет себе защиты со стороны людей, хоть не-

которого милосердия. Напрасно. «Перед ним молчаливая толпа, замкнувшая все выходы. Стоит глухая стена из человеческих тел, мрачно неподвижных, точно врытых в землю, а на них торчат круглые, как арбузы, головы, обнаженные и в фуражках, бритые и лохматые, с одной лишь беспощадно-враждебной мыслью о виновности. Тысячи разнообразных лиц, повернувшись к нему, слились в одно общее лицо, загадочное, страшное своей неумолимостью, и давят его тяжелым немигающим взглядом многочисленных глаз». А дальше за этими людьми в сиянии солнца,—непреодолимо маня к себе,—развертывается голубая ширь моря и капризные зигзаги гор...

Начинается порка. Вид крови опьяняет. На 50-ти розгах уже остановиться не могут. «Чего глядеть, катай пинками», «розгами только детей учат», «поленом учи стервеца»,—доносится со всех сторон. «Вот домовой, чуть было палец не от'ел. За то уж и натешилась моя душенька»; «я хотъ разок двинул, но будет долго помнить—концом полена прямым сообщением да в едало как махну»...

Другой рассказывает:

— Вора поймали. Он из другого села был. Так его никто пальцем не тронул. Зачем портить лик человеческий? Вбили ему машинные гвозди в пятки—только без шляпок, чтобы вытащить не мог, и отпустили.

Избитый умер, и началась реакция... Собирали деньги на похороны и оставшейся на родине семье. В похоронах принял участие весь лагерь. Все истово крестятся, хор поет всю дорогу с чувством, и руководит им один из судей («Две души».—Рассказы.— Барнаул. 1919). Таков сюжет, захватывающий уже самой темой, картиной массового психоза, постепенного озверения толпы. Мог ли дать такой рассказ Станюкович? Он обличал дореформенный порядок, порожденные им верхи. Новиков-Прибой открывает другую сторону—темную стихию матроса, его внутреннего бытия. Не ищите здесь идей шестидесятых годов. Перед нами матрос, как он есть. Правда, в «Морских рассказах» Новикова фигурирует уже моряк-революционер. Такова «Бойня»—потрясающая сцена расстрела матросов в Кронштадте в 1906 г. Таков матрос унтер-офицер Зобов в «Подводниках». Но и ради революции не сгущает автор краски. Это—тот же фон матросской души, без малейших натяжек.

Как ни художественны картины Станюковича, все же Антон Горемыка в них жив. Лишь командный состав — представитель грубой силы—живет у него полной жизнью, матросы же только мучаются. Новиков-Прибой разрушает этот миф.

Таких положений, как у Новикова, вы не встречаете ни у кого из «Кузнецов». В его манере, вообще, есть что-то острое; но таков и этот быт, полный новизны, приключений, риска. «Если кто посмотрит на нас со стороны,—говорят его подводники,—то невольно подумает, что это все беспечные и веселые ребята, отчаянные головушки. На самом деле мы только стараемся быть такими, чтобы забыться от пережитых и ожидаемых ужасов. Но не всегда это нам удается. И сам я чувствую и на других замечаю, что озорство, удаль—часто напускное. А в недрах души растут терновники горьких дум и черной тоски». И далее: «Вообще, мы очень много смеемся. И я понимаю, насколько необходим для нас смех: он является противоядием от сумасшествия, как известная прививка от чумы». Это говорит матрос лодки, жизнь которой проходит под водой в таинственной стихии моря. Она—на грани жизни и смерти: ее назначение—топить неприятельские суда.

Казалось, где бы «морскому волку» чувствовать себя больше «жертвой порядка»? Недаром и сам автор выбирает эпиграфом своей повести слова Вагнера: «Когда человек идет на смерть, то самое меньшее, чего он вправе требовать, это знать: зачем?». Но герой «Подводников» говорит даже об этой лодке: «пожалуй, я по своему люблю ее». Даже здесь вы видите, что матрос—благодарный ценитель ощущений жизни. Он пьет из ее чаши, чувствуя ее полноту не хуже, чем офицер, нередко как врожденный артист. Подобно тому, как мужик создал поэзию навоза, и пролетарий флота, обитатель корабля,—поэт моря и ее стихии, капризной и коварной, тех ощущений, которые оно дает.

VI.

Неверов знает и жизнь города. Но сфера его—родная и милая деревня. Деревенский интеллигент, поп, дьячок, кулак, наконец, мужики, бабы, молодежь—вот Русь его произведений.

Но кто не потрудился на этом поприще? Поп, учитель, мужик так прочно вошли в литературу. Сначала этот мирок раскрывали нам беллетристы-народники; затем художник-мужик, от живописания фактов переходящий к раскрытию души, индивидуализирующий то, что так слито у народника, дающий изображение деревни не только в элементах жанра, но и в человеческих фигурах... За что же тут уцепиться живому писателю?

Дано же Неверову не мало. Это заметно по первым его рассказам. Передача настроения, быта двумя-тремя линиями, сочный

народный язык,—без злоупотребления словечком,—сочетание замысла с простотой форм, наконец, юмор,—все это на лицо в его рассказах, вошедших в первый том. Однако, рассказы не обратили на себя внимание. Мы не погрешим против истины, если скажем: Неверов привлек внимание лишь произведениями революционных лет. В чем же причина этого внимания?

Не в том ли, что он делает шаг вперед? Бесспорно, Неверов делает шаг вперед. Он не становится выше самого себя. Это—писатель сегоднешнего дня, мало склонный заглядывать в прошлое, как и в будущее. Но фотографичность, грубоватость, поучительность в меньшей степени дают себя знать в позднейших произведениях, хотя лучшие вещи его (как «Гуси-Лебеди», «Андрей Непутевый», «Ташкент — город хлебный») не свободны от них.

В первых рассказах он не шел дальше фактов. Теперь любой рассказ говорит о работе над материалом. Из деталей вырастает характер; из линий, пропущенных сквозь образ, рисунок. Усложняется и содержание. Неверов знает, что должны говорить и делать его лица; нить событий связывает их и их слова и действия: вытекая одно из другого, вбирают необходимое содержание... Однако, успех Неверова не в этом, а в том, что вопрос взят в новой форме, с начавшейся в деревне ломкой коренных устоев быта и столкновением двух лагерей ее: бедноты и «кулаков», вернее «середняков». Успех Неверова в сюжете—революционном и потому новом. В то время как Новиков не выходит из прошлого, которое так крепко улеглось в его воображении, Неверов не расстается с текущим днем. Перед ним задача показать новую деревню, не ту, которую описал Глеб Успенский или Чапыгин, а ту, которая вот уже пять лет кипит в огне гражданской войны.

Неверов нов сюжетом,—вот, в чем его сила. Разумеется, одно дело—сюжет, другое—выполнение. Но здесь ему идет навстречу чутье. Из калейдоскопа лиц, событий, мелочей вырастает образ народа, ищущего, смятенного. Собирательный лик его дрогнул от урагана. Часть отвергла, часть приняла рожденную им новь, и вот эту-то новь Неверов и отображает.

Правда, дает себя чувствовать сам автор, который слышит один запах, видит один цвет. Место художника подчас занимает пропагандист. Однако, художник вступает в борьбу с идеологом и одерживает над ним верх, и остаются линии быта. Раскройте «Гуси - Лебеди», вышедшие отдельным изданием: вы видите здесь, как отразилась революция в деревне, какой сдвиг совершился в психике, в сознании крестьянина. Влилась в мужицкое

царство струя революции, и не на жизнь, а на смерть столкнулись два мира, старый, еще столь крепкий земле, и новый, которому море по колено.

И здесь на одной стороне — большевики, на другой — все остальные. Федякин, солдат, вернувшийся с фронта,—большевик, учительница Марья Кондратьевна с дьяконом—в остальных. Главный «козырь», с которого большевики выхаживают против последних,—это мир, заключенный большевиками с Германией. Слово это ловят, подхватывают, готовы бы поднять на руки, если бы это можно было сделать. Оно отражается в глазах, в улыбках, звенит в приподнятых голосах. Трехлетняя война, выпившая лучшую кровь, замучила страхом, слезами, отравила жизнь хромыми, безрукими. «Каждому хотелось прижаться к той партии, которая несет на своем знамени скорый немедленный мир», и крестьянин шел в нее в тот момент, хотя собственность тянула его в другую сторону. Это—та же борьба, что в городе, и Неверов выпукло передает зерно спора.

— Для меня понятно,—говорит Павел, сын зажиточного мужика,—когда вы берете имение какого-нибудь графа и дворянина-помещика, но когда травите зажиточного мужика, сколотившего лишнюю сотню рублей, тут уж извините, пожалуйста... Я не могу черное называть белым... Разве богатые мужики не работают от зари до зари? Разве у них не такие же мозоли на руках?

Федякин, собирая морщинки на лбу, взглянул на Павла чуть-чуть потемневшими глазами.

— Ты погоди мозоли считать. Твой тятяшка работал, и мой тятяшка работал. Твой тятяшка наковырял пятистенную избу с палисадником во всю улицу, а мой,—дай бог ему здоровья,—до сих пор не вылезает из свининой гайнушки. Это как понимать?

— Чего же вы хотите?

— Чего нам хотеть! Подравнять немного лишнее.

Начинается «подравнение», дележка хлеба.

Не было силы разорвать кольцо войны; война же уродовала жизнь. Темные глаза наливались волчьим, звериным. И теперь, когда узел—по словам Федякина—приходилось не распутывать, а рубить, это звериное глядело из всех углов. Вековое мужицкое, выросшее в условиях борьбы за собственность, сидело глубокими корнями. Чувствовалась непоказанная сила, может быть, слепая, жестокая, но все-таки сила, «верующая в лошадей с коровами», ради этой веры готовая пойти на плаху. Даже отец Федякин,—тот самый, что «дай бог ему здоровья, до сих пор не вылез из свиной гайнушки», убеждал сына:

— Постой! Ты хочешь добро сделать,—выйдет худо. Кто даст тебе хлеба? Я первый не дам, если придешь в амбар ко мне. Кровяной он у нас, мозольный.

Федякин не замечает тревожно ощупывающих глаз. Зашел к Петраковым. Петраков собирался умирать, но только Федякин заглянул в избу, мгновенно выздоровел. Вошел сын с красными звериными глазами.

— Щитать пришел? Не подходи, Трохим, грех будет...

Раздались голоса, и целым скопом пришли «имущие», выскочили бабы, залаяли собаки. И вот уже «младший Лизаров с ножем в руке несся за Федякиным», Ливаров с Лаврухой ловили на площади Сергея и т. д.

Роман дополняют рассказы, соединенные общей темой. Давая законченную картину, они более, чем рассказы. Они — документы эпохи.

Весь сход, бывало, шел за Иваном Силантьичем; но нынче ему поперек горла стал Гаврила, бывший батрак, бездомовец. Машет руками и хвалит коммуну... Да еще Васька Шибанок, бездомовец, пастух овечий. Кругом радость весенняя, а у Ивана Силантьича тоска на сердце. Взглянет на облачко, а оттуда смотрит Васькино хайло с оскаленным ртом. И окна кажутся слепыми, маленькая дырка в тесовых воротах—такой огромной. Вот тебе и жизнь! Пустырь! И чудится Ивану Силантьичу, что повисла над ним рука, огромная да тяжелая. Лежит Иван Силантьич. Совсем плох. Неужто конец! Подошел к нему амбар недостроенный, посмотрел в испуганное лицо хозяина и говорит человечьим голосом: «Кто теперь достроит меня?» Умирать не хочется. И жить нельзя. Васькина морда торчит перед глазами [1]).

Умер Иван Силантьич. Васька поперек встал... И так же умер Григорий Лукич, только что отстроивший себе новый дом, в котором побывали и пристав, и земский начальник [2]).

А что сталось с духовенством? В рассказе «Что из этого вышло» дьякон Иорданов и о. Николай познакомились с комиссаром райпродкома на именинах у председателя волостного совета. С этого и начались нелады между дьяконом и попом. Чем дальше, тем больше. Думал, думал дьякон, чем бы сконфузить о. Николая, и надумал. Напишет в редакцию, попросит напечатать.

---

[1]) «Лицо жизни»—Рассказы. Том второй. Издание кооп. изд-ва «Жизнь и Знание». Рассказ «Коряга».

[2]) «Новый Дом». Изд. Всеросс. Пролеткульта. Москва, 1922 г. Рассказ того же названия.

— О-ей! Ты знаешь,—говорит он дьяконице—как большевики обрадуются случаю? На руках будут носить. Кто им программу портит на местах? Духовенство. Это же факт.

То же замыслил дьячок Отроков против о. Афанасия. Только вместо кореспонденции пишет жалобу в совет.

Иногда мужички Неверова говорят так: «На бога шибко не надейся, это старая шутка. Мы хотим по новому без всяких чудес» («По новому»). Или: «если бога нет, надо выдумать его».— Какой же это бог?—«Как хочешь, понимай. Дух не хорошо, назови идеалом—по новому». Очевидно, при всем знании деревни, автор приписывает ей больше «идей», чем она имеет.

Личная позиция его выявлена в рассказе «Я хочу жить». «Начал работать с 7 лет, работал ежедневно, и всетаки я нищий, помойный отброс. Стало ясно: мы с матерью не зря посажены в подвальный угол и не волей отдельного человека, а волей тех, кто занял вверху над нами светлые просторные комнаты. Волей целого класса, ради которого сотни тысяч, миллионы других людей должны по звериному пачкаться в слякоти темных подвальных углов». Если он хочет жить, он должен стоять за новь.

VII.

«Заковыку»—сборник рассказов, выдержавший два издания в течение 1923 года,—Волков называет пробой своего пера, и так оно и есть. Однако, нельзя и сравнивать «Заковыку» с тем, что дают нам ныне начинающие.

Их много; не мало книг их выпустили Пролеткульты. Таковы книги Грошика, Василия Попова, Ермакова, многие другие. Болеют душой за крестьянство, за рабочий класс; озаренные светом социальной истины, мечтают о пересоздании жизни. Но техника их первоначальна; ограничен запас слов; стиль тяжеловат; нет и уменья владеть материалом. Быть может, современем дастся им рисунок, придут цвета и краски. Но пока что не отличишь одного от другого.

Совсем другое—Волков, оригинальный в области образного письма. Его не смешаешь ни с молодыми, ни с сложившимися в те или иные величины. Его краски пестры, очертания четки; язык сжат, но остер; там, где другому мало страницы, Волкову достаточно двух слов, слитых с предметом. И все это живет, движется. Слушаешь разговор его и забываешь, что это повествование.

*

Вот попавшийся на глаза рассказ «Заковыки»—«Чудо». Подчеркиваем строй письма. Бабушка Фетинья стара, стала, избушка у ней еще старее. День ото дня прытчится бабушка к могиле, избушка и тут ее опережает: бабушка—шаг, избушка—два, почесть совсем развалилась; думается, надуй губы ветерок посильней—и враз прахом рассыплется. Накроет ночь землю сарафаном, а месяц-насмешник сквозь щели белым языком бабушку примется дразнить, только звездочки, ангельские глазки, улыбаются, так и манят, и манят к себе: «иди к нам, раба божия Фитинья, мы твою душеньку от непогоды крылышками укроем». Рада бы, ох, как рада! Да господь-батюшка на земле держит... Больше всего страшится она, когда зима, не плоше сварливой свекрови, заворчит мятелями, да сам мороз в избушку втюрится, вишь в углу расселся; седую бороду поглаживает, все норовит до бабушки добраться. Спасибо теплой печи—не то беда бы- Поднимется бабушка ночью: лампадочка с иконами перемигиваются, там в углу спасов лик скорбит, справа матушка неопалимая печалится, слева Иван-креститель-батюшка спасу умиляется, рядышком Никола хмурится — строгий угодник. Молится, молится бабушка и ничего иного у угодников не просит, только сохранить избушку до смерти своей. Хоть и плох угол—все же свой, а быть на старости лет бездомной птицей-кукушкой—куда горчее. Бредет бабушка Фетинья по улице с вязанкой хвороста на загорбке, а вокруг нее ветерок,—славный молодой щенок, разыгрался: то за пушинкой погонится, то клок сена по дороге покатит, не то за подол сарафана почнет трепать. Вдруг ветер из проулка какую-то бумажку выкатил и давай бабушку дразнить: только она сугорбится, поднять хочет, а он почесть из рук вырвет и дальше погонит, а там крапива сцапала — не отдает, кусается, насилу - насилу выручила. Расправила бумажку—глядь картинка, какого-то угодника лик.

Грубоватыми, часто смешными словами Волков набрасывает образ. Образ несложный, но вы его не забудете. Вот описание вечера: «Вдали за Волгой, где лес узором темным врезался в небо, вышел на заваленку Старый вечер, закурил трубочку, и ну огоньком попыхивать: сумерничает. Докуривает старый, все реже вспыхивает огонек. Задумался»... («На Волге»). Вот описание избы: «на затылке деревни—за овинами—притулилась лачужка деда Софрона, подпорками точно старушка на локоток облокотилась и моргает в поле слезливыми глазами-оконцами» («Петушок»). Разумеется, эти мазки не всегда удачны. Например: «На койке голосом старых кузнечных мехов распевал свою песню сон. Вот одеяло зашевелилось, сон спрыгнул с койки»; или: «Рассвет снял шубу, распоясался, развесил одеженку тенями по углам подвала и разметнул русую бороду от оконца до полу». Таких натяжек у Волкова не мало. Но, точно чувствуя вину, он спешит поправиться: «церковь зазывно подмаргивает в окошко одним глазом», «гунявит, как нищий-слепец, великопостный звон, на карачках ползет по золотушно весенним полям»...

Описывает Волков, по преимуществу, деревню. Как и Неверов, принял он Октябрь безоговорочно. Однако, тьма,—ту, которую обухом не перешибешь,—не секрет и для него, как и для Неверова. Любой рассказ он на том и строит, что вскрывает эту путаницу. Вот разговор между Вавилой, перевозчиком через Волгу, и прохожим.

— Д-да, одначе я тебе скажу,—говорит он—заносистее нашего народу ни в одной стороне не сыщешь: чуть окуринился, сейчас словно коршуны задолбят... Нет бы друг за дружку стоять.

— Ну, теперича, при новом праве,—возражает Вавила,—и куры загомонили.

И он рассказывает, как у земского поместье отняли. Раньше, бывало, душа в пятки уходила, как завидишь, за версту шапку мнешь. Бедовый был. А теперь что стало... Даже жалость берет: обносился, хуже щипаной вороны...

— Эх, ты Голубь Голубович!—говорит прохожий.—Жалко ему стало... за эту самую жалость, с нас, сиволдуев, и по семь шкур драли.

Что же с усадьбой сделали? А сожгли.

— Да вишь ты, какая оказия вышла—никак поделиться не могли. Значит—и порешили от греха красного петуха пустить, не доставайся, мол, ни нам, ни вам... а дом он больно хорош был... вон училище который год справить не удосужимся («На Волге»).

Стоят друг против друга два мира: мир старый и мир революции а крепки старые устои, и автору не терпится. Тогда он сбивается на анекдот. Такова, напр., «Заковыка», где у Клима все суеверия вместе с верой, привитой долголетним преданием, выветриваются от одной прочитанной брошюры. Таков и «Петушок», где дед только потому, что белые зарезали петушка, с которым он сжился, берет ружье и идет воевать с ними.

Однако, лучший рассказ не крестьянский. Лучший—и самый крупный—рассказ его «Волчий зуб», изобразивший Торговый дом

А. И. Опекин и С-н до и после революции. Правда, несколько кинематографичен он; однако, и извне, и изнутри полон он жизни. Нет, быть может, и размаха в нем. Но это общий дефект писателя. Волков все берет насмешкой. Но этот тон прикрывает легкость замысла. То, что в действительности сложно, у него выходит без гвоздей.

VIII.

Новиков-Прибой, сказали мы, берет глазом. То же можно сказать о Неверове, о Волкове. Федор Гладков, Павел Низовой тоже видят зорко. Но правду свою они выражают скорее музыкально. Это не разница лишь приемов. Это различие жизнеощущений. Каких ужасов ни рисует Новиков, эти ужасы имеют земные грани. Как и Неверов, он всегда на земле, в устоях ч е л о в е ч е с к о й жизни, ч е л о в е ч е с к о г о знания. Универсальные ценности их не интересуют. Обыденная возвышенность, та, что создает ограниченный мир добра и зла,—вот сущность их. Это бытовики по приемам письма; бытовики и по восприятию мира. Другое—Гладков.

Это—то же бытовик, но одаренный особым слухом. Он-то и выводит автора из рамок обыденности на пути мало доступные глазу. Душа полна и подземных звуков, и нужен слух подчас артистический, чтобы расслышать их...

Гладков—трагик, пловец глубин в своих разсказах. И дарование его психологически-музыкально. Пишет он углубленно. Тонкость изображения, язык, богатый ньюансами, тон, при котором важен не только рисунок, но и настроение,—все это помогает ему расщеплять жизнь на волокна неуловимые, те, что существуют в самом интимном и важном, там, где кончается почва обыденного, и начинается связь с далеким.

Раскройте «Огненный конь». «В слепые дни декабря вернулся с войны казак Андрей Гузий, войсковой старшина. В какой час пришел он—не знали, какой стал обличьем—не видели,—начинается повесть.—Будто таился он и скрывал свой приход. Прохромал как-то по двору высокий человек в солдатской шинели. А он ли это был—не могли сказать точно. От земли до неба, сплошным туманом шли дни и ночи. И нельзя было разделить, где был день, где ночь, и день был похож на вечер, и утро на тающий день. И дни, и ночи набухали дождями. Шел дождь—вода лопалась большими пузырями, и они были живые, как пауки.

В эти дни и пришел домой Андрей Гузий. Пришел и —как умер, будто не приходил». Уже по началу узнаете Гладкова: не то тревога, не то смутное ожидание.

И, в самом деле, перед вами сюжет Карамазовский: «дьявол с богом борется, а поле битвы—сердца людей». Рисунок—гражданская война в области Войска Донского. Андрей Гузий на стороне Корнилова, Гмыря, его друг, бобыль—казак, которому он,—доблестный Андрей Гузий, преданный интересам народа,—под снарядами спас жизнь, на стороне красных. Теперь у Гузия—своя правда, у Гмыри—своя. И вот «там он спасал Гмырю от смерти, а теперь Гмыря самого его везет на смерть». Трагично положение нежного, но стального Гмыри, теперь «предревкома», «с артелью упрямо и сурово держащего власть — власть темных, диких еще людей». Он сам прослеживает друга, уличает в сношениях с Корниловым, и чуть не сам удушает его, доблестного Гузия, продолжая любить его, как друга.

Не мало психологического схематизма в повести. Но звенья Гладковского синтеза выступают четко. Это—сочетание натурализма и универсализма. Он весь, всей душой в гуще обыденного. Он приникает к земле, к ее низменному, мелкому. И в то же время для него нет мелкого. Значительно все, что происходит, ибо все космично. Человек и мир слиты в едином, и Гладков чувствует, как мир входит в человека и наоборот. Об'ективно этот процесс безличен. Человек прилепляет себя к судьбе человечества, переносит на него безпредельность своего духа, и все благополучно. Но суб'ективно это не так. Суб'ективно мир полон умиранием. Умирают надежда, любовь, жизнь; ценности открывают какую-то течь... Отсюда—трагедия, и Ф. Гладков с основной своей проблемой о судьбе человеческой жизни—трагик.

У комиссара Глобы (в «Огненном коне») смех на лице жуткий, как маска. Его помощник Лазарь умер и воскрес; его расстреляли вместе с 15-ю, но он очнулся, вылез из кучи тел и бежал. Этот Лазарь знает одно слово: расстрелять. И Глоба видит в слове Лазаря всю мудрость революционера. «Спокойно, по-хозяйски» кивает он матросу: «поставить ему мушку». Человека расстреливают, и тогда Глоба хватает за плечо Гмырю и ласково говорит: «Его не нужно было стрелять. Но он должен был умереть... Потому что он жертва... Вникай». Он самому Гмыре грозит с неугасимым угольком в глазах: «ну, а если бы ты упустил его (Гузия), я сегодня же расстрелял бы тебя так же тихо и по душам».

Тихо, убежденно решает Лазарь: «расстрелять». И Глоба комментирует:

— В-во, видишь... И он больше не скажет ничего... Сразу... Как этакая трагическая Немезида... Ты должен знать, земнородный, что человек это—трагедия... А когда он делает революцию, трагедия становится—всечеловеческой... Понимаешь?.

Но и сам Гмыря так чувствует... Октябрь у него «в кровях». Он, Гмыря, не спал ночей, метался, словно одержимый, и чувствовал: «так надо. В этом было все. Над ним и внутри него была великая стихийная сила. Она повелевала им и вела по предначертанному пути. Что это была за сила, каковы ее законы,—он не мог постигнуть. Но по привычке мыслить по деревенски просто, он олицетворял ее в бедном люде, в его революционной бунтарской воле, в его вековой ненависти к богатым». Но вдруг—с неожиданной для него силой—все вдруг превращалось в хаос, чертовщину, в дикий тарарам, в котором ничего не разберешь; и пустые поля даже, по вечернему грустные, чуяли муку его души. Ведь «и люди и поля это—одно. И люди и поля—великая человеческая судьба». Вот Гмыря везет Андрея на смерть, Андрея, не пожалевшего себя, чтоб спасти друга. И хочет Гмыря сказать что-то, что выпирает из души. Он говорит:

— Ты мине дал жизнь... жертвил живот на мой кровь... А я тебя сейчас предаю смерти. Говори свою болачку, ну?... Вот она, ночь... и до утра ты будешь без мозгов... И то делаю я... Иде правда? Чи в мине, чи в тебе? Обман—твоя и моя жизнь. И не та правда, коли меня на спине тащил... а та правда, коли руку свою поднял... И сейчас вот—правда... Не я, а она... И шо тут в моей утробе? Може, я не вынесу... и може хлеще твоей смерти... И не в нутрях моих правда, а только правда—во! все... разом...

Силился схватить мысль за корень и выдрать из недр души и—не мог. И точно также в рассказе «Волки» стоят друг против друга—офицер Юденича, готовящий расправу, и большевик-парнишка. «Пристально посмотрели друг другу в глаза и нутром, в одном мимолетном мгновении почувствовали, что оба летят в бездну, что они—ничтожные пылинки в стихийных волнах великого урагана».

Это—тона, которых не существует для слуха, менее чуткого. То, что для других слито, для Гладкова звучит раздельно. Ему близко и то, что есть в душе сурового, и то, что есть в ней нежного. Вот почему так дополняют друг друга реализм и романтизм его.

Передавать содержание книги трудно,—слишком много в них музыки. Но остановлюсь на «Пучине»: равновесие формы и содержания в ней выдержано до конца. В этом рассказе находим мы то, что так редко в мужицкой литературе. Это литература в внешнем обыденном смысле слова. Гладков же дает нам трагедию крестьянина. Рассказанная им судьба действует на всякого; сквозь частности сквозит тайна, скрытая в душе человека,—ужас небытия.

Это—бунт против судьбы, по-мужицки пассивный, и затем—смерть...

Всю дорогу от вокзала ехал Фома, будто ничего не случилось. Лишь порою на лице трепетала плачущая улыбка. И когда он смотрел на поля, которые были такими же 60 лет назад, ему чудилось, что он впитывает душою что-то такое, чему имени нет.

— Прости христа ради, тятя... на смерть иду...

Степанку взяли на войну... Да-да... И вспомнил Фома, как Степанка, босой, в полубумажной рубашке и набойных портках с худыми пузырями на коленках, могуче, по бычьи, ворочал все на гумне в слепой мужицкой любви к труду. Хороший был работник! С от'ездом Степанки, хозяйство забрала в руки его жена Оленка. Вошла в «канпанью» с Давыдкой Макиным, выжила Маринку, а самого Фому стала прибирать к рукам.

У Фомы внутри что-то оборвалось. Что-то жгло его внутренность, а что, не понять: может быть, хотелось рыдать по сыне единственном Степанке, может быть, молиться хотелось. И точно отвечая его слезам, таким беззвучным, с обычной вечерней печалью плакал церковный колокол. Вскрикнув глухо: у-у-у!, стонал, скорбел: увы-увы-увы! Потом замирал в слепом древнем отчаяньи... В том, что делалось дома, душа Фомы уже не участвовала. И Паруша, с которой он делился своей тайной («ходит ко мне Степанка-то, Паруша... как ночь, так и...»), говорит ему: «Умрешь ты скоро, Фома!».

Никогда еще Фома не чувствовал себя таким брошенным. Вот отправляется он на станцию. Авось узнает что-либо о Степанке от стоящих солдат. Солдаты ничего не знают, но он приходит к заключению, что Степан убит. И вот надел картуз и зашаркал по дороге. Как человек, смотрели поля на Фому, тянулись со всех сторон, от самого горизонта, смыкались у его ног и несли в его душу непереносную боль, такую же необ'ятную, как они сами. Один шел Фома по дороге и. черный сам, прижатый к земле, исчезал в ней, словно уходил в ее недра и растворялся в ней без остатка. Не зачем уж дальше итти. Все сразу провалилось в

бездну, и он остался один среди полей, последний, никому не нужный. Едва держась на ногах, взобрался на взгорок—будто добежал до заказанного предела. Звонили далекие, родные колокола, и от этого звона пели и молились поля. И чудилось Фоме, что он, распростертый, лежит на полу в своей родной церкви и молится за Степанку. И будто много горит белых тоненьких свечей. Играют и плачут свечи...

Очнулся Фома лишь для того, чтобы отойти в пучину земного безмолвия.

IX.

Тот же инструмент—Павел Низовой. Чувство земли, воздуха, неба; улыбки, взгляды, любовь—все воспринимает он в звуках. Все тайны мира для него—музыка, которая звенит струнами. Импрессионист в еще большей степени, чем Гладков, Низовой, можно сказать, слышит свое чувство, поет его.

«Мелкой дробью глухо барабанит по стенам дождь; шумят деревья. Однообразно, скучно шумят, наполняя долину музыкой тоски и одиночества»; «и звезды, и птица, и разложившийся кусок дерева, и мы, два человека, исполняем великую симфонию жизни»; «в яркие солнечные дни, в долине мы слушаем шопот деревьев, вздохи земли, и внемлем душистой молитве цветов», «озеро всю ночь бушевало, соединяя свой рев с воем ветра и грохотом грозы»; «хочется стать на безмолвной поляне, поднять руки и запеть сильно и радостно».

«Слышу один, мучительно, страстно кричащий, предвкушающий близкое торжество свое, могучий голос пола»; «вы слушаете? Каждый день она проходила по нескольку раз мимо моего окна, и я всегда смотрел на нее, вытянувшись в струночку, такую простую и всю звучащую». Это в «Язычниках». А в «Путях духа моего» «спокойно разлеглось озеро, лучится, поет псалмы»; «в плесках волн невидимой реки кто-то живой, напряженно, без устали, вслух думает—все об одном, все об одном», «от тишины звенело в ушах», «в полутемном углу моей души тихо, настойчиво скребет мышь», «душа поет псалмы» и т. д.

Так воспринимает Низовой весь мир. Мир Низового, по преимущесту, мир слуховых ощущений и связанных с ним переживаний. Но и запахи заставляют его чувствовать жизнь. Своей любимой в «Язычниках» он говорит: «От головы твоей льется

сияние, и волосы твои сладко пахнут. Да и вся ты благоухаешь, как цветущий куст маральника. Я касаюсь тебя, и на моих руках, как от цветов маральника, остается след аромата». И далее: «благоухает цветущая поляна. Для человека ли она благоухает? Может быть, для неба, для гор? Она для любви своей благоухает. Только для любви. Для маленьких крылатых посредников»... К запахам чернозема, моря, леса, осени, любви и т. д. Низовой жаден. Вот сочетание музыки и аромата и дает ему тот язык, который так хорош в его «Язычниках» и «Путях духа моего».

Этим Низовой подходит к Гладкову. Но различны их жизнеощущения. Как импрессионисты, и тот и другой передают самих себя. И все их произведения—как ни разнообразен их фон—это рассказы о самих себе. Это единственные герои их произведений, пропитавшие чувством своей жизненности все мазки, брошенные ими на полотно. Оттого-то облики авторов так врезаются в память всеми своими переживаниями. В чем же различие их?

Гладков идет уже под гору: со страниц идет дуновение элегии. Веет тревогой. После радостей, какими сияет мир, он оценил радость высшую—дышать трагедией. У Низового, напротив, такой юный мир, такие переживания чувственно-растительные и утонченно-духовные; этот смелый оригинальный человек точно впервые только рассмотрел этот мир, полный красок и цветов, и влюблен в него всем пылом первой любви, точно застрахован от того, что точит Гладкова.

Характерна уже структура «Язычников». Напрасно стали бы вы искать здесь той нити, которая обычно скрепляет части произдений. Последловательности идей и образов здесь нет. Повесть разбита на главы, но каждая из них кусок зеркала, отражающего впечатления героя: живет своею жизнью. И это гармонирует с тем я, от лица которого ведется рассказ, которым все полно. Это бродячий своевольный человек, которого можно встретить и матросом, и босяком, и литератором... Ни к какой категории не отнесешь его. Это бродяга во внешнем и внутреннем смысле. Вольная жизнь—вот его стихия. Зато какое любопытство к миру, сколько вкуса в цветах и запахах! Это какой-то сад, обвеянный ветром...

«Солнце, ветер, обильная влага дождевая и влага утренних и вечерних рос, и каждое живое, от слизняка до человека—все это верные, извечные любовники Земли, извечно оплодотворяющие ее, неистощимую в своих зачатиях... Лежу, распластав свое тело на теплой траве, и смотрю на желтый цветок, из головки которого показывается микроскопическое насекомое. В этой, едва видимой, твари, то же, что и во мне, то же, что и в отдаленнейшей, све-

тящей точке Млечного Пути—единое космическое начало, единый мировой разум. И я чувствую свое родство с нею. Солнце жжет голову и плечи; южный ветер мягко опахивает лицо и забирается под открытый ворот рубахи. А вокруг обрызгано желтым, голубым, оранжевым... Мне хорошо от солнца, ветра, цветов и маленькой букашки; запрокидываю голову и кричу: горам в голубом мареве, фиолетовой дали и лучащемуся жаркому небу». Наш язычник отходит от города, от культуры, от людей, ищет подспудных родников в природе. Он так же связан с нею, как она с ним. «И к этой дали—к горам, к небу—бежит, извивается, торопится сообщить о нашем шествии голубая речка... Потом началась тайга. Нагнулась и сразу охватила—зелеными, косматыми, необ'ятными дланями. Охватила неожиданно, цепко и взволновала»...

Всем существом своим воспринимает он мудрость бытия. Все, вошедшее в него, хотя бы на миг, великое и ничтожное, нижется, как жемчуг, на нитку его памяти. Как жемчуг, потому что в природе все возвышенно: нет ни малого, ни смешного, ни уродливого. С утра до ночи бродит он по тайге, прокладывая броды в траве, как большой таежный зверь.

— Ганс!—говорит он товарищу.—Не находите ли вы, что человечеству, по крайней мере доброй половине его, несущей современную культуру и знание, нужна новая религия? Такая религия, в которой была бы великая творческая сущность, а святыней—человеческое тело, в кондаках и тропарях славословились бы мгновения любви и зачатия, а канонами утверждалась страсть?

Ганс молчит. Но за него отвечают те, что не печатают «Путей моего духа», обширного этюда на эту тему: он лежит предо мной, присланный в рукописи. Не желая портить замечательную вещь изложением, я остановлюсь с разрешения автора лишь на предисловии, написанном не для печати. «До сего времени,—пишет автор,—была тенденция на литературу исключительно бытовую, и психологизм изгонялся. Я убежден, что настал момент углубления и обострения литературных тем, ибо пошла в глубь сама революция, и до крайности обострилась психика. В этой книге тоже имеется быт, и по своему революционный, но центр тяжести лежит в психологизме и обобщении. Я хотел дать революцию, ни разу не упоминая о ней. Не ту революцию, которая выросла из экономических противоречий, а другую, менее яркую, но более глубокую, болезненную и более вечную. Она выросла из противоречий, заключенных в самом человеке. Эти две

революции (вернее, две стороны одной) переплетаются между собой, питают друг друга и обе ведут к одной цели. Духовный путь большинства интеллигенции и всего крестьянства от истоков до наших дней лежал через жуткие топи мистики и предрассудков, через пустыню несознанной тоски и томления, через духовные взлеты и падения, через надежды и отчаяние. Краткими психологическими мазками я хотел отметить этот путь. К тому, чем человечество жило тысячелетия, я подхожу чрезвычайно серьезно, с любовью, с внутренним горением, чтобы тем лучше, с последней чадящей головешкой, выбросить ненужное божество».

Вместо последнего, автор ставит «творческую сущность».

Герой «Путей духа моего»—бродяга-монах, подобный герою «Язычников»,—приник к мировой тайне и слушает ее музыку. Ю. И. Айхенвальд высоко оценил «Язычников», запечатленных своеобразием чувств, богатой и яркой душой [1]). Тем своеобразнее «Пути». Беря всех обитателей монастыря не в унылой серости жизненного обихода, а в стихийной природной цельности человека, Низовой схватывает внутреннюю связь действительности. Он не дает сцен, но отражает сознание героев, душевные движения, всю мимолетность их. Это сближает его с символизмом. Однако, у него нет той изысканности, которой так блещет модерзнизм. Низовой—в природе, земле, лесах и ветрах...

Почти все его герои—в пути. Душа жаждет полноты всюду, где светит солнце и синее небо,—не все ли равно, где их застанет хмель весны? Но как ни расходятся пути мира, как ни богаты они запахами, один запах Низовой не смешает с другими—это запах мужика. В «Путях духа моего» о. Иван—«камаринский мужик»—говорит о. Стефану, от лица которого ведется рассказ, о двух мужиках, посетителях монастыря: «Люблю таких. От них землей пахнет и навозом».

— Навозом? Разве это хорошо?—спрашивает о. Стефан.

— А то как же? Где хлеб, там и навоз, а где больше навозу, там больше и хлеба.

Вот этой землей и навозом пахнет от самого автора. От его бродяги до мужика не так далеко, как от бродяги Максима Горького. Оттого-то он и охотнее всего пишет о деревне.

Здесь—в мужицком «вопросе»—Низовой не всегда верен себе. Вот, напр., «На новые места».

Отошли пахучие росы, отзвенели жаркие полдни—степь в осеннем, в дремотном. Ветер треплет одинокие скирды пшеницы,—

---

[1]) Павел Низовой. «Язычники» (1922 г. См. предисловие).

не забыты ли они? С широких степных полей идет румяная сытость. Хорошо в долгие осенние вечера сидеть за книгой древней, вести беседу о правой вере.

Но тонкими струнками натянулась через степь дорога. А по ней оттуда, из-за Урала,ползет скорбь российская, полевая. По сытым полям ползет голодная, безштанная. Подошел смешанный номер тринадцатый к полустанку. Но пусто смотрели в номер 13-й смешанный торговки с румяными, сметанными шаньгами: голь ползет, не покупатель. Старший кондуктор посмотрел в тетрадку:

— Сколько всего?—спрашивал начальник.

— Девять.

— Чорт вас возьми! Что у меня свалочное место—что ли?

Это девять умерших от голода... Оживилась платформа. Но с бесцетных покорных лиц глядела скорбь голодных, далеких полей и безглазая оплывающая тоска... Выли, причитали бабы. Было небо осеннее, холодное. Только молчала степь, дремотная и сытая.

Молчит степь, молчит небо. Только ветер тоскует в проволоках. Со свежего холма берут горсточку земли—в тряпочку и за пазуху. И назад скорбь, и вперед скорбь... Ползет она, великая, неиспиваемая с далеких степей... Когда же доползет до радости? («Тени»).

Это как было. А вот «Новь». Комитет бедноты постановляет отобрать излишки у Никандра Демина и других. Еще до постановления у Никандра вздулись синие, страшные глаза. Порывисто шатнулся к двери... Ночь. Гул набата рвет тишину. Захлопали окна, двери, заметались темные фигуры. В конце улицы над гумном из розовых клубов дыма развертываются пламенные ленты... «Амбары горят! Амбары!»,—кричит ночь. Но горят не амбары, а Никандровские скирды необмолоченной нови...

X.

Демидов выпустил повесть под тем названием, под каким была издана Географическим обществом книга покойной Семеновой-Тяньшанской. Но то был этнографический материал; это—полотно беллетриста.

И по отношению к нему сохраняет силу вопрос, стоявший перед нами: что мог он—после Чапыгина, Под'ячева, Ивана Вольного—дать нового в области деревенского житья-бытья? Ведь

«Жизнь Ивана» описывает все то, что столько раз уже описано. Однако, Демидов сумел сказать то, что не смешаешь с другими.

При всей обширности этой литературы, нет документа, который в подлинных чертах отразил бы живого мужика. Таким документом—чисто автобиографическим,—конечно, является «Жизнь Ивана». Мы имеем, правда, и попытку Семенова «Двадцать пять лет в деревне». Но записки Семенова художественной ценности не имеют. Демидов же работает кистью.

Он дорожит фактами, не столько наблюденными, сколько пережитыми; жизнь мужика—в чьей шкуре жил автор—выступает в такой целостности, что может служить памятником времени и места. Базаров уверял нас, что народ это—тот «таинственный незнакомец», который фигурирует в романах Ратклиф. В силу этого, быть может, то, что считалось установленным «таблицей, умножения», «выворачивалось» на изнанку у наблюдателей деревни. Здесь—жаловался Успенский—«таблица умножения» калечилась до неузнаваемости; «по сту раз в день» получалось, что дважды два—«то стеариновая свеча, то свиная морда, словом, нечто неожиданное и невозможное». У Демидова, напротив, ни стеариновой свечи, ни свиной морды. Он дает неабстрагированный быт мужицкий—так, как он выжжен в мужицкой душе его.

Талант Демидова не из ярких. Он не испытывает под'ема чувств, не изливается в лиризме. Но замкнутый в самом себе, он раскрывает бытовые черты, не замеченные ранее, те, что отмечены своеобразием личного я крестьянина, озарены особым смыслом, существовавшим только для него. Достоевский утверждал, что народ наш все знает, все умеет, все понимает. И каждый народник-идеалист, как бы далек ни был он от Достоевского, по своему верил в это. Верил и приносил в жертву вере все—личные интересы, требования логики, исторические данные. Чтобы спасти эту веру, народнику приходилось строить целые теории. Не то Демидов. Мужика он не любит. Но он слишком его знает. Он у себя дома среди мужиков. Все психологические мотивы его тут. Это и сказалось на характере книги. Как только герой попадает в город в конце книги, все преисполняется схематизмом, которого и следа не было раньше. Оторвался человек от почвы...

«Жизнь Ивана» начата с тех дней, когда он едва себя помнит. А помнить себя начинает он рано. Вот кто-то с бородой подносит Ваньку близко-близко к лампе и учит: «Возьми огонек, возьми, он хорошенький».

Обжег руку и заплакал. А кругом хохочут... В многоветвистой семье дети гибнут без конца. У каждой бабы из девяти

остается один. Лишь Ваньку бог милует. Но вот кончился ему восьмой год—он большой. По первоначалу что полегче, но стоит лишь начать работать, а там только держись.

Забыл как-то Ванька выгнать жеребят на выгон,—понял, что дело его плохо. Заложил дядя голову ребенка между ног—и порол, порол до тех пор, пока Ванька визжать не мог. Все тело было иссечено. Когда Ваньке истек девятый год, он стал пахать вместо дяди.—«Тяжело пахать?»—спросила мать. «Бог знает как»,—сказал он и заплакал. Мать заикнулась Гавриле (отец жил в городе, на фабрике), что Ванька еще слаб для пахоты. Но Гаврила лишь выругался скверным словом.

Отец хотел вывести Ваньку в люди, хотел учить его. Но умер. Мать стала просить дядю Василия исполнить желание отца. Василий дал Ваньке окончить училище. Но дальше учить не стал.

— Ежели он науки все произойдет, то как вырастет, на кой ты ему нужен тогда с своим учением! А ежели вот он будет, как Ильич, всегда при доме будет, и работников не надо будет...

Так вот и рос Иван до тех пор, пока случай не перекинул его в имение, а затем в губернский город. Но дело не столько в самом Иване, сколько в обстановке, так недалеко ушедшей от Подлиповок. Где-то есть города, рабочее движение, а мужик врос в свой клочек земли, ушел в него весь, в те понятия и привычки, которые были сотни лет назад... Культурная жизнь и не начиналась здесь. Ценность книги именно в том, что из каждой мелочи глядит образ, полный внутреннего смысла, того, что подлинно пережито.

XI.

Итак, сила авторов не столько в изображении нового, сколько в изображении старого. Слишком хаотично еще новое... Слишком перепуталось в нем то, что отжило, и то, что имеет будущее. И не мало надо времени, чтобы все это отстоялось в душе художника.

Но годы идут. Новый быт начинает обрастать тканью, пускать корни в старый. И перед художником встает задача: осмыслить новую жизнь России. Была Россия Онегиных. На смену им пришли Базаровы. Затем Боборыкин рисует своего Теркина; Вересаев—первых марксистов из рядов сочувствующей интеллигенции. Но все это умерло. Каков теперешний герой русской жизни? Вот, что должна показать новая страница литературы.

Разумеется, она еще не вписана. Но пишется: мы это видим.

ГЛАВА X.

Всеволод Иванов.

I.

Популярности не достиг ни один из наших беллетристов. Не говорим о Горьком. Его успех—выросший так легко и просто—был молниеносен. Это был особенный успех. Совершенно верно отмечал когда-то Д. В. Философов, что такого преклонения, такой сумасшедшей моды, такой безмерной лести не видал ни Толстой, ни Чехов. «Горький был герой дня, «любимец публики», нечто в роде модного певца, который в течение коротких лет кружил голову своим поклонникам. Широкой публике казалось, что дарование Горького неисчерпаемо, что развитию его нет пределов, и она подстегивала Горького, щекотала его самолюбие» [1]). Его читали все слои от низших до высших; книги раскупались нарасхват. Его переводили на все языки, и из российской его слава стала европейской и всемирной...

Но успех М. Горького точно для того распустился, чтобы оставить в тени наших беллетристов. Ни один из них в «храм славы» не попал. Лишь в наши дни писатель-рабочий стал спорить в успехе с самим «Максимом». Это Всеволод Иванов. Ему даже посвящена уже статья под названием «Новый Горький».

Первые его рассказы («По Иртышу» и «Дед Антон») появились еще в «Сборнике пролетарских писателей», вышедшем в 1917 году. Любопытная подробность: Горький его рассказов не заметил, и первоначально сборник наметился без них. Лишь потом, роясь в материале, замётил их и вставил в сборник Чапыгин...

В 1921 году Иванов был секретарем студии Пролеткульта, где я читал курс истории литературы. Здесь я и увидел его впервые. Он имел вид серого мужичка; издали мне казалось, что он—случайный гость литературных бесед. О его рассказах я не знал. И для меня было неожиданно, когда он поднес мне книжку своих рассказов, на которой значилось: «В. Тараканов. Рогульки».

— Вы разве Тараканов?—спросил я.

---

[1]) Д. В. Философов. «Слова и жизнь».—Статья «Конец Горького» (С.-Петербург, 1909 г.).

— Нет. Это—псевдоним...

Это была первая книжечка его. Но в то время, как он молчал и слушал, у него уже были не только «Рогульки», но и «Партизаны», что вскоре создали ему имя. За ними явились «Алтайские рассказы», «Бронепоезд № 14—69», «Цветные ветра», и заговорили о «Новом Горьком»... Ныне каждая повесть его вызывает толки. Говорят, художник идет на смену усталому автору «Буревестника»...

Успех, как он ни неожидан, всегда об'ясним. Значит, заставил писатель звучать какие-то струны, удовлетворил какую-то потребность. Так было с Горьким. Слишком во время явился он, чтобы не встретить отклика своим бродяжническим мотивам. Ведь в то время это был вызов, брошенный человеком силе всех сильных, крик о жизни и свободе...

Чем же берет Всеволод Иванов? Эта параллель, конечно, относительна; роль литератора *неизмеримо* с'узилась у нас по сравнению с эпохой Горького... Но прежде чем дать ответ, заглянем в прошлое Иванова. Мы соединяем то, что написано им *для нас*, с тем, что написано им для печати [1]).

II.

«Родился в 1895 году в поселке Лебяжьем, Семиярской станицы, Семипалатинской области. Отец—Вячеслав Алексеевич—рабочий с золотых приисков; самоучкой сдал экзамен на сельского учителя. Но учил, особенно меня, мало, все больше по монастырям и по бабам ходил. От водки сошел с ума, немного оправился. Не видал я его семь лет, в 1919 году приехал повидать, а на третий день брат мой Палладий нечаянно его застрелил из дробовика (сам Палладий через год умер). Семь лет не видал я отца. Лишь в дни бегства увидал. Вышел он за ограду встречать меня—загорелый и худой, в штанах из серого мешка, и заплакал. А у меня в мозгу и в сердце не он. Помню последнее: в Омске,—после прихода чехов—подводы на пыльных душных улицах. Я насчитал их семьдесят, прошедших мимо. Семьдесят подвод расстрелянных. Везли их рано утром, и на трупах была пыль и такая же пыль была на мне...

[1]) «Литературные записки» № 3. «Серапионовы братья о себе». «Грядущее».—1921. № 9—12. «В дни бегства».

У матери одинокие глаза. Она глядит на меня и тихо спрашивает:—тебя как зовут-то теперь?—Василий,—отвечаю я.—Она глядит испуганно—ее пугает и новое мое лицо, и новое имя, и чужая фамилия. А позади ее смеется невзрачным идиотским смешком мой брат. Ему уже девятнадцать лет, но он похож на ребенка. И тонкорук, и тонконог, с вздувшимся животом. «Хэи-и-и... хэи-и...» смеется он. Через дня два я пошел на охоту. Было десять патронов; девять выстрелил, а один почему-то оставил. Принес мешок уток. А вечером, когда я сидел под навесом и писал рассказ, брат, желая пошутить, взял ружье и выстрелил. Весь заряд попал отцу в шею. Потом брат чистил изюм для поминок, и, когда я заходил в кухню, он предлагал: «Всеволод, хошь изюму, крупнейший изюм»... И невзрачно пересмеивался.

Казаки хотели устроить самосуд (думали: я его убил, отец был царелюб), и я бежал. Помню степь, повозку со скарбом, на скарбе мать и брат. По бокам дороги подпиленные телеграфные столбы, куски проволоки и на кустах караганы—человечьи кишки. Они высохли, ветер шебуршит ими по листьям, а мать говорит:

— Пымают казаки новосела, брюхо подрежут, да на палочку-то кишки и выматывают. Хохочет тот неудержимо, так с хохоту и умрет.

— А новоселы?

— Ну и они тоже—пымают и тоже на палочку. Так оно с одной стороны новоселы вешают кустами кишки, а с другой—казаки. Ишь, болтаются.

Мать, Ирина Семеновна, казачка, и сейчас живет в поселке, через дядю пишет—неграмотна,—«приезжай, приготовила пуд масла и насушила боярки»... Знаю: в поселке спеет боярышник, стерляди идут густо, и над солонцами, как спелые ягоды, утки. А я сижу в Петербурге и пишу романы.

Учился в сельской школе и—полгода—в низшей сельскохозяйственной, откуда поступил четырнадцати лет в типографию гор. Павлограда. Работал в типографии с короткими промежутками — (сначала выучеником, потом наборщиком) с 1909 по 1917 год. В промежутках был матросом, грузчиком, клоуном и факиром, глотал шпаги, прокалывался булавками, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал; ходил по Томску с шарманкой; актерствовал в ярмарочных балаганах, был куплетистом в цирках, даже борцом. Все время жил и работал в Сибири и на Урале. С 1917 года в революции. После взятия чехами Омска (был я тогда в красной гвардии), когда одношапочников моих перестреляли и перевешали, бежал я в Голодную Степь, а после

смерти отца дальше—за Семипалатинск, к Монголии. Ловили меня изрядно, потому что приходилось мне участвовать в коммунистических заговорах. Так от Урала до Читы всю колчаковщину и скитался, а когда удалось мобилизовать, то прикомандировали меня, как наборщика, к передвижной типографии Штаверха. Паспорт у меня был фальшивый: «Евгений Тарасов».

«Дальше два случая. Когда поезд окружили партизаны, комендант поезда прапорщик Малиновский сказал мне:—Давай свою шинелюшку, а сам мою бобровую шинель возьми. Я побегу, тут в сторону дорога открыта.—Я отдал. Прапорщик не убежал, и в полуверсте его зарубили. Подошли партизаны (в белых халатах—чтобы на снегу незаметно), старичка-генерала какого-то пристрелили у вагонов, а также мичмана с отмороженным ухом и человек тридцать добровольцев, выданных железнодорожниками. А когда вечером совсем трупы поубрали, пристыла кровь (кровь на снегу, как линялый, из‘еденный молью бархат), удумал я прогуляться; накинул на плечи шинель и вышел. А на снегах ночь, как лед морской. Проезжают мимо поезда верховые двое, мельком оглянулись и дальше. И вдруг, чувствую, лошадиная морда в плечо. Спрашиваю:—Чего? Отвечают спокойно и трезво.—Из-за вас седни товарища Суменина порешили. Становись на коленки, богу молись, я тебя сейчас на тот свет.

И в седле закачался, потом из-под тулупа в каждую руку ноган. Оказывается, погоны офицерские я забыл снять. Попробовал сказать, что рабочий—матерятся. Тогда говорю со злостью:

— Нет, мол, па колени не стану и молиться твоему богу не буду—не верю. Стреляй.

Наклонился он с седла, под шапку мне смотрит—широкобородый, как кедри пьян (по духу чую); страшно:

— Ка-к ты, б... экая, без бога смеешь жить.

И пошел у нас тут спор о вере—старожил оказался кержак-раскольник. Веру я мужицкую знаю крепко. Ноганы спрятал, говорит:

— Эвон, огонь видишь: неси туда моим приказаньем мешок муки и боченок масла.

— У меня нет.

— Казенный на складе имеется.

— За замком, ломать не могу, хоть бы имелось.

— А ты не ломай, ты пленный, законно не имеешь прав ломать. А я сломать могу. Покажь.

Три версты тащил я ему из сломанного вагона куль крупчатки и впереди себя катил боченок масла. А в избе баба с ши-

роким, как телега, задом. По скамьям куски ситцев, на полатях барские сундуки, картина какая то, проткнутая штыком, грамофон гудит. На столе в ведре самогона ковш. Пили мы всю ночь. Ширококостная баба пекла блины, и спорили мы о боге и трехперстном кресте.

— Приезжай,—говорил, обнимая меня, Селезнев.—Приезжай ко мне на лето, Сивовот. Больно ты материться можешь и в бога не веруешь, весело, приезжай.

А на другой день увезли нас в Новониколаевск. В городе—мороз и ветер. Тиф. Трупы валялись у насыпей, и когда я шел к станции железной дороги, видел: собака тащила человечью ногу с выеденной до кости икрой. Из Чека меня направили еще куда-то. Там порылись в бумажках и переспросили:

— Ваша настоящая фамилия Иванов?

— Да, Всеволод Иванов, а по «очкам»—Евгений Тарасов.

Еще подумал некий в френче, написал записочку в какое-то передвижное Чека, а там порылись опять и сказали торопливо:

— Раз вы Всеволод Иванов, значит, вы арестованы.

Арестованных и Колчаковских пленных тогда было тысяч десять. Поездами привозили с раз‘ездов трупы замерзших—на кого мне теперь сердиться. Оказывается: был еще у Колчака Всеволод Иванов, редактировал в Омске газетку и писал патриотические стишки. В камере помещалось семнадцать человек; на утро пришел солдат и сказал:

— Одевайтесь, на улку ай-да! Барахла можно не брать.

— Куда?

— На колчаковскую ярмарку.

Повели нас всех за город. В испуге я забыл надеть шапку; волосы у меня тогда были до плеч,—ветер на улице так и вздыбил. Конвойный обернулся:

— Ты пошто без шапки!

Об‘ясняю.—Без шапки, говорит, нельзя.—Остановил отряд. Утро было уже большое. Служащие шли в учреждения. Взошел конвойный на троттуар и с какого-то буржуя сдернул хорошую меховую шапку:

— Ну, теперь пошли.

Тем временем столпились; слышу, кричат:

— Товарищ Иванов.

Смотрю: наборщик Николаев, в семнадцатом году вместе на конференции печатников были. Рука на перевязи и на груди красноармейские знаки. Комиссар, видимо. Об‘ясняет конвойному:

меня нельзя расстреливать, ибо я совсем большевик. Солдату, должно быть, надоело слушать, докурил папироску и сказал:

— Наше дело разве судить? А раз тебе его надо—бери.

Николаев вывел меня из толпы под руку, а остальных увели за город. Через час мне дали временное удостоверение и пропуск из города. Это, конечно, не все: идет с 1917 года одна моя дорога—смертная. И тому, что жив, радуюсь. Видел растянувшиеся на сотни сажен мерзлые поленницы трупов. В снегах—разрушенные поезда, эшелоны с замерзшими ранеными. Видел, как партизаны жгли трупы (закапывать не хватало сил)—один ряд трупов, другой ряд бревен из изб, и так на двухэтажную высоту, и от человечьего дыма небо было словно копченое. Тупики, забитые поездами с тифозными, и сам я в тифу, и меня хотят соседи выбросить из вагона (боятся заразиться), а у меня под подушкой револьвер, и я никого не подпускаю к себе (выбросят—замерзнешь, а наш вагон все же кто-то топил). И так в бреду семь суток лежал я с револьвером и кричал.

— Не подходи, убью!

А по бокам дороги в крестьянских хлевах награбленные штуки материй. Ветер, словно камни, и простые, как огонь, смерти. И мохноногие мужики, учившие меня не знать страха:

— Коли ты в бога не веруешь, дави кулаком на сердце и главно дыши, парень, поглубже, чтобы пропотеть. Раз вспотеешь, все можно сделать.

В Татарском уезде, в тайге, был инструктором по внешкольному делу. Там за открытие школы и избы-читальни в поселке Брусничном подарил мне сход два мамонтовых клыка, найденных в те дни в Урмане. В Омске был в газете выпускающим и корректором. Из Омска помог мне выбраться Алексей Максимович и Г. Устинов — друг вечный. В Петербург прибрел в январе 1921 года, здесь стал питаться близ Дома Ученых и писать, что было давно надумано. Попал к «Серапионам» братом Алеутом.

Печатать начал рассказы с 1916 года. В газете «Приишимье» (Петропавловск, Акмолинской области). В 1919 году сам набрал, напечатал свою книжку рассказов в количестве 250 экземпляров. Большую поддержку в самообразовании и в литературной работе встретил от М. Горького, с которым—не будучи знаком лично—имел переписку. Многим обязан А. Чапыгину и ныне умершему сибирскому поэту-самоучке К. Худякову. Всю революцию не писал, разве статьи (очень глупые). Напечатаны книжки рассказов: 1) «Лога», 2) «Цветные ветра», 3) «Партизаны», 4) «Бронепоезд № 14,69», 5) «Седьмой берег», 6) Романы «Голубые пески» и 7) «Ситцевый зверь».

III.

Всеволод Иванов, если не всю Россию, то всю Сибирь прошел от края до края. Ему двадцать семь лет, он всеми своими корнями в нашей эпохе. В чем же его успех? Какие струны затронул он?

Намечается новая Россия, и вместе с тем, начиная с 1920 года, зреют писатели, которым предстоит осветить «новь», рассмотреть грядущее. Работа началась, и не один образ, впитавший в себя дыхание наших дней, уже вписан в литературу. Но все это, в общем, бледно перед лицом событий. Всеволод же Иванов, талантливый, темпераментный, сумел не только родиться для новой России, но и захватывающе ярко отразить ее. И его успех именно в этом.

Он—художник перемен огромной важности.

Иванов примкнул к «Серапионам». Их crédo Лев Лунц изложил так: «Мы не выступаем с новыми лозунгами, не публикуем манифестов и программ. Но для нас старая истина имеет великий практический смысл, непонятный или забытый, особенно у нас в России. Мы считаем, что русская литература наших дней удивительно чинна, чопорна, однообразна. Нам разрешается писать рассказы, романы и нудные драмы,—в старом ли, в новом ли стиле—но непременно бытовые. Вот и все наши братья как раз бытовики. Но они знают, что и другое возможно. И вот Всеволод Иванов, твердый бытовик, описывающий революционную, тяжелую и кровавую деревню, признает Каверина, автора безтолковых романтических новелл. Потому что мы требуем одного: произведение должно быть органичным, жить своей особой жизнью. И еще один великий практический смысл. Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. «Кто не с нами, тот против нас»,—говорили нам справа и слева. С кем же мы, Серапионовы братья? Мы с пустынником Серапионом. Значит, ни с кем, значит, болото? Без идеологии, без убеждений, наша хата с краю? Нет. У каждого из нас есть политические убеждения, каждый хату свою в свой цвет красит. Так в жизни. И так в рассказах, повестях, драмах. Мы же вместе, мы—братство—требуем одного: чтобы голос не был фальшив. Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественнность. И нам все равно, с кем был Блок поэт, автор «Двенадцати», Бунин—писатель, автор «Господина из Сан-Франциско». Мы не хотим утилитаризма, мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь. И, как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать».

В этом и Иванов: он без надрыва и без пафоса рисует огненную стихию. Он неиссякаемо верит в ее смысл, но метко и смело умеет выявлять в том, что есть, то, что было. Лишь то, что заложено внутри, интересует его.

Обилие запахов и звуков, язык лесной, овеянный ветрами, пестрота эпитетов, мастерство диалогов сообщают уже внешний блеск рассказам. Правда, не всегда это метко. «Избы текли огромные», «как темные цветки, отражая звезды, пахли людьми окна». Это натяжки. Но вот «ночи текли медленные и широкие, как сибирские реки»; «темные, низкие, как коровы, дышали темно-зеленые избы»; «дышит земля осторожно и чутко, как собравшийся в далекий путь старик»; «поп шумно вздохнул, захохотал, хохотали зеленоватые, пахнущие илом волосы, широкие одежды»; «пахло от них потом—с потом вываливалась мысль»; «тьма зеленоватыми кошачьими зрачками щурилась в окна»—это, конечно, хорошо. Богатство изобразительных средств Иванова в том, что он одинаково хорошо видит, слышит и обоняет. Отсюда колоритность, пахучесть слов и образов, которых у него такой запас. Ветер у него то «лимонно-оранжевый», то «пахучий и непонятный», голос—«черный и холодный, как зимние воды», борода «пахнет спелыми деревьями»... На первый взгляд может показаться, что наш художник в плену запахов и красок, т. е. внешних приемов. Но искусство колорита дает жизнь и тому, что заложено у него внутри.

Сфера Иванова—не люди, а события с их головокружительным разнообразием. События таковы, что перед ними бледнеют люди. Но в том-то и ценность Иванова, что человек и его судьба в рассказах его тоже закончены в своей особой сложности, как и те события, что играют ими.

На ваших глазах идут превращения явлений, вещей, людей из тех, какими мы их знали прежде, в тех, какими их видим теперь...

IV.

Это Сибирь «белых» и «красных»; вернее, лицо масс, которых революция захватила в свой круговорот. «Не самогонка, браток, а николаевка»; «айда большевиков крыть»; «мы вот ей сейчас по-колчаковски, башку долой»; «как, грит, соберем обчество, так усех богатых мужиков перережем»; «а, может быть, передумают, сами в буржуи пойдут»; «резервный вы люд, и никаких»—вот, чем насыщена каждая страница.

Сила Иванова в полусознательных движениях души. Он любит стихийность, эмоциональную полусознательность, глубину первобытную, и она-то и есть об'ект его изображения. Рисует ли он дикого степного киргиза Тембербея, с которым началось что-то непонятное после того, как он своими глазами увидел расстрел людей, который у этой могилы похоронил прежнего, тихого, спокойного киргиза; или Калистрата Ефимовича, который ждет новой веры и попадает в «партизаны»; или шантрапу, состоящую из наборщика, слесаря и бывшего актера, промышляющих на большой дороге; даже прапорщика, которому хотелось обнять здесь на просторе «простую пахнущую хлебом, деревенскую девку»,—пред вами один мир: мир «лохматых людей, узеньких линий глаз, где бог знает, какие мысли прячутся».

Стоит автору подняться над этим, чтобы краски ему изменили. Вот, например, каким языком начинает говорить Кубдя, крестьянский парень, слова катающий, как бревна, как только попадает в «партизаны»: «товарищи, не надо нам колчаковского старорежимного правления, желаем свою крестьянскую власть»; или: «так как надо назначить кандидатов, то мой голос за Антона Семеновича Селезнева». Сам автор сознает, что мужику здесь «выражать» свои мысли еще труднее, чем у себя дома. «Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством мысли, слушались плохо, и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбки». Однако, этими «кандидатами», не существующими в лексиконе его героев, они стреляют...

Зато в изображении примитива Иванов верен себе.

Вот почему он не выходит из образов деревни... Это собирательная психика ее, прошедшая сквозь дым пожарищ. Индивидуализирована лишь ее сложность... И то ново, как сочетается в мужике, втянутом в распрю, звериное, таежное и человеческое, родное. Это—дикость, тьма, азиатчина Чапыгина и Под'ячева. Но у тех глухая ко всем голосам жизни деревня вгоняла свою боль внутрь. У Иванова все это выходит наружу...

Калистрат Ефимыч в «Цветных ветрах» признается попу: «звери у меня на душе бегают». Его дочь Агриппина напивалась пьяная, пела матерные солдатские песни; «чувствуя под зубами расступающееся, мокрое мясо» офицера, с которым жила, укусила. Сын Дмитрий рассказывает о себе: «Я, парень, за солдатчину-то больше сотни баб заразил. Пущщай ходят—докторам прибыльнее. И думал-надумал подхватить княжну и нацепить,—болтайся». Второй—Семен—подстреливает «красных» за керенки. Вот как

он бьет жену: «Семен спокойно, как бьют лошадь, ударил Феклу копылками руки в шею, Фекла качнулась. Он быстро левой рукой ударил снизу в подбородок. Изо рта у ней на выпачканную в муке кофту прыснула густая кровь.

— Д-дай ей!—высохшим голосом торопил Дмитрий.

Семен отскочил и ногой ударил Феклу в живот. Фекла тяжело повалилась на стол, задела хлебы. С короваем упала на пол. Коровай облило кровью. Семен схватил хлеб, кинул его на лавку. Прыгнул каблуками. Дарья обтерла с коровая кровь. Фекла, вязко трепыхаясь, остро визжала в плахи: «Уби-ил, мамонька, уби-ил»... Семен с наскоку ударил ее сапогом в глаз. Фекла схватилась за сапог, ерзая по коже кровянистым телом, хрипела протяжно.

— Так им, сукам!—Осипло сказал Дмитрий и, вдруг обернувшись к Дарье, ударил ее в скулу.

Дарья схватилась за косяк и оползла на пол... Пахло в избе кровью, хлебами и овчинами. И не слышно было тихого плача слепой Устиньи. Показался отец, которого Семен по соображениям Дмитрия тоже должен побить, и последний советует: «ты его бей под сердце,—здоровай, верзила-а... Коли сразу не собьешь»...

Дмитрия партизаны расстреливают, приняв за Семена. Калистрат Ефимыч—правая рука Никитина, начальника отряда—просит:

— Пусти сына. Не он убил.

Но Никитин прост.

— Кто-то убил, кого-то надо убить: убьем.

И Дмитрия убивают. Но и Калистрат Ефимыч «прост».

— На с'езде советов шестнадцать волостей, одна не хочет—расстрелять приказал усю...

Это в «Цветных ветрах». А вот из «Партизанов».

— Расстреляют колчаки-то. В чернь, одно... Нам с этой властью не венчаться. Наша власть советская, крестьянская...

— Думашь, самогонку даст гнать?

Вот—фон. Опасные инстинкты, темные мысли... Это—то, что было; только вышедшее из берегов... Но вот что характерно: Иванов не замыкается в тупик. Напротив, среди развалин он видит побеги будущего. Все у него полно сил многранных. «Темень ты стоязычная, темень... Хо-хо-хо-хе»... говорит Кубде подрядчик Ермолин. Кубдя же думает:

— Плохо... Недовольны мы, понял? Желаем жить—чтобы в одно за всеми, а не у свиньи хвост лизать. И с такого положения встосковали мы....

Это вот необузданное чувство обновления так же не отделимо от этих людей, лохматых, травоподобных, земляных, как и их тьма и жестокость...

V.

Лучшие страницы Иванова—страницы о земле, от которой отрывает огонь восстаний.

Вот Кубдя, работающий в подполье. «Смутно мужику-то». «Землю жалко, что ли»? Он судорожно хохочет, машет руками,—«видимо старался отойти дальше от обступившего всех чувства связанности с землей, с ее болями и от этих, пахнущих таежным дымом, людей, каждый день приезжающих на телегах, верхом и в пешую на Лудяную гору» (Партизаны). Он не отделим от земли и ее власти.

От Калистрата Ефимыча «лило землей и травами»; Настасья Максимовна так и называла его «полосынкой сердешною». Да и от нее самой пахло свеже скошенной травой. «Эх, земли, вы мои земли! Ветер алтайский, пахучий! Медоносные пыли на душе и язык, как журавль на переплете, тоскует!.. Эх, земли, вы мои земли тучные! Эх, радость, любовь моя, горная птица над белками»...

Смутно мужику, но он должен землю бросить... Иначе совсем отнимут... Вот эту-то тоску по земледельческой стихии Иванов звучнее всего передает. Так и просвечивает душа степного человека во всей его медвежьей цельности.

Когда-то это показал Глеб Успенский; но его Иван Ермолаевич и не думал бросать землю. Если же и бросал, уходил на заработки, то на время. Теперь же вопрос о земле это вопрос о преображении всех отношений. Иванов и дает лицо новой массы в этой новой тоске.

ГЛАВА XI.

„Металлическая тема“.

Ал. Бибик, Н. Ляшко, И. Дозоров (Гастев), П. Бессалько, Н. Рыбацкий.

I.

Рабочая пресса (1911—14 гг.) впервые выдвинула беллетристов, отразивших многообразную ткань фабрики. Из тьмы подвалов, рабочих казарм, заводских буден впервые блеснули десятки искр.

Десятки имен открыли рабочие газеты, профессиональные журналы. А многие ли из них пошли дальше? Нет, лишь единицы. Таковы А. Бибик, Н. Ляшко, П. Бессалько, И. Дозоров (Гастев), Н. Рыбацкий, ряд книг которых перед нами.

Ни один из них не издал своих книг до революции; лишь роман Бибика, напечатанный в «Современном Мире», в 1914 году вышел в издании М. А. Ясного в Петрограде да «Алмазы востока» Бессалько—в Париже. Бессалько не только своих крупных, но и мелких вещей не видел в прессе того времени.

Выше повести, собственно, писатели из народа не поднялись. Рассказ, набросок, очерк—вот обычная форма их произведений. Такие произведения, как «Пламень» Пимена Карпова, не более, как исключение. Даже Чапыгин, Под‘ячев, Вольнов, давшие крупные по об‘ему книги, не дали романа. Наши же пролетарии дали не один роман. Таковы А. Бибика «К широкой дороге» и «На черной полосе»; Павла Бессалько «Катастрофа» (1918 г.) и «Бессознательным путем» (1918 г.).

Романы Бессалько вместе с «Детством Кузьки» и повестью «К жизни» составляют одно полотно. Н. Ляшко выпущены: «Железная тишина» (Изд. «Кузницы» 1922 г,), «Радуга» (изд. «Кузницы» 1923 г.), «На реке» (1923 г.). Рассказы И. Дрозорова (Гастева) вошли в первое издание его книги «Поэзия рабочего удара». В последующие издания они уже не входили. Наконец, книга Рыбацкого «На молотах», с вступительной статьей Ильи Садофьева, вышла в 1921-м году, вскоре после смерти писателя.

Вот все, что отмечено печатью индустриализма. Касался рабочих тем Ѳ. Поступаев (см. издания «Посредника»), Садофьев («Окровавленная лестница»), Крайский («То, чего не было»), Василий Попов («Рассказы»). Но так, как пишет Попов или Крайский, может писать всякий, хотя бы он рабочим и не был; а так, как пишет Бибик или Дозоров, может писать лишь пролетарий.

Это заставляет нас сосредоточить внимание на последних.

II.

О Бибике мы даем сведения, содержащиеся в предисловии к его роману:—нам не удалось установить с ним связь,—пополнив их указаниями Н. Ляшко.

Родился Бибик в конце семидесятых годов в Ивановке Харьковской губернии. «На завод пошел с четырнадцати лет (15-ый год «кум писарь приписал»). Отец был токарь, умер в 1898 году. Большой был индивидуалист, крепко верил только в себя, в свой угол. Но живи он лет на десять позже, из него вышел бы отличный коллективист. А так он в сильной степени отражал все понятия и нравы полудикой, полупьяной сапожничьей окраины, хотя и выше был по кругозору и любил Некрасова и Шевченко. Семнадцати лет я ушел от него, как он в свое время ушел от отца из деревни в город».

О матери Бибик пишет: «рожала детей ежегодно, любила их, поила «мачком», что не мешало детям умирать беспризорными. Политики она, как и все пролетарские матери, не любила».

По профессии Бибик токарь. Долго работал в Харьковских железнодорожных мастерских. С ранних пор вступил в движение, где играл выдающуюся роль. Сидел в тюрьме, отбывал ссылку, где и написал свой первый рассказ. «Я никогда не мнил себя писателем,—пишет он,—первые рассказы, помещенные в провинциальных газетах и теперь совершенно затерянные, получились случайно из фактических кореспонденций. Это было в деревне Вятской губернии в 1903-м году. Один из товарищей Н. М. В-н заметил эти кореспонденции и побудил меня написать рассказ. Если не ошибаюсь, это был «Швырок», изданный в 1903 году В. И. Раппом отдельной брошюрой. Вернувшись в конце 1903 года в Харьков и не находя работы, я написал три рассказа». Повидимому, это рассказы «Во чреве китовом» (напечатано в «Мире божием») и «С ночной смены» (напечатано в «Журнале для всех» в первой половине девятисотых годов). «Писательство—продолжает писатель—все еще казалось мне святотатством, а в тайне уже зародилась мысль написать о нашем рабочем житии не только разрозненные странички, а целую книгу. Эта целая большая книга—заветная мечта почти всех сознательных рабочих, бравшихся за перо. Все,

что писалось о рабочем не рабочими, меня не удовлетворяло. Я же так много пережил и в мастерской, и в тюрьме, и в ссылке, так много наблюдал и видел людей, что, казалось, могу написать».

Однако, в ту пору не удалось это осуществить Бибику. Лишь шесть лет спустя, в дни пятилетия, следовавшего за 1905 годом, Бибик садится за роман. «Песнь торжествующей смерти Арцыбашевых, Андреевых, Сологубов и прочих смертных 1907-11 гг.— пишет он—так возмутила меня, и так страшно хотелось противупоставить этому шакальему вою нечто другое—живучее, светлое, вечно юное,—что я снова принялся за рукопись. Но ясно было, что книга в задуманном виде—предприятие рискованное и длительное. Вспомнил я некоего барсука, поднимавшего жеребенка... И—«сдал». Где уж нашему брату, занятому человеку, писать огромные полотнища разрушения старого мира и страдальческое, но неуклонное и победное шествие мира нового!»

Однако, хотя работать пришлось более года, по праздникам и вечерам, после работы на заводе, «первая глава великой книги о рабочих»—как называет Бибик роман «К широкой дороге»— вышла в свет. Но это была только первая глава.

Художник обещал вернуться к своему Игнату. Действительно, второй роман, напечатанный в «Творчестве» и затем изданный (московским советом рабочих и крестьянских депутатов), есть вторая глава книги. Одновременно Бибик помещает ряд рассказов в «Нашем Деле», «Нашей Рабочей Газете«, «Рабочей Мысли», «Нашей Заре» и т. д.

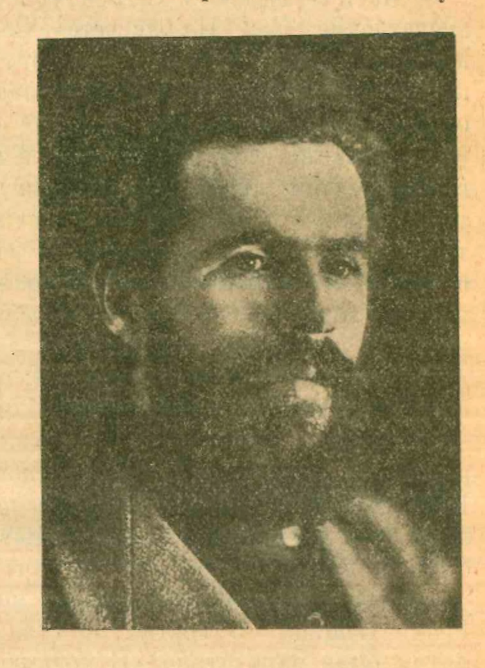
III.

Н. Н. Ляшко родился в 1884 г. в гор. Лебедине Харьковской губернии. Отец—николаевский солдат, мать крестьянка. Окончил церковно-приходскую школу. Одиннадцати лет попал в Харьков, где работал в качестве мальчика в кофейной, в качестве ученика на кондитерской фабрике, затем на машиностроительных заводах. В Харькове же окончил ученье на паровозостроительном заводе по токарному отделению механического цеха (по металлу).

Работал на заводах Харькова, Николаева, Севастополя, Ростова на Дону и др. С 1902 года вошел в движение, сидел в тюрьмах Ростова (1902 и 1905 г.г.), Севастополя (1903 и 1904 г.г.), Харькова (1905 г.), Черкас (1907 и 1908 г.г.), Москвы (1912 г.), Пятигорска (1914 г.). Дважды отбывал ссылку: в Олонецкой и Вологодской губерниях. Был под судом, отбывал крепость и проч.

«Еще в пору ученичества на кондитерской фабрике и машиностроительных заводах—пишет Ляшко—любовь к книге при помощи воскресной школы Хр. Алчевской (Харьков) и Рабочих курсов стала оформляться: я отказался—при выборе книг—от услуг библиотекарши и пользовался каталогом самостоятельно. К семнадцати годам после Жюля-Верна, Майн-Рида, Дефо и пр. мною прочитаны были часть Л. Толстого, весь Достоевский, рассказы и повести Короленко, Чехов, Гоголь, Пушкин, Лермонтов. С последними тремя был знаком и раньше.

Из научных книг на меня впечатление произвели книги Рубакина, Лункевича, а впоследствии Тиндаля «Звук», Лапласа «Теория строения мира» (?), «Денежное обращение». К этому времени относится мое знакомство с произведениями Шпильгагена, Золя, Шевченко, «Искорками» Рубакина с одной стороны, прокламациями, подпольными листовками (и попутно с живыми участниками подполья) с другой.



Н. Ляшко.

Если не ошибаюсь, в 1901 г. у меня было первое свидание с представителями Харьковской подпольной организации, после которого я стал участником подпольного кружка, наполовину состоявшего из моих сверстников, учеников токарного отделения механической мастерской Харьковского Паровозостроительного завода. С этого момента на помощь мне приходят Липперт, Дарвин, Маркс. Брат, работавший на том же заводе, его товарищи, старые рабочие, проходят ту же школу. К половине 1902 года кружковая работа прекратилась. Было тесно, душно. Придравшись к ссоре с начальником мастерской и мастером, я взял расчет (иначе мать, брат и невестка воспротивились бы), уехал из Харькова и начал самостоятельную жизнь.

Наиболее значительными явлениями до от'езда из Харькова были: а) первое мая 1901 года; впервые увиденное мною красное знамя, с которым два завода—Бельгийский и Паровозостроительный—двинулись к Конной площади; встреча на заводе (Бельгий-

ском) с токарем, который отказался дать мне прокламацию и доказывал, что «для этого» я еще мал; б) свидание с представителем подполья и его разговор со мною, носивший характер экзамена; в) первое мая в Харькове на паровозостроительном заводе и речь князя Оболенского (губернатора) перед нами: «бог землю не уравнял—есть долины, горы и холмы, а вы хотите быть равными»... В наших требованиях ни слова не было о равенстве...

Из произведений литературы на меня производят в это время впечатление: Еж «На рассвете», Золя «Углекопы», Короленко «Сон Макара», Елпатьевский «Гектор», Рубакин «Митрошкино жертвоприношение», Некрасов «У парадного под‘езда», Мельшин «Из мира отверженных» и его же стихи.

Сознание, что писать могу и я, зародилось во мне, во-первых, в Воскресной школе, где изредка ученикам задавались работы на темы «Как я провел воскресенье» и т. д.; во-вторых, после прочтения мне одним из товарищей, токарем, своей рукописи. Писать я начал в 1902-м году после от‘езда из Харькова. Писания мои носили характер записок из рабочей жизни с идейным содержанием. О печатании написанного я не помышлял. Судьба написанного чаще всего была печальной: обыск, арест, и оно гибло в шкафах жандармских управлений. Или в тюрьме начальство отбирало.

Осенью 1904 года, как малолетний, я был амнистирован и возвращен из ссылки—Олонецкой губернии. Под девятое января 1905 года я уже был в Харьковской губернской тюрьме; а в марте воля, и я в Ростове на Дону. Здесь один из партийных товарищей ознакомился с некоторыми из написанных мною в ссылке и тюрьме рассказов и отнес некоторые из них в редакцию газеты «Донская Речь». Вещица «В местах не столь отдаленных» была напечатана. Затем было напечатано «В ночную смену» и еще что-то... В конце 1905 года я перекочевал в Киев и печатался в «Южной неделе», в «Южном Голосе». Один из рассказов—не помню, каким путем—попал в «Полтавщину». Посылал я свои вещи в центр, но оттуда всегда отвечали загадочно и кратко: «не достаточно художественно», «не подходит». Исправления моих вещей провинциальными редакциями вначале меня озадачивали, потом начали удивлять, наконец, раздражать, и я перестал писать: выходило, пишу я, но в то же время и не я. «Пишите лучше сами», решил я.

Однако, в 1908 году, в тюрьме, а затем в ссылке 1909-11 г.г. (Вологодка) я понял, почему мои вещи исправлялись, и ряд лет с остервенением боролся с языком. То, что теперь начинающие рабочие и крестьяне—в области техники—получают в различного рода кружках и студиях без труда, в прошлом нашему брату давалось огромным напряжением. В деле помощи со стороны развитых людей мне не везло. «Не до писаний теперь, бросьте»,—говорили они.—И я охладевал к своим опытам.

В 1907 году проездом в Петроград я был в Москве у В. В. Вересаева и А. А. Вербицкой с записками партийных товарищей. Беседы по поводу написанного мною носили общий характер. В. В. и А. А. одобряли, говорили, что мне «необходимо овладеть техникой». От этого в «технике» успехов я не делал. В Петербурге я был у В. С. Миролюбова в редакции «Журнала для всех». Он одобрил мой драматический эскиз (больше я за драмы не принимался: не тянуло). Долго беседовал со мной. Единственная в моей жизни беседа: я ушел от В. С., как из бани. Встречи с Г. Алексинским, В. Воровским (Орловским) также ничего не дали мне в интересовавшей меня области. Впрочем, научили отчасти относиться к произведению не вообще, а конкретно, с разбором достоинств и недостатков. В целом литературные встречи этого периода заставили меня махнуть рукой на живое слово писателей и обратиться к слову печатному. Отзывы письменные о моих вещах В. Г. Короленко, Вл. Кранихфельда волновали меня, но ни в чем не убеждали.

После того я вторично начал писать; печатался в изданиях: «Нашем Журнале» (М. 1911 г.), «Путь» (М. 1912-13 г.г.), «Сполохи» (М. 1912-15 г.г.), «Северная Рабочая Газета», «Наша Рабочая Газета» (П. 1913 г.), «Наше Дело» (1915 г.), «Ежемесячный Журнал» (П. 1916 г. В. Миролюбова), «Заветы» (П. 1913 г.), «Русские Записки» (П. 1913 г.), «Семья и Школа» (М. 1913 г.), «Рабочий Мир» (1918-20 г.г.), «Творчество» (М. 1919-22 г.г.), «Горн» (М. 1920 г.), «Красная Новь» (М. 1922 г.), «Кузница» (М. 1920-22 г.г.) и др.

В 1912 году—после ссылки—я присутствовал на редакционных собраниях московского журнала «Народная Семья», об‘единившего некоторых писателей из народа. То, что я услышал там, а равно нападки на интеллигенцию (всю, без разбора) со страниц «Народной Семьи» оттолкнули меня от этого кружка. Однако, и пребывание вне близкого по духу литературного кружка угнетало меня. В половине 1913 года я начал вести работу среди литературной молодежи из народа в направлении создания идейного дешевого журнала. К осени 1913 года образовалась группа, а в ноябре на товарищеских началах вышел журнал «Огни». Для других это был журнал дешевый,—подписная плата 65 коп. в год,—литературно-общественный, доступный широким слоям трудящихся. Для себя, т. е. группы «Огни», стоявшей за журналом, «Огни» это был орган

социалистический, рабочий, вскрывающий всю лживость буржуазных листков. В группу входили Ширяевец, Поршаков, Ив. Морозов, Устинов, С. Обрадович, В. Кузьмин, П. Низовой, Н. Рогожин... На пятом номере «Огни» были конфискованы; было возбуждено преследование по двум пунктам 129-ой статьи; меня, как фактического редактора, арестовали и приговорили к двум годам крепости. В дешевой столовке состоялось собрание «Огней», и они закрылись.

В 1918—1919 г.г. посещал собеседования московского Пролеткульта. Из последнего вышла группа «Кузница», в члены которой я в 1920 году и был кооптирован.

IV.

П. Бессалько—сын Екатеринославского землероба. По окончании церковно-приходской школы он с отцом занимался грузовым извозом. В пятнадцать лет поступил учеником-слесарем в Екатеринославские железнодорожные мастерские и вскоре же в 1903 году принял участие во всеобщей стачке.

С конца 1906 г. Бессалько вступает в социал-демократическую партию, принимает участие во фракции «меньшевиков»; условия рабочего быта того времени, произвол правительства—все властно толкает полуграмотного рабочего на этот путь. Первый раз арестуют его в феврале 1907 года вместе с руководящим коллективом организации; но серьезных улик не оказалось, и он был выпущен. В октябре того же года его арестуют снова. На этот раз крепко. Два года продержали его в Екатеринославской тюрьме, прославившейся своим зверским режимом, после чего сослали на вечное поселение в Енисейскую губернию, откуда он—по стопам революционеров старого времени—бежал.

Жил некоторое время в Вене, во Флоренции, где работал на фабрике штампов; затем переехал в Париж и здесь работал на аэропланных и ортопедических заводах до февральской революции.

Здесь Бессалько сошелся с А. В. Луначарским и Федором Калининым, и политические взгляды его претерпевают эволюцию. Он знакомится с течениями социалистической мысли, как русской, так и западно-европейской: с синдикализмом, анархизмом, махаевщиной. Но больше всего его поражает быт западно-европейских рабочих; в то время как в рабочем клубе, на заводе они приобщаются к традициям движения, в четырех стенах своей квартиры они мещане, и все мышление, и все поведение их мелко-буржуазны. Это наблюдение натолкнуло Бессалько на мысль, что политической и экономической борьбы еще недостаточно, что рабочий класс должен создать свою культуру, свою мораль, свой быт, свое искусство, и лишь тогда, когда он создаст то, что парализует буржуазно-мещанское влияние в своей среде, он сделается строителем новой жизни.

С этих пор Бессалько уходит в вопросы пролетарской культуры. Во Франции, работая на заводе, Бессалько берется за перо. Еще до ссылки он делал попытки в этом роде. Толчок ему дал современный литературный индивидуализм, достигший в те годы таких оголенных форм; духовная пустота интеллигенции, обнаружившаяся перед ним в Екатеринославском застенке. Но из этих проб тогда ничего не выходило. Теперь же Бессалько подходит к литературе вплотную.

Первой повестью его была повесть о сибирской ссылке, посланная им М. Горькому. Горький ответил Бессалько так: «Жаль, что вы не справились с вашей задачей. Эту повесть, написанную рабочим, очень полезно было бы прочесть читателям-интеллигентам. Пишите, учитесь». Разбив повесть на отдельные рассказы, Бессалько обработал их и послал в «Заветы». В то время беллетристический отдел «Заветов» редактировал В. Миролюбов. Рассказы понравились ему, но вследствие ухода его из редакции напечатаны не были.

Так рассказы и не увидели света. Однако, Бессалько не падает духом. Он принимается за сложную работу, которая была им задумана еще до войны. От личных переживаний в сибирской ссылке он переходит к отображению настроений пролетариата в целом цикле романов и повестей. Таковы «Детство Кузьки», «Бессознательным путем», «Катастрофа», «К жизни». Пятая часть должна была занять место между «Катастрофой» и «К жизни»... И вот еще в Париже частью написано все то, что увидело свет лишь в годы революции...

Об этом периоде жизни писателя вспоминает А. Луначарский. «Не помню, кто передал мне первые рассказы Бессалько,—пишет он.—Это были небольшие очерки из жизни сибирских ссыльных. Не все они были равны по интересности сюжета и исполнению, но многие из них написаны были так свежо, что я тотчас же сказал посреднику, чтобы он привел этого молодого рабочего-писателя. Бессалько, застенчивый и угрюмый, явился ко мне. Кажется, он остался недоволен как моим недостаточным восторгом перед

*

первыми пробами пера его, так и тем, что я оказался бессильным помочь ему в напечатании его вещей. В то время Беесалько изживал еще свой период интенсивной ненависти к партийной интеллигенции. Он принадлежал к меньшевистской организации, но по духу был скорей анархо-синдикалистом. Вскоре, однако, отношения между ним, а с другой стороны—мною и моей женой сделались настолько дружескими, что Бессалько, все еще немного угрюмый, милостиво заявлял мне, что «выделяет меня из интеллигенции». Большой работой того времени был у Бессалько роман «Катастрофа». Этот роман или вернее серия сцен из тюремной жизни, с одной стороны, об'ясняет неприязнь Павла к интеллигенции, с другой стороны со всей резкостью ее выражает. Бессалько не мог, не побледнев от негодования, вспомнить, как недостойно вели себя партийные интеллигенты в 1906 году в Екатеринославской тюрьме, когда всем заключенным грозила смертная казнь. И эту кошмарную историю он сумел местами с поучительным мастерством перелить на страницы своей мрачной и желчной эпопеи. Но то были последние тучи рассеянной бури. На глазах у меня Бессалько менялся. Все больше огня было в его глазах, все чаще на его губах расцветала улыбка. Он чуял в себе талант, он отдыхал в Париже; он нашел там дружбу и любовь. Писал он в то время свои воспоминания, теперь опубликованные в виде ряда отдельных глав большой биографии Кузьки—самого Павла, конечно. Здесь краски уже были значительно светлее. Но и это была дань прошлому. Совсем не то роилось в голове молодого рабочего-южанина с большим темпераментом и страстной жаждой жизни, веселой, блестящей, языческой. Как то вдруг разрешил он себя от поста нарочитого реалиста и набрал на свою палитру самых ярких и разнообразных красок. И тогда вдруг раздались совсем новые песни: Иуда Гавлонит, выдавливающий себе глаз в каменистых окрестностях Иерусалима, весь по обстановке и по тону выдержанный в полубиблейских тонах; «Алмазы Востока», где рядом с чудесными легендами, написанными узорами, эмалевыми словами, встречается такая гомерическая вещь, как Вулкан; рассказы, написанные с легкостью самых лучших произведений Мопассана из жизни парижской богемы,—словом, огромный диапазон фактически развернулся в душе Бессалько. Я с восхищением следил за расширением русла его вдохновения. Его любовь к ярким краскам, исключительным переживаниям, к героическому, к сказке, к мифу как нельзя лучше подтверждала мою всегдашнюю идею о том, что пролетарским художникам доступно будет все; что прошлое и будущее, природа и душа человеческая во всей необ'ятности станут их об'ектом, но что все это они осветят своим пролетарским светом. Так это было с Бессалько»[1]).

В Россию Бессалько вернулся «большевиком», разумеется, после того, как пал Николай II. Он приехал в родной Екатеринослав и поступил в железнодорожные мастерские. Вскоре едет он на всероссийский железнодорожный с'езд в Петроград, встречается с Ф. И. Калининым, с которым был тесно связан еще с Парижа и который тоже ушел в вопросы пролетарской культуры, и встреча решает его судьбу. Он уже не едет в Екатеринослав, а остается строить Петроградский Пролеткульт.

Бессалько заведует отделом помощи пролетарским культурным организациям, а в органе Пролеткульта пишет очерки, рассказы и статьи о пролетарской культуре, вошедшие впоследствии в книгу, выпущенную им совместно с Ф. Калининым: «Проблемы пролетарской культуры».

В 1919 году, мобилизованный, он вместе с И. И. Садофьевым уехал на южный фронт. Ехали в одном вагоне, вспоминали уже оставшуюся за гранью идейно-творческую работу в Петербурге—частые сборища, где происходили и споры о выявлении путей пролетарского творчества. Во время этих разговоров Бессалько неожиданно бросил:

— Разлетаемся мы в разные стороны, гляди, и не увидимся больше. И все вопросы о путях и перепутьях придется начинать сначала...

В Москве случайно встретили поэта Кириллова. Бессалько балагурил, доказывая, что никогда не был солдатом, однако, вполне может быть командиром армии. А, попрощавшись, крикнул Кириллову в догонку:

— А ведь я не возвращусь более в Питер, останусь в ратном поле.

На станции Паточная Политического отдела южного фронта оба получили назначение. Садофьев остался при политотделе фронта, а Бессалько был назначен в политотдел Н-ской армии. Прощаясь, последний, указывая товарищу на осыпавшиеся листья клена, сказал все в том же тоне:

— Ты думаешь, они пропадут зря,—нет, брат, все будет целесообразно использовано, и мы с тобой не пропадем и будем целесообразно использованы.

В тот же день он уехал. А двенадцатого февраля в сводке Н-ской армии было напечатано:

---

[1]) «Пролетарская Культура», № 13—14, январь-март 1920. А. Луначарский. «Из воспоминаний о погибших борцах за пролетарскую культуру».

«В городе Харькове умер от сыпного тифа редактор газеты Н-ской армии «Красный воин», коммунист петроградской организации Павел Бессалько»[1]).

Так оборвалась жизнь Бессалько, как и жизнь его друга Федора Калинина. Калинин умер в один и тот же год с автором «Катастрофы».

V.

Ник. Рыбацкий (Чирков)—сын рыбака-крестьянина—родился в селе Рыбацком Петроградской губернии в 1880 году. Учился в сельском двухклассном училище.

Отец писателя, работавший кочегаром на Обуховском заводе, упросил мастера принять своего пятнадцатилетняго сына на завод—разогревать заклепки. Поступив на завод, мальчик с первых шагов стал лицом к лицу с прелестями того гнета, который так запал в чуткую детскую душу. На заводе уже шла революционная работа, и вскоре ему стали попадать в руки книжки, как-то сразу приковавшие к себе его душу. Они открывали ему другой мир, столь противуположный действительной жизни рабочего. Пробудился интерес не только к книжкам, но и к тем, кто давал их. Это были «сознательные» путиловцы того времени.

Однако, «идей» администрация не любила, и очень скоро Николай это почувствовал на себе. Его выбросили из завода. «Это было первое предупреждение будущему поэту,—пишет биограф Рыбацкого И. Садофьев,—что бунтарей капиталлистический строй обрекает на безработицу». Отца и мать увольнение сына огорчило. Ведь они видели в нем своего помощника. Рыбацкий же еще резче настроился против порядков.

Поступил на Александровский завод; но убедился, что порядки здесь те же, что на Обуховском заводе. И вот он начинает принимать активное участие в движении.

Работая на Александровском заводе, он не порывал связи с обуховцами, как с первыми своими учителями, в 1900 году вступает в партию социалистов-революционеров, а в 1901 году 7-го мая уже принимает участие в известном «Обуховском деле», за что отбыл четыре года арестантских рот в Ярославской каторжной тюрьме. «Сколько всего им видано и пережито в тюрьмах,—пишет Садофьев,—какая там велась упорная и ожесточенная борьба,

---

[1]) «Грядущее», 1920 г. № 3. Илья Садофьев. «П. К. Бессалько».

как утонченно-изощрены были издевательства палачей царизма и капитализма, как проводились голодовки, совершались экзекуции—передать на бумаге нет возможности и не хватит места».

Возвратившись по манифесту Николая II, по случаю рождения наследника, в Петроград, Рыбацкий опять принимается за работу. Преследуемый дубровинцами и охранкой, он вынужден скрываться в Мурзинском лесу, куда ему мать и сестры приносят хлеб и молоко. В 1906 году, преданный кем-то, он судится Петроградской судебной палатой. В 1912 г. — после того, как он вывел обуховцев первого мая на улицу,—его арестовывают, и жена вместе с пятидневной дочерью остается без хлеба. Просидев три месяца, Рыбацкий был выслан из Петрограда без срока. Однако, будучи выслан, он скоро вернулся, прописался в Славянке, не входившей в 51 пункт, и работал на Орудийном заводе. Но на «отсидки» ему везло. В общем, он перебывал в восемнадцати тюрьмах, в некоторых, как Кресты, Дом предварительного заключения, пересыльная, по три, по четыре раза. В тюрьме же он и начал писать.

Первое его стихотворение «Природа зовет» было напечатано в 1904 году в газете Ходского «Наша Жизнь», первый рассказ «Шестипалый» в 1905 году в журнале «Русская жизнь». С этого времени он начинает сотрудничать во многих органах того времени: в газетах «Народная Газета», «Товарищ», «Столичная почта», в журналах «Единство», «Русская Жизнь», в сборниках «Песнь о рабочем народе», «Вольница», «Труд» и др. В 1912 году—как только создается рабочая пресса—Рыбацкий сотрудничает в газетах «Правда» и «Вольная Мысль». Позже участвует в «Ежемесячном Журнале» Миролюбова, в сборниках пролетарских писателей, вышедших под редакцией Горького.

Илья Садофьев рельефными чертами описывает нам черты этой нелегкой в условиях рабочей жизни работы.

Заниматься литературой Рыбацкий мог, лишь окончив двенадцатичасовой заводский труд, т. е. проводя бессонные ночи за своим столом. Очевидно, надо иметь особое влечение к литературе, чтобы проявлять такую настойчивость, при сознании, что произведения твои едва ли увидят свет. «Но любовь Рыбацкого к этой литературе была безграничной,—пишет Садофьев.—Надо было видеть, как он, чувствуя непередаваемую потребность высказаться, излиться и недостаточность для этого находящегося в его распоряжении технического материала—литературных предметов, форм и пр.,—с какой-то инквизиторской настойчивостью преодолевал многочисленные препятствия, встававшие на его литературном пути. Как рабочий, он знал, что токарем и хорошим

токарем он стал не сразу; он долгое время был мальчиком, долго учился токарному делу, а литература—поэзия в особенности—неизмеримо сложнее токарного ремесла. Необходим, кроме дарования, длительный и упорный египетский труд. Необходимы выучка и навык, особенно писателю-рабочему, не получившему должного образования. Понимая это, он не считался ни с какими лишениями. Он, голодая, на последние гроши покупал нужные, хорошие и любимые книги, раздобывал те или иные пособия по технике письма. Своим физическим трудом оплачивал труд «народного критика» (проводил электрические звонки, вставлял зимние рамы, делал книжные шкафы и пр.) за указания, как писать стихи и прозу. Будучи расчитанным за забастовку с завода, безработным, голодающим, отправляясь на материнские 12 коп. по паровой конке в город за получением из полулегального журнала ничтожного гонорара, в издательстве «Знание» или другом каком книжном магазине он, при виде книг, забывал о том, что этот свой гонорар он обещал принести матери на хлеб и, не задумываясь, расходовал его до последней копейки на книги и, довольный, пешком возвращался с ними в село Рыбацкое. Пусть вчера он не обедал, пусть сегодня, как собака, голодный, пусть мать поплачет, а отец завтра за едой напомнит ему, что расчитанный вместе с ним Петров уже поступает на Трубочный завод, а он еще... Это напоминание отравленной стрелой вонзится в сердце юноши-поэта, но у него за то есть теперь новые книги. А книги научат, укажут путь. Каждую свободную минуту он использовал для углубления литературной работы. Надо видеть многочисленные листки и листочки со всевозможными записями, набросками, вариантами, литературными метрическими формулами, выписками из прослушанных где-либо по литературе или рабочему движению лекций и даже выписками из книг великих мыслителей и великих борцов за свободу, чтобы хоть сколько-нибудь постичь его колоссальную работу» [1]).

Любя так литературу, Рыбацкий с тем же вниманием относился к товарищам-писателям. Он стремился, чем только мог, помочь им: снабжал книгами, давал указания, «пристраивал» в газетах после 1911 года. Это стремление помочь, окрылить граничило у Рыбацкого со страстью. Однажды жена его заметила ему: «а ведь ученики-то твои становятся твоими учителями». Он с озарением ответил:

[1]) Н. Рыбацкий «На молотах»—Рассказы.—Изд. Петр. Пролеткульта 1912 г.— См. вст. статью И. Садофьева «На сторожевом посту».

— А вот за ними-то, за ними-то, если б ты чувствовала, какая сила идет! Эх, черт возьми, дух захватывает от радости! Вот дожить бы до этого времени!

Партийные разногласия, а также смерть жены заставили его в 1917 году замкнуться. С партией социалистов-революционеров он разошелся, но и в партию коммунистов не вступал. «В конце 1918 г., по доносу мстительных бывших его сопартийцев-эсэров,—расказывает Садофьев—он уже в последний раз был арестован, на этот раз Петроградской Чрезвычайной Комиссией, и заключен в «Дерябинскую» тюрьму, где успел перенести сыпной тиф. Но сидел он недолго. Выясненные следствием клеветники были наказаны, а он освобожден». Освободившись, он вошел в коммунистическую партию, но — мобилизованный на фронт в 1920 г.—заболел возвратным тифом и одинокий,—вдали от родных и товарищей и любимого Питера—умер в городе Ряжске Рязанской губернии [1]).

[1]) О Дозореве-Гастеве см. том второй; среди поэтов он с большим правом займет место, чем здесь.

ГЛАВА XII.

О них же.

Литературные характеристики.

I.

Это—певцы железа. Каждый из них живет лишь жизнью завода, живого, искрящегося, которого он часть. Здесь на заводе,—в гармонии его звуков, в мощи и силе его машин,—он нашел себя. Деревня—далекий сон. Как будто исключение—Ляшко. Прочтите его «Радугу»: это рассказы о деревне, которую Ляшко не только знает, но чувствует. Однако, это исключение лишь подтверждает нашу мысль.

Ляшко не делает идола из железа и камня. «До революции полагали,—пишет он в статье «О задачах рабочего-писателя», что рабочий класс получит в наследство города—промышленные котлы». Но Ляшко думает иначе. Любовь рабочего класса к природе, его миссия говорят в пользу городов - садов, фабрик, рощ, заводов - лесов. Вот откуда у Ляшко не только «тяжба с полями», но и «тоска по полям, где все родное общее». («Кузница» 1920 г. № 3). Однако, неподкупным стражем стоит он у заводов.

«Пролетарский дух» дался нашим писателям не сразу. Было время, когда все то, что кажется им теперь стройным, казалось им хаосом; в нем терялись тысячи таких, как они. Длительная закалка лежит в основе их новых чувств. Но напрасно стали бы вы искать следов этого. Душа, закаленная фабрикой, глядит из всех пор, и это-то и сообщает им цельность.

«Частью писателей рабочих,—пишет Ляшко,—изображаются промышленные города, заводы, их работа, их жизнь и сон. Они ищут новые ритмы и краски, пишут о том, что пережили в заводах. Но их песни у нас начинают играть роль камертона: заражают тех, кто о жизни железа, вагранок, кранов лишь слышал, кому мнится, что лишь металлическая тема изобличит в них подлинных писателей-рабочих. Не общающиеся и не общавшиеся с железом писатели-рабочие начинают петь о том, что они в железе, из железа, из стали. От этого шаг к фальши, нарочитости, ко всему тому, что отталкивает от поэтов с пустыми душами и проворными руками. Заводы, их жизнь, сцепка с ними масс—явление не настолько простое, чтобы о них можно было писать по наслышке». (Там же).

Ляшко это говорит по праву. Ни ему, ни Бибику, ни Дозорову нет нужды доказывать подлинность своего бытового опыта. Циркуль и линейка им не нужны.

II.

Трансмиссии, храповики, кронштейны, балты, шкивы, хомутики... если вы не бывали на заводе, это для вас звуки без содержания. Но в них великое чувство. Как о живых людях, говорят авторы о машинах и их частях, и даже тогда, когда повествование перегружено терминами, впечатление достоверности идет от них, живых клапанов фабричного механизма.

Термину соответствует образ, говорящий уму и чувству. Завод живет всеми фибрами, всеми тонами. В грохоте его писатель слышит пульс своей жизни. Это и символы, все эти станки и машины. Не формулы сухие, алгебраические, — живые обобщения: устои капитала и симфония рабочего труда. Вот почему так много звуков в них. Шумы и звоны машин писатель и претворяет в ритм своей прозы.

Жизнь города, дух машины, поступь индустрии, фабричные гудки, предместья, из'еденные дымом, банкир, Ниагара золота, власть ее над миром,—вот темы его. Зарождаясь в грозе и буре, они непреоборимо влекут его к социализму и им, действительно, запечатлены все книги наших пролетариев.

Пролетариат загораживает для них все; нет силы, которая могла бы стоять с ним рядом,—из этого вытекает здесь все. Начинает писатель от значения труда, той радости, которую он дает. Но трудовая стихия—стихия писателей из народа вообще. Писатель из народа видит труд, как таковой. Ощущение труда, как такового, заставляет его сердце биться. Наш же пролетарий углублен в процесс труда. Для него труд не отвлеченный труд. Процесс труда это процесс борьбы, слитый воедино с машиной. Ему близок лишь труд, за которым стоит машина, вся техника. Это орудие, дающее рабочему силу. Когда пролетарий впитывает в себя кровь и сок металла, он перестает быть рабом, а делается творцом. То, что распылено, сливается в одной воле.

Отсюда основная черта писателя - рабочего—машинизм. Он проникает в душу металлов, через мир железа идет в грядущее. Здесь весь узел: и та сила, которая держит в своих руках старый мир, и та, что должна свершить свой суд над ним. Говорят, железо бездушно, машина холодна. Нет, здесь металл и машины слиты с рабочим в одно целое. И потому-то непобедим рабочий...

Отсюда же и коллективизм. Конечно, того однообразия, которым запечатлены рассказики рабочих газет, уже нет. Личность созвучна коллективу, созвучна в основном и главном. «Мы» вытесняет «я», но не для того, чтобы обезцветить его. Какова бы ни была тема писателя, он не может забыть, что пролетариат это целое, звенья одной цепи, что в один и тот же час—по одному гудку—десятки миллионов бьют молотом, звуками труда поют песню грядущему.

Основной тон здесь созвучность с своим классом. Все многообразие жизни проходит через эту призму.

III.

Роман Ал. Бибика «К широкой дороге» — первый роман рабочего-украинца—дает нам изображение рабочего коллектива, процесс нарождения интеллигенции рабочей, рост ее общественной канвы. Лишь в наши дни узнали мы, что то была часть широко задуманного полотна. Продолжения дождались мы в романе «На черной полосе», столь схожем по сюжету с драмой «В ночную смену».

Точно говоря, роман Бибика нельзя назвать первым в этой плоскости. Предшествует ему «Мать», роман, с восторгом и радостью приветствованный рабочими в «Открытом письме» к Максиму Горькому. Им, «рабочим и работницам, вышедшим, как и Павел, из омута тупого равнодушия и беспросветной тьмы на свет сознательной жизни», было дорого то, что автором «Матери» является «бывший рабочий». Чувство нам понятное. Но «того, что было», в романе этом нет. Романтическая приподнятость отвечает духу времени, но литературно само по себе это произведение наивно. Конечно, по дарованиям сравнивать Бибика с Максимом Горьким нельзя. Талантом крупным токарь наш не обладает. Замыслы его оригинальны, но средства выполнения ограничены, что мы видим из архитектуры произведения да и из промахов языка, далеко не ровного.

Но моменты романа все глубоко пережиты, и отсюда простота, будничность, действенный лиризм рассказа.

Отображение новой, в муках рождающейся души фабрики, где все так переплелось, перемешалось, во много раз сложнее, чем воспроизведение нового мужика, сложнее потому уже, что быт деревни гораздо полнее отстоялся, чем быт фабрично-заводский. Но образы Бибика, слова так и срослись с этим бытом. Они живут, движутся, ибо бытовой опыт Бибика глубоко подлинен в каждой своей черте, и вы видите органический рабочий быт, слышите шум и стук машин—весь вчерашний день завода.

Прежде всего развито у автора ощущение материального. Бибик так хорошо знает, как живет, как работает фабрика, как называются машины и части их, что говорит обо всем этом так, как будто все это само собой разумеется. Быть может, он хватает через край своими шкивами, хроповиками, кронштейнами, но с какой любовью он говорит обо всем этом! Это и дает материальную жизнь его заводу, органическую крепость мелочам. Прочтите сцену состязания по части продуктивности работы арматурщика Суркова, презирающего «сознательных», как плохих работников, с Игнатом.

Материальный момент нужен Бибику для того, чтобы найти путь к тому, что лежит под ним,—к тайникам психики, коллективной психики пролетариата. Описывая будничную жизнь,—жизнь, типичную для рабочих любой профессии: меняются орудия производства, жизненная же ткань остается одна и та же,—художник-реалист схватывает рознь двух миров в центре описываемых событий: рабочих-стариков, — цитадели обывательского консерватизма, — и молодого поколения, ненавидящего жизнь — прозябание в болотце, чутко прислушивающегося к отзвукам завязавшейся уже кругом борьбы. Старик Максим—отец Игната, центрального лица романа. Звериная правда сидит в нем крепко до его мучительной болезни и конца. Токарь Журба с сердцем говорит Максиму:

— Ведь у нас и облика то нету человеческого...

Максим отвечает:

— А зачем он нам?

«Журба уперся в него строгим взглядом.

— Ты шутишь или взаправду?

— И так, и так».

Максим выгоняет сына из дому. Но долгая изнурительная работа, привычная покорность мастерам на старости лет не приносит ему обеспечения, и он умирает у ворот завода. Таков и Костычев, искалечивший три пальца и построивший себе домишко на три тысячи премии. Таков и Сурков. Один Журба, неграмотный, инстинктивно тянущийся из тесного круга заводского низкопоклонства к рабочей коллективности, составляет исключение из стариков. Старик трепеща старается как можно глубже запрятаться в свою скорлупку, но все это с каждым днем все хуже удается ему: длинные щупальцы капитала достают его там, где, казалось бы, он мог бы чувствовать себя в безопасности. И все

же с первых дней жизни своей видя, что людей слишком много, что люди ожесточенно борются между собой, жадно принимает он к сердцу доставшиеся ему крохи бытия, трусливо отгоняя от себя все, что есть яркого в жизни, смелую мысль и непосредственное чувство.

Молодежь смущает старческий покой, вносит беспокойство в души своей переоценкой ценностей. Тут протест против мещан, отнимающих у нее самое ценное и красивое; тут вызов, брошенный «человеком», тут проклятие цепям, которыми прикован пролетарий к заводу, хотя завод его и кормит. В центре внимания здесь два приятеля, два типа, проходящих через все движение. Игнату «нужны цифры, а не сказки». У Игната «одна мысль за другой». У него прежде мысль, а потом чувство. Артем, напротив, сперва чувство, а потом рассуждение. Медленный темп движения претит его душе, как и все то, что—помимо воли людей—сосредоточивает на фабриках, жизнь фабрик—в машинах, к которым тысячи людей приставлены, как нули к единице; как все то, что идет помимо нас, и горе тому, кто ополчится против, одержимый порывом, а не расчетом. У Игната много положительного. Артема, напротив, какая-то смутная мысль о разрушении преследует. Будничность движения оказывается не по нем, и он уходит от нее, как и от своей молодой жизни, в состоянии душевного опустошения.

Близость к думам и чувствам рабочей молодежи в этих двух типах. И в то же время скептицизм, порожденный сознанием сложности жизни и ее недочетов и слабости молодежи перед ними. Вот Асмоловский, вносящий элемент пошлости в самый важный момент начинающейся забастовки. Вот Черницын, поступающий даже в революционную дружину, но выгнанный из нее за проданный револьвер. Бибик не щадит пошляков-рабочих, которые не прочь потолковать о «начале восстания», не щадит и рабочих с прошлым, начинающих ослаблять силу классового движения. В несимпатичных чертах изображает он Костычева (сына), рабочего-интеллигентоеда, который — выставляя на показ свое «пролетарское естество»—ведет компанию против интеллигенции.

В чем же новизна этого романа? Подобно тому, как Чапыгин или Касаткин индивидуализируют деревню, так Бибик индивидуализирует фабрику. Рабочая жизнь для него не материал для познания жизни во всем ее об'еме, а самодовлеющий предмет изображения. Эпизоды часто ему не удаются. Такова любовь Артема, рознь рабочих и интеллигентов в ссыльном захолустье. Но личности его отчетливо ярки. Игнат, Максим, Журба, Сурков, Костычев, Асмоловский... есть не мало попыток уже показать пролетариат в литературе, но в первый раз выступает перед нами л и ч н о с т ь рабочего в такой степени убедительности. Верно это, главным образом, по отношению к вчерашнему дню завода — рабочим-обывателям, но верно и по отношению к тем, у которых мысли дан толчек. Стучится мысль, выбиваясь из того тумана, которым опутали человека, и смотрите, как западают в душу семена.

Идейная сторона берет верх над эмоциональной. Оттого основной вывод всего романа неубедителен. Хотел показать нам автор несоответствие старого подполья новой рабочей общественности—выход к «широкой дороге». Но художественного назревания процесса нет — остается верить автору на слово. Рационалистических мест не мало и в частностях. В общих чертах, спасает Бибика от этой чрезполосицы то, что, в конечном счете, лежит в основе убедительности — интимный бытовой опыт. Поскольку роман не попадает в цель, как произведение художника, он убеждает нас, как исповедь, как живая правда того, что происходило в данный период рабочего движения.

Словом, Бибик небольшой поэт. Но психологическая полнота, с которой воспринято им пережитое, дала ему возможность с прозорливостью таланта у г а д а т ь живое трепетание своего времени и своей среды.

Здесь изображен канун 1905 года и самый 1905 год, когда вожди в такой степени поднимали до себя низы. Но вслед за под'емом наступила черная реакция; в рабочей среде на первый план выступали будни с их приобретательством, выпивкой, отсутствием духовных интересов. Это уж отразил роман «На черной полосе». Вот настроение рабочих этих лет:

— Ну, и рабочий класс, матери вашей коробку гамузу!

— Прошла, брат, ваша масляна! Намитинговались, голубчики!

— А к примеру сказать, куда подевались все эти голубчики, полководцы-то знаменитые?

Муть проникла не только в массы, но и в среду рабочей интеллигенции. «Мы, отважные строители, живем только прошлым», признается Игнат. Но и прошлое «трижды проклято». Вот идейный рабочий Павел. Теперь он—максималист.

— Скоро кончится вся эта эксплоатация,—говорит он Игнату.

— Скоро, говоришь?—иронизирует Игнат.

— Да уж будь покоен. У нас уже все готово.

— И рабочие? И процесс накопления?

— А, поди ты... все таким же меньшевиком и остался?

— Погоди, чудак! Ты собственно по какому же ветру?

— Во всяком случае не по тому, который дует на разные там парламенты и прочее... А ты все еще с интеллигенткой путаешься?

— То есть, как это путаешься?

— А! Вот кого я перевешал бы—так это нашу интеллигенцию.

Игнат начинает отдавать себе отчет в том, что так не льстит рабочему самолюбию. «Пролетариат, знаменосец свободы и новой высокой морали,—говорит он,—ах, как же он непригляден в его буднях! Как он темен, дик и корыстен! Какой длинный путь предстоит еще пройти нашему пролетариату, чтобы быть готовым к своей высшей миссии! Чтобы привить себе чувство ответственности! Подумай! Ты только подумай! Мы стоим перед великими задачами, но у нас нет даже порядочности, чтобы вести какую-нибудь потребительскую лавочку. Даже этого!»

Игнат высказывается даже против своевременности революции в России.

— Может быть, это скоро случится?—задал ему полувопрос товарищ по рабочей газете.

— Все возможно, особенно у нас,—сериозно ответил Игнат и, помолчав, добавил:—только я не хотел бы, чтоб случилось это скоро.

— Почему?

— Боюсь.

— Вот тебе раз! Чего же бояться-то? Нашего милого славного такого народушка?

— Излишней книжности, — ответил Игнат неопределенно.

На этой канве вышита драма Игната—его роман с интеллигенткой Ниной, использованный Бибиком и в драме. Мы говорим о ней ниже.

Что же до самого романа, то достоинства и недостатки его те же, что мы отметили выше.

IV.

То же жизнеощущение водит пером Ляшко. Вопросы ставит не поэт-фантазер, а практик-строитель; материал, требующий творческих рук, — завод. Отсюда — прием, общий Ляшко с Бибиком: не довольствоваться описанием. Присутствие автора везде. Не преследуя целей, он внушает свои оценки, оценки социологические, вернее социальные.

Но Ляшко слишком художник: это близость скорее мыслей, чувств и настроений, чем приемов письма, что вы видите уже по стилю, языку. Язык Бибика точен, но необработан, стиль непричесан. Ляшко живописен, стиль часто изыскан. Эта изысканность даже переходит у него в искусственность. Так «Солнце, плечи и груз» написаны от начала до конца таким стилем: «вот идет прачка, жена жестяника. Она не одна,—несет в себе желанного, моего, вашего, любимого всей земли. Под звон наших улыбок он придет к нам»; «встретил его звон подвальной лиры. Струны—листы железа и жести, жгуты проволоки, ведра, чайники и трубы; руки отца зацелованы огнем, позолочены железом, — опускали на струны молоток, киянку: — Бах - бах»; «город—океан. Подвал на дне. Перегородка — раковина. Океан грохочет и колышет ее: лю-ли, лю-ли... далекое солнце бодает удушье панели и муть стекла: — лю-ли. Океан ломает золотые рога, и они дрожащим пятном поют с перегородки: — лю-ли. А за раковиной гремит, звенит. В углу, на плите, шипит, трещит. Бельевое корыто пышет, балмочет и шамкает под ручками матери. Там сколько чудес! С губ ножниц слетают блестящие птицы, выползают змеи, прыгают чудовища»... Здесь нет того, чем мы более всего дорожим в искусстве—простоты. Однако, тот не представил бы себе Ляшко, кто по этому отрывку стал бы судить о манере письма писателя вообще. Ляшко увлечен «образным мышлением», и эта поэма не более, чем дань ученичеству. В общем же, проза Ляшко соединяет эту изысканность с простотой реализма.

Тонкость, нежность изображения,—вот, чем дышат его страницы. Психологически музыкальный, он вникает уже в жизнь природы с вниманием, непонятным для человека, чья жизнь расчитана по звонкам, по свисткам; верность красок поражает вас. Он подходит к ней изнутри. Тем более индивидуализирует он человека. Жизнь донбежника Матвея Аниканова («Рассказ о кандалах»), воровой матери («Ворова мать»), рабочаго, попадающего в деревню в 1918 г. («Лось»); рабочего-интеллигента, думающего думу рабочаго класса («Крепнущие крылья») дается изнутри, в изгибах, в сложной канве. Переносясь в чужой мир, Ляшко равнодушным никогда не остается. Согревая рассказ личным чувством, он живет жизнью своих героев. Вы читаете его гимны: «железо, это мы; железо—наши руки, наш путь. Слушайте, братья, что мы без железа? Оно—воск в наших руках. Что роднее его нам! Прислушайтесь, раскройте глаза: каждым винтом оно просит чудесных достижений, рвется из наших рук, в невиданные формы, дрожит, хочет ожить в тепле наших пальцев, взмыть и взнести

нас»,—читаете эти гимны, выросшие в грохоте паровозов, в реве доменных печей, и ждете густых красок, резких штрихов. Но вместо того со страниц Ляшко смотрят тихие глаза, полные задумчивой ласки.

И Бибик пережил наши дни. Но Бибик ушел от них. Нам не известны отклики его на темы современности. Ляшко, напротив, весь в ней. Он приемлет ее. Но не может скрыть боль за судьбу того, что ему дороже всего на свете,—за судьбу завода. Эту боль и отразила «Железная тишина», замечательнейшая книга наших дней. Он дает в ней проникновеннейшую картину недавних дней—осиротелое, развенчанное сердце завода.

Вот он. Стеклянные крыши дырявы. Из протемей в небо недвижно глядят трансмиссии. Дремлют моторы. Дождь и снег изранили шкива. Суставчатая рука электрического крана заломлена, беспомощно свесилась с разметочной плиты. В тенетах самотачек дрожат тенета пауков.

Стены изранены пулями, снарядами. Сколько веры, тоски, болей взрывалось в них! Эй, каменные, помните? Вот там в углу—под свист ремней и щелканье собачек—тайно шелестело книжками целое поколение. Чует ли оно тоску застуженных колес и рычагов? Налетавшая буря разбросала его по всей земле. Но постель запыленного станка не раз служила ему трибуной.

Вон на стене пятно. Это—кровь. На валу распято висел слесарь, схваченный болтом муфты... Но то было. Теперь тишина. Дремлют сторожа. Потрескивает звон выдуваемых ветром стекол. Рабочие ушли из предместья. Здесь остались старики, вдовы, калеки... Они салазками возят из леса дрова, кое-как перебиваются, выслушивают насмешки проезжающих крестьян над немым заводом и хмурятся, когда те сворачивают к заводу и на зерно, мясо выменивают у сторожей вынутые из окон стекла, куски железа и жести.

Завод глядит в зернящееся золотом небо и стонет, охает. Выламываемые из него кости с шорканьем уползают к дороге. Ветер гонит в расширяющийся пролом забора поземку, через вынутые и выбитые стекла вдувает ее в мастерские и плачет в плену железа, пока не разобьется. Так день за днем... тление, сторожа и тени точат завод. Лишь раз в неделю давящая завод тишина вздрагивает от грохота, звона, и сторожа спешат на крик железа в котельную и видят: человек в коротеньком тулупчике изо всей мочи бьет кувалдой в старый котел: бум!.. бум!.. Это Степа, бывший молотобоец. Говорят, он дурачек. Вкось глядит загадочным единственным глазом на приближающихся сторожей, опускает кувалду и едко спрашивает:

— Испугались? Вам бы тихинькім обобрать завод... ловкачи!

И смеется. Сторожа кидаются на него, норовят отнять кувалду. Он отбивается.

— И мою кувалду продать хотите, воровское семя?

Котлы обрадованно повторяют его крик и—тихо. А через минуту железо вскрикивает под кувалдой уже за кузницей. Звуки взлетают ветром и настораживают поля. У ворот качают головами:

— Опять глушит Степушка... Вроде бы настоящая работа пошла...

Но слабеет Степа. Кувалда вываливается из рук, и он идет по проложенной ворами тропинке с завода. На дороге останавливается и слушает. Машины, станки, котлы гнетет молчание. Ползет тоска немою железа («Железная тишина». Рассказы 1922 г. Изд. «Кузнецы».—Рассказ «Железная тишина»).

Так писать о «немой тоске железа» может лишь рабочий, для которого нет ничего страшнее остановившейся машины; так скорбеть ею может лишь сердце, для которого процесс труда есть процесс борьбы. Для Ляшко это не только вопрос о машине. Это вопрос о городе, о городской культуре. Ведь все, что есть в нем великого, связано с машиной. Все будущее города это будущее техники. Машина неотделима от культуры.

Вот одна сторона: завод, залитый тишиной; а вот другая—«поля, наступающие на заводы», которые грозят стереть с лица земли и завод, и всю культуру. Вот, что страшнее, чем остановившийся завод.

Ляшко изображает крестьянина недавних дней, с его тягой к собственности, который рвал на части город.

В «Лоси» идейный рабочий Костя попадает в деревню. Все избы похожи на лавки. Каждый крестьянин держится по отношению к горожанам с видом хлебного царька. Костя слышит, то и дело:

— Раньше бы думали...

— О чем?

— О всем. А то слобода, то да это да переэто... Ну и лопайте свою свободу, чего лезете? Нету у меня картошки.

Он с горечью думает: «вот и за это люди носили кандалы, томились в тюрьмах, умирали». Хотел отдалиться от едкого, саднящего, чего так много в городе. А оно все рядом, во всем: в мешочниках, в отце, в прозвучавшей частушке. Вспомнил товарища по школе Прокофия. Вместе мечтали о чудеснейших ульях, о фабриках и заводах среди лесов. Вместе собирались в город итти. Но Прокофий остался... Костя подумал: «к нему сразу бы и надо ехать». И поехал. Но вместо воображаемого Прокофия пред

ним предстал тщедушный мужик, рассказавший ему о том, как он ездил в хлебные места, кому давал взятки, сколько нажил. Долго ругал новые порядки:—«я работай, я болей, а урожай не мой»,—а в конце точно вспомнил что-то и обрадовался.

— Как ни обернись все, а я хоть малость без поклонов поживу, запасся... Возить в город не возим, сюда приходят да еще кланяются.... Всего натащили.... и еще натащут. .. все перетаскают, а скапутятся.... И пусть....

— Не жалко?

— Не очень.... Станешь их жалеть, сам околеешь. Городские и обдерут.... Они все готовы к рукам прибрать... Есть и без вины, а как их узнать? Все вроде одинаковы. («Радуга»).

Так на крови, пролитой за солнце, «рядом с хорошим растет кривоглазое, мохнатое». «Вырастет, сдавит лапами миллионы тех, за чье счастье пролита кровь, и они станут проклинать кровь погибших, их мечты, станут целовать ноги тех, кто решит за них все, кто приласкает и даст покой плоти». Чувствуя разгул мужицкой стихии, которая зальет город, Ляшко бьет в набат: «заводы, эй заводы! Слышите запах волосатой руки? Она дрожит над вами, сдавит вас, унизит, зальет машины тишиной, и они будут стоять, окровавленные ржавчиной».

Ляшко не только против мужика, но и элементов рабочей семьи, попирающих классовую мораль. Для него не секрет: такие простые вещи, как честность, порядочность, не часты в рабочем массовике: «для дела нужны люди, а их нет. Одна бумага». И Костя, которому любимый оратор советует: «научитесь сами разбираться. Я вам не нянька», жарко бормочет в ответ:

— Мне не нужна нянька... Ты твердишь, что в наших несчастьях виноват кто-то, а нас обеляешь: вы—пролетарии, вы—то, вы—се. Лебезишь перед нами. А мне противно быть беленьким. Я вижу: виноваты во всем мы, мы не смогли стать примером.

Путь лежит через экономически отсталую, мужицкую Россию.

V.

Можно спорить о даровании Гастева-Дозорова. Произведения его не блещут «выдумкой», ум, обобщения вытесняют интуицию, стиль неровен, язык схематичен. То чрезмерная яркость, то потертые сцены и штрихи. В общем же, однообразие формы, однобразие содержания. Быть может, это не подлинное лицо Гастева? Видно, что писал он рассказы не специально, а

между прочим, и схематичность, рассудочность в известной мере дань времени. Плюсом их являются живой инмпрессионизм, богатая эмоцинальность. Но область личного, интимного—того, что вскрывает сложное в простом,—не его область. Он — социолог-беллетрист, остающийся поверх личного, едва поднимающий завесу, отделяющую общее от частного. Однако, самый рассказ полон напряженного движения.

Вот картина. Дивиденды акционерного общества «Двигатель» достигли грандиозных перспектив; но завод его стал. Рабочие пред'явили требования об увеличении цеховой платы на 20%, поштучной—на 10%. Чтобы сломить забастовку, инженер Григорьев выпишет иногороднюю партию штрейкбрехеров. Пока же, чтобы не вызывать панику на бирже, он дает гудки, заводит топки и пускает моторы и трансмиссии.

Завод, застывший и немой, еще спит. Но уже дымится. И это загадка для рабочих. Дымящийся завод волнует их, волнует по разному, но тревожно, загадочно. Вдруг, как сигнал в ночном море, вспыхивают окна,—завод пошел. Загудела земля, задрожали корпуса, замигали окна, и поднялся стальной вихрь машинного движения. Ходившие около рабочие остановились.

Один кинул догадку, отпустил остроту. Другой отделился от толпы, направился в ворота, которые отворились... Кажется, что у корпусов есть душа, есть сердце, которое зовет и волнует. Глаза этой каменной глыбы—окна. В них нечеловеческая сила взгляда.

«Товарищи, марш от завода, по домам, по чайным!» Это удар по сердцу толпы. Однако, в душе каждого шевелится беспокойный бес. В лесу уже собрался стачечный комитет. А завод разошелся во всю, пляшет свои железные танцы. Он заразил весь квартал металлическим ревом и шопотом. И есть призывная страсть в этом водовороте огня и машины.

Прошла пара напившихся «масленщиков». Группа слесарей пошла только «наведаться». Стачечный комитет напрягает все силы, но бросается из стороны в сторону. Освещенный завод—магнит. Он тянет. По воздуху расползлись невидимые щупальцы. Даже люди выдержанные не понимали, что с ними творится. Стоящие по одиночке чувствуют, как сердце, человеческое сердце теряет свой такт,—его биение топится в железном ходе завода; завод покоряет, наполняет тело дрожью своей стальной работы, останавливает мысль, и все существо покорено, взято в плен приступом железнаго волненья корпусов.

Кажется, вот-вот из-под завода встанет незнакомый, но властный агитатор и железным голосом скажет: «идите же, вы

уже на пути, вы уже на полдороге». Агитатор вынет громадный магнит и сначала по одиночке, а потом массами притянет всех, кто стоит на шоссе («Железные пульсы»).

Таких картин—глубоко эмоциональных—в «Поэзии рабочего удара» не мало. Ценность их в той устойчивости, которой они проникнуты. Это не следствие чего-то продуманного, нажитого. Нет, это в крови, в нервах Гастева-Дозорова, вынесено из той ткани, с которой он так своим жизнеощущением связан.

Гастев—сын своей эпохи, эпохи 1912—14 годов. Впервые рождается к общественному бытию поколение молодых работников, новый ключ, ударивший снизу после великих годов. Это оно проводило стачки, выделяло ораторов, поэтов, артистов, согретых огнем пролетарских идеалов. Рассказы Гастева и отразили запросы молодого пролетариата.

Все в фигуре этого писателя проникнуто утренним духом, утренней энергией и задором. На первый взгляд он в плену «идеологизма». Но на самом деле он просто глядит глазами молодого пролетариата, чувствует его чувствами, занимая место среди множества авторов рабочей прессы тех лет. Жизненный вывод «железного» развития расцветился перед ним всеми цветами радуги. И вот как то, что так било из всех корреспонденций, которыми молодежь забрасывала рабочие газеты, описывает Гастев. Речь идет всего только о труде штрейкбрехеров. Но какой ритм!

«Завод ревел, бушевал, бился. Стальной расчитанный топот на месте рвал с потолков и стен кронштейны. А они, как руки силача, отвечали машинному реву одним застывшим железным жестом, настраивали завод кованой дисциплиной, заставляли и стены, и окна петь и вторить металлическим песням завода. В заводе гулял демон железного мятежа и все крутил, все вертел, все грыз и ковал, и калил, и опять охлаждал и снова грел, и все немолчно, все с грохотом и гулом, все с лязгом и огненным трепетом создавал, возводил груды за грудами, горы за горами прибыли и дивиденда.

Здесь, где работают слесаря и клепальщики по сборке, завод—светлый, белый, почти денной; там, в станочных отделениях, он—полутемный и безлюдный, но там не страшно, там никто не подстерегает, там завод не мертвый, он говорит, шумит и манит. Оттуда, из станочных мастерских, в открытые внутренние ворота, как из рупора, несется железный прибой; там дальше еще есть двери, их затворяют и отворяют, и из рупора с шумом вырываются волна за волной, одна другую гонят, стремительно мчатся на рабочих и кружат их души в стальном механическом вихре. Вихрь захватил, закрутил людей. Ему безразлично, кто

стоит в заводе, у тисков, у наковальни, у мехов—желтый или красный или даже черный, он всех их пропитал трудовым задором, всех зовет к стуку, напряженью, работе. У людей в руках или ручник, или молот, или клещи, или пила, но кроме молота в руке есть железное беспокойство, бес работы, и работники бьют, бьют, бьют. Они пилят, куют и в погоне работы как будто боятся пропустить удар, чтоб не нарушить такта, чтоб не расстроить хора. Есть душа в этих холодных машинах, душа в бегущих трансмиссиях, в стонущих окнах, в клокоте и шипеньи горн, в лязге ударов, и душа цельна и гармонична, и живых людей и мертвое железо—она все, все включила в неразрывную, шумную кавалькаду работы. И люди работают, и гонятся за ними шумные отзвуки идущего завода. Штрейкбрехеры в ударе. Кому, как не им, знать силу заводского движения; они не верят в кислые речи о солидарности и повинуются в работе только одному железному пульсу—машине, верят только одной дисциплине—стихии работы. Слесарям и клепальщикам хочется даже перегнать этот пульс завода, надо бежать еще сильнее, надо утонуть в этом море грохота, утонуть с головой, душой и помыслами и только скорее кончить. И так грохот за грохотом, шквал за шквалом бегут удары и наполняют мастерские непрерывным та-ра-ра работы. Случается минута перерыва. Потом перебор звонких ударов старших по железу, и опять новый раскат грома жестких ударов помчался под сводами, зарокотал по рамам. Как будто по каленым, заделанным в камень рельсам, мчится тысяча поездов. Им кажется, что надо мчаться еще быстрее, друг друга перегонять, а они только друг друга задорят, и все вместе стальным наступлением несутся дальше и дальше».

Стихия Гастева это воля масс, вложивших энергию нервов и мускулов в железо станков и кранов, невидимым током связанная с их сознанием. Недаром и рассказ называется «Стальные пульсы». Тут нет места «я». Здесь только «мы». Живой сгусток коллективной энергии, продолжающей жить во всех частях производства. И что бы Гастев не описывал,—заводскую контору, вздрагивающую при телефонном звонке директора («Социальная стратегия»), Ивана Вавилова, любимца рабочих, неожиданно для всех ставшего штрейкбрехером («Иван Вавилов»), путешествие по Сибири на экспрессе «Панорама», сорвавшемся с уральских высот («Экспресс»)—везде пред вами образ коллектива, организующего волевые усилия. Чтобы изображать все это, надо быть не только беллетристом. Надо знать прошлое и будущее рабочего, знать производство, законы его развития, и Гастев их знает и по опыту, и по книгам.

Вот тон и психическая подоплека Гастева. Из заводского дыма и грохота он извлекает душу рабочего, ощущение сборного я его. Ни одной скорбной ноты на протяжении всех его рассказов. Что бы ни случилось на заводе, Гастев расцвечивает его всеми цветами своих крылатых словечек. Не затушевывает грязь, но так ловко «освежает» воздух, что и читателю—под вольные песни железа—чудятся «железные» горизонты.

Будни его завода это будни революции, которая—по песчинке, по крупинке—нарастает вместе с творчеством молодежи. Иван Вавилов не увяз в штрейкбрехерах. Завод опять переламывает его, и он искупает падение тюрьмой. И так все в «Поэзии рабочего удара». Экспресс, описываемый им в рассказе того же названия, это символ оптимизма. Люди входят и выходят, расцветает и отцветает весна, гибнут и воскресают надежды. А экспресс летит... Порой он рушится с мостов в воду на всем ходу. Стоны, крики смерти... Но снова из глубины вырывается неугомонный поезд, дышит пламенем, поет сталью, колотит и режет камни. «Железно суровый, он скрыл, схоронил в своем пламенном сердце всю боль этой небывалой дороги... и поет, мятежный, поет совсем не о былом, совсем не о тяжелых надрывных часах, а о грядущих, радостных под'емах и полных отваги и риска уклонах».

VI.

Вот темы наших писателей... Прошлое, настоящее, будущее заключено у них в рамки «пролетарского момента», и лишь Бессалько расширяет их, переходя к сказкам и легендам в колоритных восточных тонах. Мы имеем в виду его «Алмазы Востока».

«Алмазы Востока» — книга поэтических снов и символов Греции, Индии и т. д. Далекая от бытового реализма, она привела в восторг А. В. Луначарского. «Я полон радости,—писал он,— что Бессалько так широко мечтает; он побывал на Западе, он много читал, но, насколько я знаю, на Востоке он не путешествовал, а, между тем, в каждом его рассказе живет Восток, может быть, сказочный, может быть, не совсем бытовой, но— разве это нужно? Бессалько не гонится за документами, он создает поэтические сны и символы, а потому более художественно и ценно то облако своеобразного аромата, которым окружен каждый его рассказ, и в котором вы сразу обоняете Восток—Индию, Грецию и т. д. Стилизуя очень ценную психологическую действительность, обертывая ее узорами и тканями, Бессалько поднимает ее в то же

время до степени широкого символа и никогда не опрокидывает ее в сухую аллегорию. На дне каждого рассказа лежит пролетарский протест, пролетарские надежды. Они придают своеобразный вкус всему вину, но не портят этим его вкуса, не являются ему чуждыми, сливаются с ним в один букет» [1]). Мы не разделяем этого восторга. Уже то, что Бессалько «на Востоке не путешествовал», охлаждает. Однако, не подлежит сомнению, что «Алмазы Востока» значительнее романов Бессалько, в которых он дает изображение двух эпох и двух слоев рабочей общественности.

Романы (вместе с «Детством Кузьки» и повестью «К жизни») об'единены одной личностью, превращающейся из массовика-рабочего в сознательного борца.

В «Детстве Кузьки» изображены детские годы Дарова, сироты и оборвыша, которому лишь неловкость помешала сделаться вором. В романе «Бессознательным путем» он попадает в зубатовский союз, в котором литейщики, конфетчики, текстильщики соединились для борьбы с социалистами. «Все мы купно, воедино— говорит один из них—должны бороться против этих окаянных демократов, которые никому покою не дают. Эти демократы тайно печатают прокламации. Потом эти листочки по дворам подметывают, всем рабочим в карманы запихивают. Конечно, рабочий тут ни сном, ни духом, а, однако, начальство его в тюрьму сажает. Нам ихние листочки нужно рвать; они нам без пользы, нам нужно делать свое рабочее дело и в политику не вмешиваться. Потому что паны дерутся, а у нас бока болят», Слушая речи зубатовцев, Даров дает слово бороться против хозяев и демократов. Однако, зубатовщина лишь открывает глаза Дарову. И делается это без влияния со стороны, путем личной драмы.

Знакомый гимназист, сын миллионера, соблазнил любимую им девушку; она попала в дом терпимости. Озверев, Даров поджигает порт; это вызывает одобрение рабочих («Пусть горит. Меньше богачей будет. И их бы сюда. Поджарить да сальца на сапоги от них добыть,—ха-ха!»), а самого Дарова преисполняет гордостью. Расправа с хлынувшей в порт толпой и открыла глаза Дарову на Зубатовский союз и его запевал. В то время, как об'ятых спиртным огнем рабочих расстреливали солдаты, «местные богачи, приехавшие на пожар, упивались этим зрелищем. Многие из них платили по сто рублей за стул местным лавочникам, чтобы через головы солдат видеть пытки рабочих,

[1]) «Алмазы Востока» (Петроград. 1919 г.). А. Луначарский. Предисловие.

грабивших их горевшие товары». Даров, тоже обожженный пламенем, попадает сначала в больницу, а потом в тюрьму, в камеру политических, где осмысливает все то, на что его натолкнула жизнь. Что было с Даровым дальше, мы не знаем. «Катастрофа» уже переносит нас в эпоху реакции и безработицы, когда в тюрьмах заключенных бьют и расстреливают, а семьи их,—особенно рабочих,—гибнут от голода. Уже на этой почве тюрьма превращается в кошмар. Но мало того; 279-ая статья, карающая виселицей, так и гуляет по камерам, и интеллигенты, недавние вожди рабочих, ради сохранения жизни уходят в союз русского народа.

Даров и попадает в тюрьму; но ему удается бежать. Повесть «К жизни» и повествует об этом побеге, который организует ему интеллигентка. Это не мешает Дарову говорить ей: «Евгения, неужели я поверю в твою любовь? Ты ведь из породы слабосильной интеллигенции, которая не способна ни любить, ни ненавидеть. Твой класс это яд сомнений, колебаний, оборачиванья назад».

Итак, рабочий из зубатовца превращается в сознательного борца. Мы имеем не мало попыток, в которых изображен массовик-пролетарий. Но психология не давалась рабочим-писателям. «Детство Кузьки», как свидетельствует Луначарский, автобиографично. Значит, и в основе других частей эпопеи Бессалько лежала сумма отложившихся в ходе жизни его впечатлений. Внутренние пружины все пережиты, что придает повествованию значение документа. Однако, здесь нет подлинности Бибика, нет тонкости, которой пленяет Ляшко. «Нет у него ни одного произведения, которое придирчивый критик не назвал бы тенденциозным», говорит Луначарский. Да, его повествование, запечатленное душевным переживанием, портит отсутствие чувства меры. А там, где нет меры, есть упрощенность. То, что у Бибика так сложно, у Ляшко так тонко, у Бессалько «просто»...

Стоит Дарову, простому столяру, до тех пор ни о каких теориях не слышавшему, попасть в тюрьму, побывать в кругу товарища Арона и Аркадия, чтобы он таким языком заговорил: «Аркадий, неужели люди не увидели бы социализма, если бы развитие капитала пошло не так, как говорит об этом Богданов?» Или: «Я хотел спросить, неужели мысли и идеалы человека так строго зависят от производительных сил?» «А ваше соцалистическое сознание тоже определилось производственными отношениями?» Он уже бредит «постулатами», «вещью в себе», «идеализмами» и «материализмами». Не мало рабочих говорит книжным языком. Однако, ряд промежуточных звеньев отделяет этот язык

от языка их среды. Эти звенья и надо показать, чтобы быть убедительным...

Вот описания погрома, учиняемого Даровым в доме терпимости, пожара порта, бегство из тюрьмы; сцены «предательства» интеллигентов, кошмарной грызни в тюрьме, побоев и расстрелов политических... Все это было. Но вместе с тем все это преувеличено. Интеллигенты не иначе называют пролетариат, как «отвратительным чудовищем, которое немилосердно уничтожит нас; высосет из нас все соки, возьмет все наши силы, отбросит нас в сторону». Рабочие же ведут такие разговоры. Яшка — театральный парикмахер—убеждает Кириллова, одного из самых идейных рабочих, что раз нет бога, то все позволено.

— По твоему, такова логика безбожника?

— Да.

— А я думаю, что такова логика *идиотов, к которым я причисляю Достоевского* и всех его последователей— закричал Кириллов.

— Достоевский—гениальнейший писатель!—запальчиво ответил Яша. — Самодовольный невежда, ты себя в этих вопросах ставишь выше Достоевского?

— Ничего нет мудреного. Достоевский жил в эпоху, когда русская общественная жизнь находилась в младенческом состоянии. Достоевский боролся с духом запада и тянул к вере. Принципы пролетариата это высшая мораль [1])...

«Логика идиотов, к которым я причисляю Достоевского, без вреда для «принципов пролетариата» могла быть... опущена.

VII.

Первый рассказ Рыбацкого был написан им до 1905 года. Позднейшие отмечены уже эпохой реакции.

Рыбацкий—по строю чувств—отличается от прочих. В то время как они, по выражению Игната, «учатся быть марксистами», не могут иначе мыслить ход общественного развития, Рыбацкий— народник. Разумеется, это не «беллетрист-народник». Его народничество явилось бы для нас загадкой, если бы мы стали судить

---

[1]) «Катастрофа», стр. 53. Курсив мой.

о нем по рассказам рабочего-писателя. Он стремится прилепиться к фабричному движению; ведь деревня лишь «воспоминание». Социальная роль города, городской индустрии—вот факт, который в центре внимания Рыбацкого. Но его выдает идеализм, народнически наивный отзвук известных настроений. Этот романтизм, подкупающий читателя, он проносит через все очерки своей книги.

В то время как Бибика или Гастева занимает становой хребет рабочего движения, тип рабочей интеллигенции, Рыбацкий воссоздает рабочие будни, оставлящие мало места «конечным целям». Красот у него нет, намерения ощутительны, остов рассказа обнажен. Вредит рассудочность элементам воспроизведения. Но дар видеть и чувствовать людей, разговорный колорит, столь естественный в его очерках,—все это вместе с настроением, до конца выношенным, с мыслью, до конца додуманной, запечатлевается в вашей душе.

В «На молотах» изображен, очевидно, Обуховский завод недавнего прошлого, когда молот в несколько сот пудов, ковавший тысячепудовые болванки, работал без всяких предосторожностей, и смерть, неумолимая смерть, реяла над рабочими, карауля каждый их шаг, каждое движение, точно притаившись во всех углах мастерской. Вот болванка, одним концом повиснув на крановой цепи, другим—накаленным—придавила пожилого рабочего, ранила и других. Начальник завода, высокий и суровый генерал, велит отправить всех — и раненых, и раздавленного— в покойницкую. Ему пытаются возразить, что «не всех, ведь, до смерти»... Но генерал, сердито сдвинув седые брови, мечет глазами искры.

— Черт с ними!... В покойницкую! Машина свежих привезет!

«К сожалению, это не беллетристика,—пишет в примечании Рыбацкий, — а подлинные слова, сказанные в подобный момент генералом Колокольцевым, который в девяностых годах состоял начальником Обуховского завода». И Рыбацкому веришь, что так и было...

Лучший рассказ сборника «Шкалик». Это—мальчик, оставшийся на улице после смерти отца-рабочего. Ему восемь лет, и живет он от «казенки» рабочего района. Каждое утро появляется у казенки с чайной чашкой, выкраденной у старой, злой торговки плохими селедками, и заискивающе предлагает: «Дяиньки! Зачиво из горлышка пьете? У меня посудина... шкалик есть.» Завсегдатаи и прозвали его Шкаликом.

Так как это все рабочие, то постовой городовой, а затем пристав делают его агентом... Во время забастовки Шкалик начинает «светить», и, сжав кулаки, рабочие бросаются на него. Но он в общей свалке попадает под лошадь («На молотах»).

— Жаль, сразу не укокошили!—вздохнул один.

— Да ведь мальчишка-то кто? — вспомнил другой.—Ведь Трофима-то, отца Шкалика, кто из нас не знал? А мальчонку его, сиротинку, кто из нас приласкал?

VIII.

Итак, идея дает смысл писаниям и Бибика, и Ляшко, и Гастева, и Рыбацкого. Отдельное лицо полно значения постольку, поскольку в нем отразился коллектив. В душе звучат струны солидарности:

> Стал каждый пламенный баяном
> Кующих звонов, красных струн,
> Грозою вскрыленным титаном,
> Зари грядущего трибун....

Порой так праздничен их тон... Однако, каждый из них чувствует: одно дело—революция идей, другое—революция быта; мелкая буржуазия, из которой вышел пролетарий, имеет точки прикосновения с ним... Читая наших авторов, вы видите: низка культура обыденной жизни рабочего. Ведь интимную область рабочей жизни социальная работа проникает позднее, условия капитализма ставят непреодолимые препятствия перестройке быта. В то время как в союзе, на митинге рабочий на высоте традиций, стоит ему переступить порог своего дома, чтобы он стал мещанином.

Это-то сочетание боевого энтузиазма с правдой рабочих буден, с здравым смыслом, который видит зло рабочей жизни, и красит наших авторов. Не все они в одинаковой степени верны этому синтезу. Но, в общем, он на лицо.

Ведь капитал наш был в значительной степени еще хищнический: горит Россия, и нередко, кроме дыма и огня, ничего нет у наших авторов.

ГЛАВА XIII.

Народная пьеса.

I.

С тех пор, как заявил о себе рабочий театр, мечта написать пьесу—заветная мечта писателя из народа.

«Мною сочинена пьеса в четырех действиях; была послана на конкурс имени Островского, но потерпела крушение»,—писал мне конторщик. «Из 84 сочинений, представленных на конкурс, увы, лишь одна удостоилась признания»... «Пьесу свою закончил—сообщал крестьянин-поэт.—«Мало действия», «недостаточно разработана завязка», говорят. «Для народного театра писал ее». «Работаю над трагедией», «изучаю образцы и технику современной драмы», «есть у меня пьеса четырех-актная»,—то и дело, писали мне члены рабочих трупп, особенно те, что рассеяны по селам и станицам.

Кстати, «Сборник пролетарских писателей» имел в своем распоряжении восемь пьес. Если же до наших дней пролетарии одержимы были мыслью о пьесе, то революция обострила интерес к театру еще больше.

Одно время, то и дело, сообщалось о таких пьесах. Вот, например, драма «Под игом капитала», написанная рабочим Александровского вагоно-строительного завода. Разыграна была рабочими. Другую («Красный год») написали рабочие и крестьяне, никогда не игравшие на сцене. Написал пьесу, разыгранную в Кронштадте, и матрос...

Конечно, редкая-редкая из пьес вышла за границы того кружка, в котором родилась она на свет. Редкая-редкая была напечатана хотя бы в захолустье. Время от времени из этого хаоса, однако, вырастали пьесы, значение которых выходило за эти грани. Иные из них появились прежде,—печатали их сами авторы,—иные выпущены уже в наши дни...

II.

Я собираю эти пьесы; их набралось у меня около трех десятков.

До наших дней увидели свет пьесы Семенова, вышедшие в издании «Посредника», неоднократно шедшие на сцене народного

театра (мысль о пьесе не давала покою Семенову с первых шагов его); Морозова-Мащеровского—комедия «Купец Дергачев»; С. А. Барашкова — драма из народного быта «Паспорт» (1910); Клима Залетного (Г. Устинова)—«Дни и ночи», сцены в саду за домом (1911 г.), В. Лазарева «Будни» (1912 г.), Леонида Лобачева—«Ложь», М. Сивачева—драматические сцены «Волна» (1913 г.), С. Ляликова—Немощные». «Будни» шли в Москве—в зале учительского дома, «Дни и ночи» в Рыбинске, «Немощные», изданные театральной библиотекой Рассохина,—в ряде городов провинции.

В 1917 году вышла драма Бибика «В ночную смену», выпущенная «Книгой». И вслед за ней—с 1918 по 1923 год—выходят в издании Пролеткульта в Петрограде: П. Бессалько «Каменьщик»—драматический этюд; Захара Невского — «Накануне» («драма из жизни рабочих в 4 частях»); Василия Игнатова—«Свадебная вечеринка», — бытовая картина в одном действии; П. Арского—«За красные советы», Л. Покровского «Его сиятельство», М. Стронина—«Над смертью», Анны Весниной—«Власть». В Москве: Михаила Волкова—«Пьесы»; В. Плетнева «Невероятно, но возможно» (его же инсценировки «Стачка»,—по рассказу Гастева,—и «Мститель» по рассказу Клоделя). В Тамбове: А. Поморского—«Солнечные лучи» и «Мировой пожар». В издании государственного издательства: Александра Неверова—«Бабы», «Захарова смерть», «Смех и горе», «Гражданская война» и «Богомолы»; Федора Гладкова «Бурелом». Его же—«Ватага» (в издании «Московского рабочего»), Семенова—«Своя судьба» (изд. «Жизнь и Знание»).

Очевидно, это репертуар, отличный от репертуара больших театров. Ведь социальных пьес,—пьес того смысла, который так близок рабочему или крестьяниику—у нас нет или почти нет. Цензура бдительно охраняла репертуар от идей и образов революции. И вот писатель из народа пытается создать свой репертуар, подобно тому как рабочий-актер создает свою сцену.

Разумеется, он требует к себе внимания не меньшего, чем театр.

III.

Иные из авторов (поэты Поморский, Арский, беллетристы Неверов, Бибик, Бессалько, Волков, Гладков) известны читающему пролетариату. Другие не известны. Кто же они такие? Приведем несколько данных.

Вот, например, Ляликов. «Я собственно не участник сборника «Степь»,—пишет он мне.—Попал я в число их случайно, поместив

в последнем выпуске одно стихотворение. Этим стихотворением и ограничилось мое участие в означенном издании. Вы спрашиваете меня, кто я. Сын крестьянина Тамбовской губернии; «образования» не получил по бедности и темноте моих родителей и всех моих родственников. Все неграмотные. До 18 лет прожил в селе, научившись там грамоте и разной премудрости в волостном правлении. В восемнадцать лет перекочевал в города, по которым до сих пор таскаюсь. Переменил до двух десятков должностей. Ко всякой должности привыкал, оказывался способным, на любой из них составил бы себе «карьеру» сравнительно, конечно, с мужицкой, но имею неизлечимое отвращение ко всякой службе—скоро бросаю самую выгодную и бегу искать свободы, интересной жизни... Но—увы!—обстоятельства заставляют опять поступать куда-нибудь на службу, и так вот мучаюсь всю жизнь. Не уживаюсь на одном месте потому, что я наследственный бродяга. Отец мой, хотя и неграмотный и темный мужик, всю жизнь провел в бродяжничестве, прожив благодаря этой болезни порядочное мужицкое хозяйство. Бродяжество его выражалось в скитаниях по святым местам и в поисках новых земель. Много очень пил. Говорил: с тоски. Последнюю страсть, к счастью, мне не передал...

Писать я начал недавно и уже бросил; кажется, окончательно. Почему? Об этом я сказал бы много, но боюсь утруждать вас чтением моей философии. Впрочем, если вы заинтересуетесь моими взглядами, я охотно поделюсь с вами. Первой попыткой моей войти в литературу был рассказ в стихах «Обетованный край», написанный в 1913 году и появившийся в печати в 1914 и 1915 гг. в газете «Наш Голос». Затем мною написана драма, которую вам пересылаю. В провинции она шла много раз во многих городах. Имею еще несколько рассказов, нигде не напечатанных и—все. Больше я не пишу».

Ляликов писал мне: «Одержим неотвязной идеей несколько лет, но как осуществить ее, не знаю. Если удостоите меня ответом, поделюсь ею с вами: быть может, вы дадите мне совет». Я ответил, но письмо... на старом месте уже не застало его.

Другого склада—Морозов-Мащеровский. Окончил он сельское училище, после чего занимался «крестьянством»: пахал, косил, пилил дрова, ездил в извоз со своим отцом и т. д. Словом, исполнял те обязанности, какие исполняли мужики. Подростком отвезли в Петроград торговым мальчиком к купцу.

Город произвел на него неизгладимое впечатление; и почему-то сказалось это в том, что он пристрастился к живописи. «Торговое дело мне крайне не нравилось,—пишет Морозов.—Хотя и поневоле, а привыкай врать, обманывать, вертеться перед покупателем, входить в торгово-мошеннические сделки. И все это для того делалось, чтобы обогатить хозяев и доставить им удовольствие».

Восемнадцати лет переехал в Москву, тоже в торговое предприятие. К живописи охладел. В то время он обладал хорошим голосом и пел любителем в духовных и светских хорах; в последнем был даже солистом. Но и голосом не пришлось долго пользоваться: вскоре от простуды стал голос пропадать. Чем хуже обстояли дела по части рисования и пения, тем больше пристращался Морозов к литературе. Особый толчок дало знакомство с писателями из народа, которое завязалось у него в Москве, а затем университет Шанявского, где он слушал лекции и посещал собрания.

Первую попытку издать книгу стихов и рассказов сделал в городе Порхове. Но попытка была неудачна. Он не был в состоянии уплатить за печать; книга так и не увидала света.

Это—два типа, Ляликов и Морозов. Тот и другой в общих чертах.

IV.

Успех имели пьесы Неверова. Его «Бабы» в одном Ленинграде ставились тридцать раз; вместе с тем они шли в Луге, Саратове, Баку, Самарканде, Воронеже, Калуге, Самаре, Иваново-Вознесенске, Ачинске, Харькове, Пугачеве и других городах. «Захарова смерть» шла в Самаре, в Москве в рабочих районах, «Смех и горе» тоже в Самаре и Москве, «Богомолы» в Самаре. Вот что сообщает автор о постановках своих пьес.

«Когда «Баб» ставили в гор. Пугачеве, Самарской губернии, в народном доме имени Ленина, то в числе городских зрителей были и крестьяне. Когда выбежал Филька (герой пьесы) и начал бить Катерину у ворот, то одна крестьянка упала в обморок. Для уездного города постановка «Баб» была событием, и о них говорили, обсуждая положение женщин вообще. «Захарова смерть» шла в Самаре по рукописи в гарнизонном клубе в исполнении студийцев и артистов рабоче-крестьянского театра. Публика состояла из красноармейцев и горожан. Декорации писались самарским художником Гундобиным: деревенская улица, изба Захарова и амбарушка, где сидели арестованные. Я, признаться, очень трусил и боялся увидеть пьесу в исполнении, но с первого же действия был захвачен, как лицо постороннее, а в конце пьесы не узнавал своей работы: так она переродилась; художественная правда ее стала правдой жизни. Особенно тронут я был сценой с матерью,

когда она приходит к амбарушке, где сидели дети ее—Григорий и Паша. Столько тут было человеческого! Играли неровно, костюмов не было, но и то, что дано было мне, как автору, было много. Публика встретила пьесу хорошо. В чтении многие находили четвертое действие лишним. Но в игре оно не казалось лишним. Ставили потом пьесу перед делегатами губернского с'езда. Захара я играл сам в первый раз в своей жизни на сцене большого театра. А играл я его потому, что не было артиста, который играл раньше Захара. С другим нужно было делать репетиции, а я пошел, кажется, с одной, так как роль Захара помнил очень ясно.

«Комедия «Смех и горе»—тоже по рукописи—шла по красноармейским клубам. Со второго акта начинался неумолкаемый смех. Роль Михаила Хорохоренского играл все время я сам. «Женское засилье» ставилось в Самаре, в местечке Троцке, селе Рождествене за Волгой. Роль бухгалтера Соколова также играл я сам. Смотрелась пьеса охотно и интеллигенцией, и рабочими, и крестьянами, так как она представляла собой шутку. «Богомолы» ставились нами только раз, ибо мы кончали сезон, и не было у нас театрального помещения. Кто это мы, игравшие? Видите ли, когда в Самаре стало очень трудно жить писательской нашей братии, то мы решили обновить репертуар народных домов и рабочих клубов и вместе с тем толику малую подработать. И вот мы, т. е. я, брат мой, писатель Яровой, отчасти Степной, деятель рабоче-крестьянского театра Уваров, две машинистки и жена Уварова, устроили нечто вроде театрального коллектива и под режиссерством Уварова начали давать «представления». Затея была недурная, по крайней мере, имела успех. Но мне первому наскучило это, и труппа как-то распалась. А наскучило мне это потому, что много времени уходило на театр; меня же звала литература... Конечно, костюмы у нас были сборные, иногда отклеивались бороды с усами, но пьесы вызывали много толков. Помню, ставили раз «Смех и горе», так молодежь всю ночь не спала, реагируя на содержание пьесы.

«Пьесы мои,—писал мне М. Волков,—предназначались для студий Московского Пролеткульта. Для них я инсценировал и свои сказки. Ставились: «Бывшие» второй центральной студией, в поездку по Донецкому Басейну и югу в 1920 году; антирелигиозные «Господь спит» в рабочих клубах Москвы и провинции (в Рождественские и Пасхальные праздники). Сведения о постановках узнаю случайно—от приезжих из провинции, от культурных работников Москвы. Сборника моих пьес уже нет. Подготовляю второе—с двумя новыми пьесами—издание».

Из письма Ф. Гладкова: «Не могу сказать точно, что дало толчок написать пьесу. Одной из главных причин была любовь к театру. Казалось, что то, что хочу изобразить, конкретнее выйдет в драме. Писал же просто, художественно, без умысла, не зная условий сцены и не считаясь с требованиями современного театра.

Выливалось как-то само собой. Пьеса «Бурелом» была поставлена Мейерхольдом в 1920 году в бытность его в Новороссийске. Поставлена была в государственном театре прекрасной труппой. Пьеса имела успех, шла целый сезон. Мейерхольд горячо советовал мне заняться драматургией. «Ватагу» написал уже здесь в Москве; она идет в Пролеткульте».

V.

С. Семенов рассказывает. Его заинтересовали отношения отцов и детей в деревне, семейный разлад, так часто встречающийся, и он использовал один случай в драматической форме. Вышла первая пьеса его. Он прочитал ее своим знакомым, те одобрили. Тогда он решил познакомить с ней Л. Н. Толстого и послал рукопись в Ясную Поляну. Толстой ответил, что пьеса плоха, что Семенов портит себе репутацию такими пьесами. Это так разгорячило его, что он упрекнул Толстого за излишнюю строгость. Ему казалось, что пьеса была не хуже рассказов. Отзывался же о ней писатель уничтожающе. Через некоторое время попал Семенов в Москву. По обыкновению, в первый же вечер завернул в Долго-Хамовнический переулок. Лев Николаевич расхаживал с Н. Я. Гротом и разговаривал. Увидавши Семенова, он с улыбкой воскликнул:

— Ну, что—сердитесь на меня? Думаете, что сказал я неправду? Правду, правду, поверте мне. Вот человек написал пьесу и думает, что она хороша,—обратился он к Гроту,—а я говорю, что она никуда не годится.

Грот полюбопытствовал, в чем содержание пьесы. Семенов рассказал. Грот согласился, что тема не драматическая.

—Да, кроме того, это вещь тенденциозная, — говорил Лев Николаевич,—а что тенденциозно, никогда не хорошо.

Семенов заметил, что и в рассказах его находят тенденциозность. Но Толстой возразил:

—Нет, вот именно рассказы-то ваши и нетенденциозны, а пьеса тенденциозна ..

Вот пьеса, вошедшая в «Сочинения» Сивачева.

*

«Печальное прошлое имеет пьеса эта,—пишет он мне.— Писал я ее еще в 1905 году, когда был знаком с Горьким, т. е. когда был им окрылен. Это была сумасшедшая работа. Еще только начиная учиться на беллетристике, я взял да хватил в 12 дней эту пьесу. Какова пьеса, судить теперь не берусь. Вернее скажу, не придаю ей никакой ценности. И ткнул я ее в книгу только для того, чтобы заполнить место, а кроме того, чтобы на горькую память послужила мне. Повторяю, я мнения не высокого о своей пьесе, как о всем, написанном мной. Но вот... у меня ее в 1905 году читал Южин-Сумбатов и говорил, что он ее сможет поставить в Малом театре. Для этого он торопил меня послать ее в цензуру. Но я задержал на несколько месяцев пьесу, стараясь ее улучшить, насколько тогда мог. Потом цензура продержала месяца три, и, когда я ее понес к Южину-Сумбатову, это уж совпадало с моментом, когда под‘ем 1905 года ликвидировался. Южин-Сумбатов заявил мне, что пьесы теперь поставить в Малом театре нельзя. Можно бы поставить у Корша, но дело в том, что с Коршем у Сумбатова что-то вышло. Потом эту пьесу, год или два спустя, читала артистка Н. А. Смирнова. В то время она служила у Корша. Прочла и самоуверенно заявила: «Я поставлю ее у Корша». И сама ее Коршу передала. Но Корш нашел, что пьеса «литературна», но «лишена совсем действия». Я посылал ее Комиссаржевскому, Струйскому,—есть такой театрик в Москве, который питается макулатурой, но кроме траты книг из этого ничего не вышло. И я затих с своей пьесою, как затих со своими рассказами».

Такова история пьесы. Дополним ее страницей из «Прокрустова ложа». Как ни убеждал Горький Сивачева не стесняться, когда нужны деньги, Сивачев все-таки тяготился зависимостью от Горького и просил его найти ему место. Горький обещал устроить его в художественном театре. Но вот как-то Сивачев переделал рассказ в пьесу, прочитал ее писателю и отнял у него мысль о месте окончательно.

—Вот вы все говорили о месте. На что вам оно? Эту пьесу я поставлю в Художественном театре. Она вас обеспечит.

Сивачев был ошеломлен до того, что, «как истый мужик», почесал в затылке и произнес: «Ну...» Но Горький добавил:

—Тысячи две ежегодно вам даст. В этом же сезоне поставим.

Горьким были сделаны указания на некоторые изменения, и эти изменения он просил выполнить скорее.

—Долго не задерживайте. Принесите, я еще раз посмотрю и пошлем в цензуру.

Сивачев делает поправки, относит пьесу Горькому и начинает... ждать.

Обещание кружит голову. Вдохновленный тем, что из рассказа вышла пьеса не для какого-нибудь театра, а для Художественного, он читает пьесы Ибсена, Гауптмана, наших российских драматургов, а потом... пишет новую пьесу. «Меня зажгли, мне одурманили голову,—говорит он,—и я убиваю себя, заставляя свой малокровный мозг лихорадочно работать по 14 часов в сутки, сидя за столом, да кроме этого еще по ночам в постели». Вздремнет час-другой и при свете свечи пишет карандашем на клочках бумаги. Пятнадцать таких дней, и пьеса вчерне готова. Это и была пьеса, о которой писал мне Сивачев.

«Две тысячи ежегодно дохода!—восклицает он.—Я написал четырехактную пьесу; напишу, может быть, еще несколько пьес, но о том, что мне они дадут, об этом я не думаю. К чему? Две тысячи ежегодного дохода—это то, о чем я никогда не осмелился мечтать; это то, что меня сразу делает счастливейшим человеком. Пусть, кому надо больше, хапает, а с меня довольно и этого». Он пишет Горькому, что постановка его пьесы дает ему возможность привести в исполнение то, о чем он так давно мечтал: жениться на девушке, без которой для него земля без неба...

Потом... Горький уезжает. Сивачев входит в квартиру, в которой уже хозяев нет.

—Да, вот кстати,—говорит ему прислуга.—Тут Алексей Максимович велел доставить вам что-то.

Развертывает и видит... пьесу, которая «обещана к постановке в этом сезоне».

VI.

Любопытны суждения наших драматургов. Буржуазия, всюду побывавшая, всего отведавшая—говорят они—требует сытых пьес. Как мода ни изменчива, основная коллизия этих пьес одна—брак, семья и ее развал. Это—пафос буржуазной драмы. Проследите пьесы, имевшие наибольший успех, и вы убедитесь, что все они написаны на эту тему. Если же и выходят в область общественной борьбы, то вопросы личного, отдельного я на первом месте. Вкус зрителя - буржуа, его социальный вкус—вкус и авторов. Иначе Крыловы, Протопоповы, Рышковы не имели бы успеха. Так рассуждают наши писатели, желающие с новой пьесой войти в репертуар. Что же представляют собой их пьесы?

Это, бесспорно, другой мир, мир столкновений двух социальных начал, из которых в одном легко узнать совокупность качеств буржуа, помещика, интеллигента, в другом — общественные настроения людей из народа. Бесчисленными голосами протестует в них народная душа, требуя простора для своего развития, и данный душевный уклад, определенный социальным положением, сквозит сквозь все поры произведений. Каждый смотрит на мир глазами среды, душа которой созвучна его душе, — вот черта, бросающаяся в глаза.

По своим взглядам, по своему жизнечувствию наши авторы так же различны, как по своим замыслам. По преимуществу мишень сатирических ударов—буржуазия; в большинстве авторы отражают структуру фабрики, обращены к сердцу рабочего. Таковы пьесы Бибика, Сивачева, Стронина, З. Невского, В. Игнатова, А. Поморского, Ф. Гладкова. Другие обвеяны дыханием банкротств, кляуз, хищнического ведения дел. Это—торговый мир, изображенный полу-пролетарием, еще не порвавшим всех связей с деревней. Таков Морозов-Мащерский. Наконец, в третьих носитель враждебной культуры—помещик. Из них глядит мир старой и новой деревни, с целостным строем чувств и понятий. Таковы пьесы Семенова, Неверова, Барашкова и др.

Пьесы не все посвящены изображению быта рабочих, крестьян, примыкающего к нему мещанства. Сюжеты взяты и из других слоев общества; особое внимание уделяют авторы интеллигенции, связанной с рабочим и крестьянским движением. Ей посвящены пьесы Лобачева, Г. Устинова, Ф. Гладкова, отчасти Плетнева, Весниной, Бибика... Но, каковы бы ни были сюжеты, вы с первых строк чувствуете то, что делает музыку в произведении. Даже заглавие свидетельствует о том. Разве не показательны такие заглавия: «Паспорт», «Бабы», «Ватага»? Или такие: «Каменьщик», «В ночную смену», «Его сиятельство», «Немощные»?

VII.

Это бытовая пьеса. Видим и слышим мы автора в произведении ложно-народническом, где положительные типы изрекают высокие истины, отрицательные нарочито глупы. В пьесе же, достойной этого имени, автор дает себя знать разве в местах особо кричащих. Но, в общем, это—рассказы очевидцев, точно вся цель автора лишь в том, чтобы заставить зрителя позабыть, что он в театре.

Добролюбов сказал как-то о пьесах Островского: «это не комедия интриг и не комедия характеров собственно, а нечто новое, чему мы дали бы название пьес жизни». Это замечание приложимо и к пьесам наших авторов. Это—правда, живая правда, которую дает наблюдатель. Весь колорит в бытовых красках и аксессуарах: бытом порождены и речи, и действия героев, и самый подход к сюжету. Отсюда и все сильное, и все слабое. Потому, что они всеми помыслами в быту, в внешней его связанности, авторы и людей, которых выводят на сцену, любят, как людей, которых из этого быта не выкинешь. Двух-трех слов им нередко достаточно для того, чтобы живописать их. Отсюда сочность слов и образов.

В изображении деревни наши писатели имеют предшественников, достаточно исчерпавших ее. Но то были все люди, посторонние ей. Наши же крестьяне плоть от плоти деревни. В драме, где такое значение имеет искусство речи, это преимущество бросается в глаза. Такова сила наших авторов. Но отсюда же и их слабость. От живописания фактов еще далеко до раскрытия души. При всей правдивости, бытовик элементарен в своих приемах, ибо быт держит его в своей власти. Быт освобождает его от психологии, и бытовая картина, как ни жива своей правдой, все же бедна интимным. Конечно, художник-реалист поднимается над бытом. Внутренний тон сглаживает эту наивность письма. Внутренний тон не чужд и нашим авторам, но лишь в отдельных пьесах. В общем же, это бытописатели в прямом смысле слова. Оттого, смотря пьесу, вы забываете об авторе, хотя он и не прочь вас поучить.

Такая «бытовая» рамка с'ужает повесть, роман. Тем более ослабляет пьесу. Внутренний драматизм в пьесе—центр; но этот-то центр и страдает, раз действие развивается внешне. Как бы автор не заботился о театральности героев, об оживляющих моментах, о динамике пьесы, все это должно упираться в эту несложность.

VIII.

Из пьес деревенских первое место занимают пьесы Ал. Неверова. Достаточно сопоставить их со сценами Семенова, который бродит лишь около основного нерва народной жизни, чтобы в силу уже общего смысла выдвинуть их на первый план. Но еще ценнее умение Неверова писать образно. Он весь в своей вере в торжество деревенского начала с одной стороны, грубоватом реализме, столь знакомом нам по его рассказам, с другой. Это сама натура с ее

дурными и хорошими сторонами. Все просто, современно; без лишних слов и ухищрений. Автор пишет быт, и все насыщено его языком, его линиями. Внутреннего движения мало, слаба постепенность нарастания действия.

Есть у него и плакаты, вроде «Гражданской войны», где крестьяне-бедняки кричат: «хлеба рабочим», «там с голоду мрут», «дадим», «поможем», «поддержим». Это—демонстрация «хороших мыслей» без бытового чутья.

Лучшая пьеса его — «Бабы». Уже тема даровита, ибо взята в новой форме. Это «бабий вопрос», положение «баб» на фоне развернувшейся войны с начавшейся в деревне ломкой коренных устоев. Под грохот пушек язвы житья-бытья деревни выступают во всей своей ужасающей реальности. Лучшие силы земли увозились, калечились, гибли, и здесь—на месте—оставались голод, болезни, растроенное хозяйство мужицкое. Кто должен сильнее всех чувствовать эту слепую беду? Жена крестьянина, на которую легла вся тяжесть труда, которой муж с фронта приносит сифилис, вместо ласки. Грозным призраком выступает бич этих дней—«курносье».

Уже в первом действии тихий ужас деревни,—судьба Катерины, «которой вряд ли труднее сыскать»,—выступает на фоне той ненависти, которая принесла война. Филька, приехавший с фронта, видимо, зараженный, бьет Катерину по виску, натравленный на нее отцом, и она падает без чувств. Не находится ни души, которая бы вступилась за нее. «За бабу ничего не будет», «сама виновата—не бегай», «волю они больно взяли», «жива еще», «бабу сразу не убьешь», «дело не наше», «две собаки дерутся, третья не приставай», «и суда не будет», «на то он и муж, пускай поучит маненько»,—вот голоса мужиков. Когда мать бросается к дочери, они советуют Фильке: «отшей ее, Филипп, чего она!»

Еще движения мало. Но фон схвачен хорошо. Хорошо дальше, где Филька узнает от Домны, какую роль играет в этой травле отец, Тихон Кузьмич. Не выдерживает и Катерина. «Вотс... отец его... спать заставлял с собой вместо жены». Староста велит вернуться к мужу. «Тут закон. Ничего не поделаешь», говорит он, и Домна отвечает: «Закон! А это закон, они гнилыми-то приходят домой, а? Закон это? Через кого у нас носа-то проваливаются? Не через них?» Это хорошо. Но совсем не хорошо, когда Домна изрекает: «А кто его писал? Закон-то ваш...» Ибо изрекает это автор... Однако, почти не замечаешь этот ненужный штрих.

Филька, на которого показывают пальцем: «вот у него отец... жену отбил»; Тихон Кузьмич, гонящий в могилу Матрену: — «Всю жизнь вот так. Светлого праздничка не видела. Видно, доля наша такая бабья»; Кузьма, урядник, писарь—все это завершено в сцене убийства отца. Автор сообщает третьему действию всю динамичность, какой требовал замысел, а четвертый акт уже может казаться излишним. Так и высказывались рецензенты. Однако, и четвертый акт был бы на месте, если бы не «портила» своими речами Домна.

«Безбожница ты», говорит ей Кузьма, а она отвечает: «А вы с богом ходите. Где он у вас? В каком кармане?» Не Ницше ли она понюхала, давая оценку «жалению»?

Д о м н а (показывая на Кузьму). А этот зачем пришел? Судить?

К а т е р и н а (тихо). Жалеет он...

Д о м н а. Жалеет... Ты ищешь жалости. Ты хочешь, чтобы пожалели. Убей, на, растопчи, но только пожалей за это... Эх, ты-ы! Да разве шубу сошьешь себе из жалости?

К а т е р и н а. Домашка... Брось!.. Не надо...

Д о м н а. Ведь мужики привыкли нас жалеть... Сначала осрамят, как только надо, потом начнут жалеть, чтобы мы же им лизали руки.

Это не язык Домны. Это язык автора. Просится вопрос: для чего понадобились эти «мысли» такому реалисту, как Неверов? Весь фон пьесы говорит о том, что он мрачных красок не жалеет. Это та же тьма, которую мы видим у всех бытописателей деревни, вышедших из недр ее. Слишком любит он ту же Катерину, того же Фильку... А заступиться некому... И вот Домна и ее декламация:

— Разве это жизнь? Разве люди мы? Не-ет! Лошади. И до тех пор станут считать нас лошадьми, пока мы не покажем им, что мы лю-ди... Душа у нас есть, болит она и страдает и т. д.

Таковы «Бабы». В тех же красках дана «Захарова смерть».

Старый быт умирает, дети идут на отцов—вот содержание этой пьесы. В «Бабах» дан 1916 год, в «Захаровой смерти» октябрьский переворот в деревне, семейный распад и классовое расслоение, связанные с ним. Тонко охарактеризовал пьесу покойный Блок. Говоря о пьесах, выделенных на конкурсе Московского театрального отдела, он находил, что «литературную критику» способна выдержать только одна пьеса Неверова. «Захарова смерть»,—бытовая драма, написанная прекрасным русским языком—писал он—правдиво изображает некоторые стороны совре-

менной деревенской жизни. В носителях старого уклада жизни,— очевидно, согласно с заданием,—автор подчеркивал по преимуществу отрицательные черты; однако, художественное чутье уберегло его от лжи: старики вышли не правы, но они милее и живее. Носители нового—сбившиеся с панталыку бабы, девки, мужики и казаки—представлены также правдиво. Герои пьесы—Григорий и Надежда—светлые личности, ищущие нового на словах, но разрушающие старое на деле. Григорию, по ходу пьесы, удалось пока: уморить родителей, сойтись с чужой женой и удрать от белых. Никаких дальнейших перспектив автор не охватывает, будучи верен бытовой правде. Поэтому драма его оставляет печальное, но доброе впечатление, не насилует совести читателя и позволяет ему делать любые выводы, а так как совесть побуждает человека искать лучшего и нового и помогает ему порой отказываться от старого, милого, но уже разлагающегося в пользу нового, сразу немилого, но обещающего жизнь, и обратно: совесть умолкает под игом насилия, а человек тем прочнее и упрямее замыкается в старом, то и следует признать, что автору «Захаровой смерти» удалось, не давая обещаний, которые дальше слов не пошли бы, и не скрывая тяжелой правды, склонить читателя к новому. Такова судьба всякого подлинного литературного произведения» [1]).

В пьесе «Смех и горе» Неверов рисует разложившийся мирок сельского духовенства в период военного коммунизма, корыстолюбие, интриги, подсиживание друг друга. Написана пьеса легко, без фальши. Но порок у него посрамлен и наказан.

IX.

Что сказать о пьесах С. Барашкова («Паспорт») и Анны Весниной («Власть»)? Первая—это пьеса суриковца, в стиле «Доли Бедняка», вторая—революционная пьеса наших дней. Бытовой опыт, лежащий в их основе, не подлежит сомнению. Однако, то, от чего Неверова уберегает такт, здесь глушит самые произведения.

Сюжет «Паспорта» взят из недавнего прошлого. Вот он. Крестьянский сын, сирота Сергей Гришин, «живет под особыми законами». Но живет в Петербурге, служит при буфете, мечтая «скопить что-либо и открыть хоть маленькое, но свое дело... где-нибудь в селе, на станции». Но вот проклятая бумага... от нее зависит он весь со своими планами. Стоит деревне захотеть, и ему

[1]) „Вестник Искусств“. Москва, 1921. № 2.

не видать города. Борьба? Но какая борьба, когда зависишь от мира, от обычая, от горланов, от количества выпитой водки? Пробовал он бороться. Ничего не поделать... А тут как на грех богачам —тем, что ворочают миром—понадобилось сбыть с рук девку. Жена оказалась такая, что, махнув рукой на нее, он уехал в Петербург.

В Петербурге Сергей сошелся с другой. Кто-то в деревне распустил слух об этом; и за одно о том, что хозяин хочет передать ему трактир. Тогда жена, сошедшаяся с волостным писарем, запросила с него «куш». Когда Гришин от «куша» отказался, ему отказали в паспорте. В деревне ему грозит даже порка, но выручает случай. Его знакомый, отставной полковник Венедиктов попадает на вакантную должность и дает ход жалобе Гришина. Налетает ревизия в лице самого Венедиктова, и Гришин торжествует, а жена с волостным писарем наказаны.

Общий вывод: «Что толку, что нас освободили, если мы прикреплены к обществу еще хуже, чем к помещикам? Кому надо защищать какого-то крестьянина, какого-то буфетчика?.. Кто видит в нас человека, кто? Никто, никто, никто... Кому дело, что у меня петля на шее. Кто хотел бы вынуть, бессилен, а кто силен—рукою машет, пальцем не шевелит».

«И всему виноват паспорт»,—вот припев из действия в действие. Но этим припевом автор портит всю пьесу. Тема, конечно, исполнена значения не только для «недавнего прошлого», но и для того момента, когда писалась пьеса. Но она бледнеет от кричащих мест, от прописных нравоучений.

Изобразительные средства Весниной значительнее. «Власть» не мелодрама, каковой выглядит «Паспорт». Ее коллизия далека от того, что «всему виною паспорт». Напротив, Веснина выходит за пределы деревенских язв: это та самая новь, которую изображает и Неверов. Хотя действие происходит в деревне, но тут не только крестьяне, «богатые и бедные», но и интеллигенция, и рабочий-коммунист, и солдаты с фронта. Все это в перспективе гражданской войны, которая еще впереди.

И все же Весниной не хватает широты для того, чтобы создать нужную ей полноту. Отсюда дефект ее пьесы,—столь хорошо построенной:—ложно народническое письмо.

Влас Онисимыч, жена Власа, лукавая, молодящаяся баба-щеголиха, Таисия, дочь Власа, молчаливая и как будто на все согласная, но совершенно неожиданно делающая что-нибудь противуположное, младший сын Власа—смешливый, дурашливый парень,—все это четко, рельефно. Схвачены характеристические

черты. Но стоит автору выйти из рамок примитива, как краски ему изменяют.

Центральное лицо пьесы — рабочий-интеллигент Василий, сын крестьянина-плотника. Уже это осложняет пьесу. Трудно указать рассказ, в котором этот тип нашел себе художественное отражение. Тем труднее его дать в пьесе. И, в самом деле, перед нами не живое лицо, а ходячая фраза. Об этом свидетельствует уже язык его... Веснина, вообще, превосходно владеет языком народа; но держится того мнения, что раз парень побывал на фронте, а тем более на фабрике, то он начинает говорить по городскому. Это, конечно, так, но Василий говорит так: «за то, чтоб также выжимать все лучшие соки для кучки избранных белой кости, избранные помазанники которой не находили ничего лучше, как только уноситься от толпы в поднебесье или углубляться в утонченное гробокопательство». Это—язык брошюры, а не рабочего.

В форме пересказа—мало убедительного—изложена завязка и развязка пьесы. Василия любит Наталья Григорьевна, родственница земского начальника, молодая девушка, «носящая матросский костюм». Она просит его «взять ее с собой в центр». Но Василий отвечает ей:

— Знаете что! Вы, женщины, воспитанные в холе, утонченно образованные, имеете сходство с малоразвитыми беспомощными мещаночками. Такое отношение между мужчиной и женщиной должно отойти в область преданий, когда мужчина буквально брал женщину, как слабую половину, а не равного товарища.

Симпатии Василия склоняются, конечно, к Таисии, дочери народа. И Наталья Григорьевна готовит ее для него.

— Знаете, как он смотрел на вас,—говорит она Таисии, которая уже взялась за книги, но еще «не запомнит слов книжных».—Он ждет от вас больше, чем от всякой другой женщины. Он больше вас уважает, любит. Не обманывайтесь тем, что он сурово встретил ваше желание учиться. Он с болью не протянул вам руки, боясь все испортить своим чувством и т. д.

Так не бывает; если же и бывает, то так, да не так... Однако, ошибся бы тот, кто по выдержкам стал бы судить о всей пьесе. Писать Веснина умеет.

X.

В среду мещанства нас вводят пьесы: Я. Морозова-Мащеровского («Купец Дергачев»), С. Семенова («Своя судьба«) и Лялякова («Немощные»). В первой—быт купечества; во второй—быт

ремесла; в третьей—мелкий чиновник, выбившийся из низов: отец—мужичек, мать—простая деревенская старушка. Как ни различны пьесы по сюжетам, они дополняют одна другую. Младенчески-непосредственный взгляд на мир,—вот, что об'единяет авторов. Верные «правде», они дают мир покорных судьбе, в котором так много безмолвия и так мало воздуха. Нет ни света, ни тепла... Робко замирает ропот. Они молчат, эти узники, безмолвно переносят все...

Мужик любит свое поле, свою избу, свой навоз; он—поэт земледельческого труда. Жив пролетарий в фабричном коллективе. Но что делать живучей натуре здесь? Она копит яд внутри себя, а случай дает ему применение.

«Купец Дергачев» недалеко ушел от персонажей Островского, несмотря на то, что действие происходит после 1905 года. Вчерашний крепостной подражает вышедшим в люди соседям. Это язык темных делишек: «не обманешь, не продашь». Власть денег—вот альфа и омега. Преклонение перед ними—вот закон. У господ были крепостные; у купцов—приказчики. Протеста ожидать неоткуда... Отцовский каприз определяет жизнь детей. Правда, Россия уже не та, что была при Островском. «Дела чисто бунтующие в России», говорит Дергачев. Но это не мешает ему «гонять» служащих и приказчиков по своему произволу. Так прогнан был приказчик Голубев, обвиненный в воровстве. Суд его оправдал, а адвокат, прямо при всех окружающих, сказал Голубеву после суда: «эх, и хам же этот купец, Дергачев,—бесчестит бедных служащих людей».

Голубев заводит роман с дочерью Дергачева, Варей, которой он нравился еще в бытность на службе у отца. Но Дергачев сватает Варе пожилого купца, по словам которого «все счастье в кассовой книге»: «когда ее раскроешь, увидишь, что остаток в кассе сорок... двадцать, тридцать тысяч...» Когда уже все готово к свадьбе, Голубев и Варя—с помощью странника Ермолаюшки—тайно венчаются и являются с повинной к Дергачеву, которому только остается сделать хозяином бывшего приказчика. «Прекрасно знаю, что настанет час и... и все мое,—говорит Голубев,—тогда... тогда я с Варей раз'езжаю в коляске по Москве». «Когда я был обиженным и обездоленным, то я думал, что так тяжело, тяжело жить на земле. Сколько зла, невежества! А теперь так легко...» Но этого мало. «Знаю, что полная победа за мной. И дочь его, Варвара Митрофановна, у меня в руках. Отомстим ему...»

Этот же Голубев, «когда крестьян освободили от поземельных податей», толковал приказчикам о свободе, даже переменил харак-

тер, стал «более вдумчивым, молчаливым»... «Купец Дергачев» примитивен; это приказчичья мораль среднего пошиба. Но, если хотите получить представление о том, как отражается темное царство в уме приказчика, слабо затронутого духом времени, прочтите «Купца Дергачева».

Сценична, хорошо скроена «Своя судьба», где фигурируют мелкий торговец, артельщик, конторщик из банка, хозяйка и мастерицы швейной мастерской, наконец, молодые люди приказчики, и среди них Кирилл. Это тоже царство, где отнята своя воля, своя мысль. Выбраться на воздух, выплыть из болота некуда, и первая добродетель—покорность. «По моему, жить надо всем так, чтобы носа не высовывать, а то высунешь нос,—придавишь хвост, выправишь хвост—своротишь в сторону нос», говорит отец Клавдии, героини «Своей судьбы».

В лице двух женихов ее, Павла и Кирилла, противопоставлены два мира мещанского—городского и мужицкого. Первое смотрит свысока на второе. «Велика корысть—деревенский», говорит о Кирилле мать Клавдии. Совсем другое Павел: «как ни как образованный, бухгалтерию учил, слово сказать может, держать прилично себя умеет и все такое». Однако, Кирилл не остается в долгу. Он—«боится как-то московских. Уверенность большая, а коснись чего, они ничего не понимают». «В деревне тоже плохая жизнь, так по крайности без прикрасы, и люди там без прикрасы, и только бы туда побольше свету... Там бы скорей порядки пошли». Вот он и мечтает об этом свете: готовится на учителя. Летом на хозяйстве сидеть, зимой на «умственном занятии»...

Раз пьеса Семенова,—развязку предугадать можно. Клавдия начинает мечтать о деревне. Родители велят итти за Павла. Но в момент, когда судьба девушки должна решиться, Кирилл увозит ее из дому, и отцу и матери ничего больше не остается, как согласиться на брак. Идея драмы в словах Кирилла:

— Я человек не ученый, малоопытный, средь леса родился, пням богу молился, но у меня глаза еще не запорошены, я ими *глубже другого вижу*. Я отлично вижу, *как мало людей настоящий фундамент под себя подводят*, а все больше без него обходятся, *как-нибудь бы прожить*». (Курсив мой).

Это о городе. Конечно, человек земли глубже видит, как ни малы его опыт и ученость. Это обычный смысл писаний Семенова, и не в нем сила пьесы. Сила ее в том, что сущность мелкого городского мещанства им схвачена поразительно верно.

Итак, переселение в деревню. Для Кирилла это перспектива, так как в городе он—гость; его ждет мужицкое хозяйство. Другие

же пьесы лишены и таких перспектив. Где-то солнышко ясное блещет, но не для них. В этом смысле характерно название третьей пьесы: «Немощные». Ее герои—Бобров, крестьянский интеллигент, выбившийся из деревни. Жена—мещанка, недовольная его бедностью. Мать Боброва, крестьянка, об'ясняет ей, что сразу лишь обманом наживают.

— Бог с ним, с богатством, ежели оно нечисто нажито...

Но жена резко возражает:

— Да, вам-то хорошо так говорить: вы привыкли к бедности.

А затем мужу:

— Ну-ну, я молчу. А то ведь ты сейчас труд, бедность хвалить будешь, как апостол. Ведь ты апостол... только лицом не похож...

Как видите, это та же ткань, но другого цвета... Тот же язык, та же коллизия...

XI.

Пьес из рабочей жизни больше всего—свыше десятка. Здесь столько мотивов, боевых настроений, энтузиазма... Пролетариат выделил из себя передовых людей, о которых и мечтать не могла деревня.

Художественная литература не дала еще образа массового движения во всей его глубине; не дает, конечно, и пьеса. Но она намечает отдельные штрихи.

Значительнейшая из пьес—драма Бибика («В ночную смену»). Тема—психологическая рознь интеллигенции и пролетариата. Выплыв в годы перелома, она заглохла ко времени революции, и вот ставит ее уже не интеллигент, а рабочий. «Драма» Бибика не в идейных разногласиях, а в той глубокой, волевой жизни, лежащей ниже порога сознания, которая тревожно, но непреоборимо нарастает в пьесе. И надо отдать справедливость автору: он верно прослеживает разночувствие этих двух миров вплоть до того момента, когда Галя уходит от Ильи, и на сцену выступает Наташа, работница, которая любит Илью и бессознательно этого ждет.

Галя—дочь адвоката—увлеклась «движением в народ», т. е. «пролетарием Ильей», Илья честно «предупреждает»:

— Да, я рабочий. Я боюсь, что когда ты решала, ты не ясно представляла нашу рабочую среду. Ты еще не знаешь, как в храмах у нас бывает... неметено. Ты не знаешь будня нашего.

Галя не слушает предупреждения. Условия исторической и личной жизни сделали Галю эмоционально иной, чем Илью, но разве нельзя устранить это различие, слиться духовно так, как слиты они идейно? Однако, очень скоро дают себя знать «будни». «Нас, Илья, не учили борщ варить», говорит Галя. «Я, кажется, не обманывал», отвечает ей Илья. «Быть сказочкой для него, для его большой работы» оказывается выше ее подсознательных влечений. «Илья, ну куда же ты с такими руками! Ты только посмотри на них». Он их мыл с наждаком и маслом. Но разве их отмыть!

— Полюбите нас, господа, черненькими. Да. Руки сам черт не промоет. И никуда не убежишь от этих запахов. Так разве ж... от этого... Илья перестал быть Ильей?

Приезжает Тася, сестра Гали; она дает толчек волевым импульсам Гали, напоминая ей о том, что ею оставлено. Она напоминает и Илье, что Галя не только человек, но, «кроме всего прочего, еще и женщина».

— Мне трудно об'яснить вам это, ведь это из мира настроений. Женщина, конечно, и равноправна, и способна на подвиг, и так далее. Но в ее душе есть особый такой уголок... особого уюта и нежности, может быть—хмелька. Вы, пролетарий, любите вальс? Тихий певучий, в движениях вальс?

Илья. Да я—что же, все это понятно—эстетика и прочее. Но вы уж простите за вульгарность: когда зарабатываешь два целковых, не наэстетишься. Рай в шалаше не бывает (желчно смеется). Разве я не вижу, что Галя здесь не дома...

Тася (подхватывает). Вот, вот, именно то, о чем я боялась сказать... Илья, но ведь есть же выход. Вы не боитесь работы, можете подготовиться.

Илья. И покинуть «мой дом»? А вот что было со мной, когда я однажды ушел отсюда и жил среди вас. Вы можете смеяться и над «черной», и над «белой костью», и над «пролетарской психологией»; но я знаю одно: когда я вернулся «домой», увидел вот это чудище (показывает на завод), эти жерла, грозящие небу, я снова нашел себя.

Умирает ребенок; все теряет последнюю привлекательность, и Галя уходит... уходит с Виталием, в котором так выпячено «все личное, индивидуальное», но который близок ей, как человек своего круга, а к Илье... приходит Наташа.

Таков сюжет. Это бытовая драма, вместе с тем драма настроения. «Если можешь,—говорит Илья,—будь велик и прекрасен. «Мы» охотно будем твоим пьедесталом. Стой гордо над

нами, как знамя, как творчество безликого множества. Это в большом твоем сердце бьются наши маленькие». Однако, этого «мы» в пьесе нет. Напротив, все «личное». Когда читаешь, думаешь о Чехове.

Два момента наиболее расчитаны на зрителя: сближение и разлука навсегда. Сближение происходит под пение, разговоры о пении. Берег реки. Доносится пение мужского хора и слабые удары весел. С реки доносятся звуки, и сам Илья поет с вызовом: «Полоса ль ты моя полоса, не распахана ты». И звуками скрашивается ситуация героев. «Вот теперь у нас хор будет»,—говорит Григорий.—Да, я очень люблю пение,—отвечает Галя.

Даже природа у Бибика звучит. «Поет колокольчик, и кругом расступаются деревья. Какие милые, точно дедушки, седые, мохнатые»...

— С гуслями,—правда?

— Вот именно,—с гусельками. Дремлют. Колокольчик их будит, ветерок играет их космами, и они тихо так, тихосенько перебирают струнами, бормочут.

Бибик, пользуясь властью музыки, настраивает эмоционально. Даже от речи идет отзвук, подобный замирающей струне, и, кажется, все поет в душе человека, поет и в природе. Но ведь это то, что так хорошо в пьесах Чехова.

В сцене ухода Бибик отпускает зрителя взволнованным, но с бодрым чувством. Наташа уговаривает Илью не итти на завод. Не пускает и Кацо:—да, братец, морда у тебя знаешь...—Но Илья упрямо:—именно сегодня, сейчас вот—пойду туда! Без сказок...—Слышен третий гудок, и идет он заметно сутулый, словно несет большую тяжесть.

В этой сцене,—очень эффектной,—Бибик противопоставляет маленькому «я» безликое множество «мы» и его власть в душе. Однако, едва ли мы погрешим против истины, если скажем, что и разрыв Бибик проводит в Чеховских тонах. Он создает тот же ритм пьесы. Илья идет на завод, но душевный взор его в прошлом. Его «сейчас вот именно, сегодня—туда... без сказок» не более, как жест.

Илья просится в Горьковскую «Мать»; в то время как лица второстепенные—Кацо, Тася, Захаровна, Тетка—живые лица со всем тем, что присуще им хорошего и дурного, Илья «литературит». Разве это не литература? «Когда жизнь противно гримасничает, когда спускается ночь, и под ее покровами совершаются звериные оргии, я в мыслях возвращаюсь к тому дивному образу. И верю, что герой победит зверя». Таким языком Илья разговаривает с Галей!..

XII.

Пьеса Бибика обнажает перед нами уголок эмоциональной, волевой жизни рабочего. Остальные — в отношении широты задания — идут дальше.

Ф. Гладков в «Ватаге» рисует первичное сознание, пробивающееся в рыбные ватаги на заброшенном в Каспийском море острове; в «Волне» Сивачева назревает стачка, переходящая в бунт и поджог фабрики; в пьесе «Над смертью» М. Стронина огонь революции уже близок, но хозяйский кнут еще его не чувствует. Но вот сломаны все преграды, и фабрика в его власти. В «Мировом пожаре» и «Солнечном луче» Поморского тот же мотив: фабрика и революция и т. д.

Чем дальше, тем шире перспектива. Однако, пьесы не выигрывают от этой широты. Напротив, чем шире задания, тем неудачнее выполнение.

Ф. Гладков талантлив. Те же достоинства, что в рассказах, на лицо и в его «Ватаге»: точно из родника бьющий язык, сочный, индивидуализированный; знание быта, умение передать то, что под сознанием. И в то же время в пьесе... нет живых лиц и живого центра. В чем же дело?

Уже истеричность портит пьесу. Какую страницу ни откройте, она вся—какой-то звериный скрежет.—«Черепок раскрою», «мозги в брызги», «удушу в одночасье», «тинкнуть его однова—и ша!» «Одно надо—вдрызг!.. Взять пешни—раскроить черепки... искрошить все кости... выковырять кишки... арря». Но не лучше — романтизм писателя. Вот Настя: «умру, не поддамся—вот она я». Говорит она и так: «Я сила, я владыка». Рядом Шаталов: «Вот он я. Нате вам меня». «Вот и гул идет от моря и до моря... Разогнем спины и возьмем власть»... Об'ясняется с хозяином он так: «это ясно и известно... Но ваш класс это ясное, как багор, берет нахрапом и обращает его в туман и говорит: это ваш бог»... Дальше Гриша-кузнец: «гляди (широким взмахом руки показывает на зарево). Это все я... Все сожгу... чисто... И не будет ни хозяев, ни рабов, ни пророков... Все—мое... Сяду на обгорелую печку и буду с чертями в карты играть... Я сила, я—владыка». Кувыркин, управляющий промыслами, и тот декламирует: «Человеки! Где ваша боль? Кричите о своей боли... Пред'явите человечьи паспорта и иск за кровь». Даже пристав и тот занят тем же: «что же нужно говорить о человеке? Его перевирают и наяву, и во сне»... Все это («я сила», «я владыка», «возьмем власть») происходит задолго до революции, где-то на песчанной косе, отрезанной от всего живого!...

Разумеется, и до косы этой уже дошли раскаты движения. Возможны такие индивидуальности, как Шаталов или Настя и на косе; естественно, что их помыслы направлены на разрушение. Но в жизни все же все это не так бьет по нервам, как в пьесе.

Портит «Ватагу» и трактовка иных типов в стиле Горького («На дне»). Таковы Кашарка («Какуй места? Нету места... Вездем местам человук»), Мокруша («Аль мне худо, Настенька? Да ведь что мне? Жизнь моя хорошая, дай бог всякому... И место, как у всех»), Наташа («Девочки мои милые, и за что мы тута жизни наши губим молодые») и т. д.

В общем, не автор владел материалом, а материал им.

В «Волне» люди делятся на две категории. В Харцызове «всегда что-то примитивно жалкое, исключая тех моментов, когда вопрос идет о деньгах: в таких случаях он нагл, самоуверен». Владимир, брат его,—пьяница, насилующий на глазах всей семьи родственницу Харцызовых Аглаю. Он стреляется, и управляющий радостно поздравляет Харцызова: он теперь полный хозяин фабрики. И фабрикант отвечает: «Благодарю. Брат что! Негодный был человек». Жена Харцызова уверяет своего мужа: «когда вспомню, что ты мой муж, волосы хочется рвать на себе».

Напротив, дядя Варвары, жены фабриканта, Демид и инженер Трубин—оба вышли из народа; и когда рабочие пред'являют требования фабриканту, Трубин—в присутствии его—заявляет: «перед вами хозяин и управляющий. Я при них заявляю, что вы правы. Требуйте свое».

Демид—христианин—говорит только о боге, но толкает рабочих к бунту и расправе с фабрикантом. Когда фабрика подожжена, он бросает Харцызову: «Ну, православный мой, пойду посмотреть, как твое добро горит».

Все это без всякой светотени; и положительные, и отрицательные типы—все заняты не своими мыслями. Казалось бы, буржуи «выколачивают из рабочих прибыль»... Чего от них ждать! И, однако, все они только и говорят о человеке, о жизни и ее целях. Самому фабриканту—«жить страшно». Владимир не знает, «как и чем оправдать свою жизнь». «Как я ненавижу этот дом со всей его обстановкой!». Ивин говорит: «как жалкие отвратительные черви, мы создали себе грязное болото: копошимся в нем, живем, дышим его одуряющими испарениями». Варвара только и думает о том, чтобы помогать рабочим.

*

Все это мысли и изречения Сивачева, лишь внешне связанные с его героями. Очевидно, и самое движение на этом фоне не может выглядеть ярко...

Точно также ни у Стронина, ни у Поморского, ни у Зах. Невского живого рабочего нет. Их конек—«хорошие мысли»; но из-за этих мыслей не видно действия, которое и составляет природу драмы.

XIII.

Не справившись с собственным мирком, наши пролетарии и полупролетарии дали две недурные пьесы из жизни интеллигенции: Ф. Гладкова («Бурелом) и Вл. Лазарева («Будни»). Интеллигенцию описывают и Лобачев (Ложь»), Устинов («Дни и ночи»), отчасти Волков («Бывшие»), Покровский («Его сиятельство»), интеллигенцию того покроя, которую авторы мало знают. Знают они интеллигента, на протяжении лет соприкасавшегося с ними в движении. И любопытны тона, в каких он изображается.

И в «Буреломе», и в «Буднях», и в «Лжи», и в «Днях и ночах» тип один и тот же. Психика его двойственна. Мещанский быт, пропитанный лицемерием, с которым он связан кровными узами, претит ему, и он осужден жить вне бытовых рамок его. Это—евреи своего отечества. Но в то же время они не «выскакивают» из этих рамок, не отрываются от своего круга. Отсюда раздвоенность.

Отрезанный от быта, интеллигент уходит в отвлеченность, которой он дорожит больше, чем жизнью; в мир настроений, которым он верен и в качестве «нытика», и в качестве революционера. Таковы герои Лобачева, Лазарева, Гладкова; говорят о высоких материях и в то же время в плену у мелочей. Мы выделим из этих пьес лишь две.

«Бурелом»—пьеса настроения. Центральная личность—Наташа—вся в неуловимых звуках. Она любит тишину, музыку, мечты, то, что нельзя сказать, но о чем можно петь душою... «В наших душах много однозвучных с т р у н», говорит она влюбленному в нее Игорю. Желая похвалить его стихи, характеризует их так: «мне кажется, что это—тихая п е с н я»... И, в самом деле, для нее и люди, и жизнь «звучат».

Кто не испытал эмоциональной власти над собой музыки? И Наташа это струна пьесы; она звучит неумолкающим аккордом, оставляя отзвук даже там, где совсем глухи к звукам. За этот музыкальный шум пьесы вы прощаете автору и многословность, и растянутость частей, и недостаток сценичности.

Жизнь бежит по обычной колее. Красные слова не меняют серого фона и серых чувств. И лишь музыкальный шум, как солнце в вечерний час, когда все затихает, и так длинны тени... Это—Наташа, не во всех деталях, но в общем хорошо схваченная.

Наташа любит своего мужа, бывшего партийного работника и политического ссыльного, теперь учителя; любит так, как может любить такая музыкальная индивидуальность. Ее, в свою очередь, любит юноша Игорь Дмитрич, тоже учитель. Он—мечтатель-индивидуалист, и один лишь понимает Наташу во всей ее цельности. Муж же ее Угрюмов мучается, что он отошел от большой дороги революции. С одной стороны, народ кажется ему «новым, совсем другим, чем раньше—слепым, страшным, как зверь, и свирепо мстительным и беспощадным, как бунтующий раб», и ему хочется вместе с Наташей отойти от зоологии дня. С другой стороны, он жалеет, что в стороне от движения масс интеллигентский душок взял верх над его революционным существом. «Все это потому, что мы, интеллигенты, не знаем, что мы такое,—говорит он.—И в мысли нашей есть что-то расплывчатое, смутное, худосочное».

Колебания эти рассекает Зоя, твердокаменная «бунтарка», которая была вместе с Угрюмовым в ссылке. Это—противоположность Зое. Родивончик—рабочий, который готов «вздернуть» всю интеллигенцию с Угрюмовым во главе,—для нее делает исключение. «Было у них тихо,—говорит он ей.—А вот вы приехали, все им дело испортили: все вверх дном перевернули». В самом деле, Зоя приехала не для «музыки».

Есть иная необ'ятная красота—красота действия: это движение масс, борьба, гром восстаний. Вот стихия ее и Угрюмова. А любовь его к Наташе.. это сон, в ней нет жизни. Он должен любить ее, Зою, как любил когда-то этот Никифор с его стремительной душой. И он должен уйти от Наташи...

И Угрюмов убеждается: какой он Наташе муж! Это была ошибка. Это была полоса... одна из полос... Вероятно, вся жизнь соткана из полос... чрезполосица...

Наташа, которая вся в личном, переживает все это так, что даже Игоря не желает видеть. И он ушел, как смертельно раздавленный... Но вот Угрюмов с Зоей уезжают... Наташа садится на стул около пианино и рыдает беззвучно. Понемногу, точно во сне, подчиняясь какой-то внутренней силе, открывает крышку пианино, берет несколько едва слышных аккордов, которые пере-

ходят в мелодию; мелодия растет, ширится, как река, делается необ'ятной, как море. Во время игры Наташа расцветает, загорается экстазом, точно все то, что только что совершилось, было уже давно и стало далеким, смутным и ненужным. Входит Игорь... Сначала Наташа его не замечает; потом вдруг оборачивается. Он пришел, чтобы быть около нее... И почему-то ей стало вдруг легко и свободно. Точно она вылетела из клетки. И в душе— море света...

Столь же неожиданно входит Угрюмов. Весь измятый, жалкий, точно тяжело больной. Он как будто ждет удара.

— Наташа! Я возвратился,—говорит он.—Когда я ушел с Зоей, я вдруг почувствовал, что я ей чужой... и там буду чужой... Прости меня...

Но Наташа остается немой.

— И потом померещились звуки твоей музыки, точно призывы... И я вернулся.

Но Наташа уже далеко от него.

Пьесу писал беллетрист, не драматург—вот ее из'ян. Она еще ждет драматической переделки. Этого нельзя сказать про вторую пьесу—«Будни», в которой так хороши комические моменты. Лазарев все время расчитывал на зрителя, а не на читателя, и все у него в терминах сцены. Герой его наивнее: это—обыватель-интеллигент. Но несложный сюжет преисполнен жизни.

XIV.

Вот ряд пьес для рабоче-крестьянской сцены. Что сказать в итоге? Очевидно, этого мало, чтобы противопоставлять пьесе старой.

Наши драматурги выходят из круга старых образов. Это собирательная психика фабрики и деревни. Но не всегда можно ее принять...

И в пьесах старых писателей есть аграрные беспорядки, стачки, убийства помещиков, вся сила массовых движений. Но все это воспринято здесь по своему. В этом и состоит то, что можно назвать здесь «новью». Но дальше этого оригинальность не идет. Их приемы—приемы старой драмы, не всегда усвоенные новичками.

Это относится и к писателям-крестьянам, полу-крестьянам, полу-пролетариям, и к писателям-пролетариям. Вот движение рабочей драмы; назревает стачка, протест и революция. Все акты наполнены ожиданием, разговорами на эту тему. Но «коллективный» человек требует и новых приемов отображения. На деле детали часто лучше, чем общее в рабочей пьесе. Авторы не доросли еще до своих тем.

Конечно, никакое произведение, достойное этого имени, не создается сразу. Пьесы, на которые мы указали,—это лишь ступени к социальной пьесе; лишь атмосфера ее исканий.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.